ISSN 0012-7656

ДРУЖБА НАРОДОВ

- *Олег Хлебников*
  Звезда упала и осталась
  Стихи
- *Лев Тимофеев*
  Евангелиди
  Роман
- *Лидия Латьева*
  Моя война
  Записки рогатой девочки
- *Леонид Рабичев*
  Весна без конца
  Стихи
- *Александр Никулин*
  Крестьянская доля
  Николая Доброго

ДРУЖБА НАРОДОВ 5/2013

5 ’2013

Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

Основан в марте 1939 года

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/druzhba/
LiVEJORNAL: http://drujba-narodov.livejournal.com/

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.
Отпечатано в типографии ОАО
«Можайский полиграфический
комбинат», 143200, Московская
область,
г. Можайск, ул. Мира, 93;
тел.: (496)20-685; (495)745-84-28;
факс: (49638)21-682;
www.oaompk.ru, e-mail:
oaompk@oaompk.ru

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Сдано в набор 21.03.2013.
Подписано в печать 22.04.2013.
Формат бумаги 70 x 108 $^{1}/_{16}$
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 2500. Цена свободная.

Дружба народов

5'2013

Редакционная коллегия

Главный редактор Александр ЭБАНОИДЗЕ
Лев АННИНСКИЙ
Леонид БАХНОВ
Ирина ДОРОНИНА
Наталья ИГРУНОВА
Галина КЛИМОВА
Владимир МЕДВЕДЕВ
Зам. главного редактора Фарит НАГИМОВ
Ответственный секретарь Сергей НАДЕЕВ

Редакционный совет

Рамазан АБДУЛАТИПОВ
Сухбат АФЛАТУНИ
Муса АХМАДОВ
Резо ГАБРИАДЗЕ
Алла ГЕРБЕР
Денис ГУЦКО
Иван ДЗЮБА
Александр КЛЯЧИН
Валентин КУРБАТОВ
Ольга ЛЕБЁДУШКИНА
Захар ПРИЛЕПИН
Кнут СКУЕНИЕКС
Сергей ФИЛАТОВ
Ренат ХАРИС
Левон ХЕЧОЯН
Вячеслав ШАПОВАЛОВ
ЭЛЬЧИН
Леонид ЮЗЕФОВИЧ

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Олег ХЛЕБНИКОВ. Звезда упала и осталась. *Стихи* **3**
Лев ТИМОФЕЕВ. Евангелиди. *Рукопись, найденная в сгоревшем доме. Роман* **7**
Александр ХУРГИН. Везде люди живут. *Рассказы* **55**
Ольга ПОСТНИКОВА. Тайна рождения. *Рассказ* **61**
Евгений ЧИГРИН. Под старой лампой. *Стихи* **66**
Наталья АРБУЗОВА. Торжество Афродиты. *Повесть* **71**
Лидия ЛАТЬЕВА. Моя война. *Записки рогатой девочки* **105**
Леонид РАБИЧЕВ. Весна без конца. *Стихи* **144**
Евгений РУДОВ. Менялы. *Рассказ* **149**
Алексей ПЕЛЬ-ДМИТРИЕВ. Мы никогда не играли «в войну».
Рассказ-воспоминание **162**
Шамшад АБДУЛЛАЕВ. Озирая оазис. *Стихи* **168**

Поэт о поэте

Сергей МОРЕЙНО. Шамшад — двойной полдень **172**

Дети и война

Татьяна НИКИТИНА. Маруся **181**
Анри РАЧКОВ. Эвакуация. *Странички из дневника подростка* **189**

Публицистика

Лев СИМКИН. Соседи-2 ..... **195**

Нация и мир

Александр КОРАБЛЕВ. Европейские ценности и славянский союз.
Досужие соображения о будущем наших языков **207**
Александр ДЖУМАЕВ. Между «большой Европой» и «большим Востоком».
Культура Центральной Азии в меняющемся мире **214**

Книжный развал

Владимир ШПАКОВ. Негероическая история **234**
Николай АНАСТАСЬЕВ. «Художники — моя партия» **237**
Анастасия ЕРМАКОВА. «У жизни не бывает черновика» **244**
Георгий КУБАТЬЯН. Цитаты скажут сами за себя **246**

Эхо

Весомость достоинства. *Продолжение. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ* **251**

Summary **256**

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФОНДА «РУССКИЙ МИР»,
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА
ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ (МФГС)

© «Äðóæáà íàðîäîâ», 2013

Олег Хлебников

Звезда упала и осталась

Сердечно поздравляем поэта ОЛЕГА ХЛЕБНИКОВА — нашего постоянного автора, дорогого друга и коллегу — с присуждением Новой Пушкинской премии!

Редколлегия

К 9 мая

Я первым изо всей своей родни —
так вышло — за границей побывал.

За исключеньем тетки Евдокии,
которая задолго до меня
бывала в Вене, Будапеште, Праге...
А до того — в Германии. В Дахау.
(Освободили и — довоевала!)

Но и она теперь вовсю гордится,
что был я за границей, делегатом.

* * *

Летим на планете — куда-то, зачем-то, сквозь темень,
сквозь время, которого нету, хотя оно — шар.
Летим очень быстро, пытаясь угнаться за теми,
кто эту планету оставил — оставшимся в дар.

Мы их не догоним, хотя в один миг и догоним.
И эта погоня по имени жизнь и судьба
закончится нашей победой. «По коням! По коням!»,
хотя и не слышно, но громко сигналит труба.

Хлебников Олег Никитич — поэт, переводчик, эссеист, кандидат физико-математических наук. Родился в г. Ижевске в 1956 г. Окончил Ижевский механический институт (1978) и Высшие литературные курсы (1985). Печатается как поэт с 1973 г. Автор десяти книг стихов, в т.ч. последние — «Инстинкт сохранения» (М., 2008) и «Люди Страстной субботы» (М., 2010). Работает заместителем главного редактора «Новой газеты». Лауреат Новой Пушкинской премии (2013). Живет в Переделкине.

* * *

Нет презумпции невиновности:
если жил — уже виноват
в отключеньях стыда и совести
(ведь бывает, признайся, брат!).
И пускай они были веерными
в этом городе и стране,
и соседи такими ж верными
оставались одной вине
(и другой, и третьей)... Но что же ты
исключеньем не стал опять,
свой отрезок, почти что прожитый,
на кресте норовя распять...

Пешеход

То, что стоял в октябрятском строю
и даже вставал в солдатский,
то, что порой перед входом стою
в метро и автобус братский,
то, что лежал в палатах рядком
в пионерлагере или
в рай-, горбольнице, —
значит, тайком
сразу меня подловили.
Значит, и после смогу, как все, —
рядком — ни лучше ни хуже
всех...
А пока бреду по шоссе,
собой отражаясь в луже.
Лужа прекрасна: похожа на
Россию — всем очертаньем
и радужной, жирной нефтью полна —
купаются в ней не чета мне!
Рядом промчится траурный джип,
обдаст меня жижей родимой...
И все ж я, пропитанный ею, жив —
шагаю, солнцем палимый.
Куда дошагаю к исходу дня,
кому это интересно?
Но в строй уже не зовут меня
при жизни моей телесной.

* * *

Оранжевая революция — это когда
тетки в оранжевых жилетках
перестанут мыть поезда,
все ямы-канавы оставят недокопанными
и выйдут на плешку встречаться с унылыми копами.

И теток хватятся их алкаши-мужья,
и алкаши-сыновья — вот в этом уж я
не сомневаюсь почти — тоже столпятся на площади,
чтоб мамок не обижали менты и лошади.

Это когда все желтые вдруг потемнеют лицом
и станут совсем оранжевыми,
отметит ВЦИОМ
протестные настроения среди гастарбайтеров —
вот вам оранжевая революция — от крыш до бамперов.

Будут переворачивать ваши «пежо»,
«мерсы», «лендкрузеры» — или что там еще?
И увидит Господь, что это хорошо.

* * *

Дух некрепок и плоть слаба,
перед взглядом кругом преграды.
Мы в гостях у самих себя
и задерживаться не надо.

Рассказать смешной анекдот,
выпить за процветанье дома
и — вперед, будто кто-то ждет
в голубой дали незнакомой.

* * *

В единственной жизни невозможно любить навсегда.
Вот во многих — пожалуйста.
Если по новой встретишь ту — из фигурного льда,
что испытаешь? Восторг! — вместе с жалостью.

И это, наверно, любовь или что-то подобное ей,
что-то такое вот светлое.
А в единственной жизни мы с каждым годом старей
и при случайной встрече все безответнее.

Отец

Никите Аверьяновичу Хлебникову

1

Он просто уехал в командировку
и мне привезет оттуда
игрушку, сказку, на вырост обновку —
рад им, как празднику, буду.

И нынче, когда появится ночью
и даже меня не разбудит,
все ж под подушкой оставит звоночек —
про жизнь, что за смертью будет.

2

Как правильно мой поступил отец,
что вовремя умер: не рано,
не поздно. Какой же он молодец:
ушел, как звезда экрана, —
пока еще помнят. Лежал в гробу
библейски-красивый, твердый.
И мне, закусывающему губу,
что надо сказал и мертвый.

* * *

А.Ю. Герману

Звезда упала и осталась
на том же месте, где была.
И вот уже подходит старость,
хоть даже юность не прошла.

И вот еще звезда другая
из щедрого созвездья Лев
летит по небу, догорая
и никогда не догорев.

Лев Тимофеев

Евангелиди

Рукопись, найденная в сгоревшем доме

Роман

От публикатора

Я здесь ничего не придумывал и не менял. И не писал ничего. Только вот это вступление, ну, и несколько слов в заключение. Самого автора я никогда не видел и ничего о нем не знаю. Не знаю, для чего или для кого он делал свои записи в старой амбарной книге. Не могу объяснить, как эта книга, эти записки оказались в развалинах сгоревшего дома, купленного мной вместе с участком земли в деревне недалеко от Суздаля...

У нас в деревне фамилия Евангелиди никому не знакома: кого из местных я ни спрашивал, люди только плечами пожимали. Впрочем, это, пожалуй, и не удивительно: нынешние местные — на самом деле никакие не местные, а московские и владимирские дачники. Самый последний коренной житель — Руська-Дуремар, вор и алкаш, повесился три года назад в уборной районной больницы во время приступа белой горячки. В последние месяцы перед смертью он жаловался, что два отвратительных вонючих беса хватают его за руки и за ноги и скручивают, выжимают как мокрое белье. Он орал от боли и мочился, а иногда и испражнялся в штаны. Так повторялось постоянно, чуть ли ни каждую неделю, никакое лечение не помогало, и в конце концов он не выдержал, повесился в больнице на шелковом поясе белого халата главврачихи — украл в ординаторской. Я потом видел и этот халат на главврачихе, и этот пояс, когда обращался по поводу почечных колик (слава богу, ничего серьезного, небольшой камешек прошел).

Смерть Дуремара тем более обидна, что случилась именно в те дни, когда я наконец нашел время погрузиться в чтение амбарной книги и вскоре наткнулся на то место, где объяснялось забавное прозвище — Руслан Комков обладал удивительной способностью ловить рыбу: заходил по колено или чуть глубже в речную заводь, согнувшись, шарил в воде руками и время от времени выбрасывал на берег живых

Тимофеев Лев Михайлович родился в 1936 году. Прозаик, поэт, публицист. Публиковался в журналах «Дружба народов», «Новый мир», «Юность» и других. Автор книг «Негатив», «Играем Горького», «Кусок истории. Заметки публициста» и многих других. В последние годы живет во Владимирской области.

голавлей и щучек. Когда, наловив сколько надо, выходил из воды, оказывалось, что у него по голеням живописно извиваются десятки присосавшихся пьявок. «По какой-то далекой ассоциации из-за этих пьявок я и прозвал его Дуремаром», — пишет автор... Этого Комкова и расспросить бы подробнее об авторе. Но, увы...

Участок в 25 соток с большим сгоревшим домом посередине на высоком берегу Нерли я купил шесть лет назад. За две тысячи долларов — по нынешним кошмарным ценам, кажется, недорого. На участке были сарай, погреб, несколько яблонь, несколько кустов смородины и крыжовника, небольшой вишневый сад в дальнем углу и сирень в палисаднике. К дому от дороги вела похожая на зеленый тоннель аллея вековых кленов, смыкающихся кронами. Сгоревший дом и клены, должно быть, были ровесниками.

Покупал я в конце мая — и по деревенской улице, и у меня на участке все было в буйном сиреневом и яблоневом цвету. И среди пестрого буйства весенней жизни торчали уродливо черные развалины. Понятно, что начинать надо было с того, чтобы разобрать, вывезти или сжечь на задах обугленные бревна. Для этого в Суздале я нанял трех молчаливых узбеков, искавших работу, и поселил их в сарае. Сам жил в моей любимой польской палатке, которую, бывало, за десятилетия бродячей жизни комсомольского журналиста где только не расставлял — от хабаровской тайги до юрмальских песчаных дюн.

На третий или четвертый день на столе у узбеков я и нашел эту старую амбарную книгу: вытащил ее из-под казана с дымящимся пловом, сваренным на костре, — довольно толстый том в картонном переплете, теперь испачканном сажей. Узбеки испуганно показали, что нашли книгу в ящике вот этого вот стола, а стол притащили из обугленных развалин. Как это — из развалин? Почему стол не сгорел? Почему дожди и атмосферная влага за много лет после пожара не повредили рукопись — ничего этого сказать не могу. Я попытался было выяснить, где стол стоял в сгоревшем доме, как лежала книга, но узбеки плохо понимали по-русски и сами двух слов связать не могли. Или делали вид, что не понимают: они успели выдрать из книги и куда-то употребить несколько листов, решили, должно быть, что я об этом их и спрашиваю и в ответ только разводили руками и начинали трактовать мои вопросы между собой по-узбекски. И, посовещавшись, опять разводили руками...

Я открыл книгу наугад (как раз в том месте, где были выдраны листы), полистал, увидел, что все ее страницы плотно исписаны почерком весьма небрежным, мелким, неразборчивым (синей шариковой ручкой), — и вникать в текст не стал: в тот день мне было не до чужих каракулей — я пригнал автокран, за который платил повременно, а узбеки работали медленно, словно обмысливая каждое свое действие, теперь же и вовсе целый час сидели за пловом, вели вдумчивую, неспешную беседу — обед, видите ли, у них дело святое... Я сунул книгу под застреху, стал торопить узбеков, занялся автокраном и, конечно, на много месяцев забыл о находке... Вспомнил както случайно, когда уже свой дом построил. Нашел книгу все там же под застрехой, принес в дом и начал читать...

На титульном листе старинным полууставом было выведено: «Профессия — прорицатель». Впрочем, весь остальной текст, как я уже сказал, был написан современной небрежной скорописью... Сперва мной руководило одно лишь любопытство: я разбирал закорючки, как палеограф разбирает древние тексты — слово за словом, — совершенно не представляя, какой смысл, какие значения проявятся в конце концов. Но по мере того, как прояснялось общее содержание, я все больше увлекался.

Я, конечно, преувеличиваю, когда говорю: «прояснялось общее содержание» — мне и теперь, когда работа закончена, многое в тексте остается неясно. В рукописи, например, полная путаница с последовательностью событий, с соотношением вре-

мен. Если принять, что текст писался не позже того времени, когда сгорел дом, то надо смириться с тем, что некоторые события описаны заранее, до того, как произошли, — например, «смерть» самого Евангелиди (потому и ставлю это слово в кавычки)... Дело усугубляется тем, что рукопись попала ко мне в руки, когда некоторые страницы были уже безвозвратно утрачены.

Я работал... и мне становилось все более и более очевидно, что и сам я невольно оказался пусть косвенно, но вовлечен в события, описанные в тексте. Уже одним только фактом покупки участка со сгоревшим домом...

Надо признаться, сделка купли-продажи происходила довольно странно. Владелицей участка была некая Светлана Шварц. Я ее никогда не видел, общение происходило заочно: в сельсовете, расположенном в суздальском пригороде, мне дали телефонный номер и адрес хозяйки, живущей в Питере где-то на Гражданке. Я позвонил. Женщина с хриплым, явно прокуренным голосом (не знаю, была ли это сама Светлана) спросила, на чье имя прислать документы и доверенность: лично приехать никто не может. Я назвал своего суздальского знакомого и сказал, что готов послать его паспортные данные. «А кому деньги передать?» — спросил я. «Пошлите по почте». «Доверяете?» — удивился я. «Ой, да что это за деньги, — хрипло засмеялась она. — Никто уж и не помнит про этот дом, про эту землю».

Сделка была оформлена, я стал собственником земли и отвратительного пожарища. Послал деньги по почте и позвонил: дошли ли. Никто не отвечал. Через некоторое время деньги вернулись. Но я не привык оставаться должником: год или даже два года спустя, будучи по делам в Питере, я, положив в карман конверт с деньгами, поехал на Гражданку. По указанному адресу на весь квартал размахнулась огромная еще не заселенная новостройка. Прежние дома были, видимо, давно снесены. На всякий случай я набрал номер телефона. Ответил мужской голос, низкий, тихий, как мне показалось, утомленный. Я сказал, что, мол, по поводу участка под Суздалем и попросил позвать Светлану. «Это я». — сказал голос. Я растерялся. Мужской голос хрипло засмеялся, видимо, довольный тем, что я растерянно молчу: «Светлана в Париже», — сказал он. «Но я должен ей деньги». «Не бойся, со временем расплатишься», — уверенно сказал хриплый и положил трубку. С какой стати «на ты»? Когда это: «со временем»? Впоследствии я много раз звонил, особенно часто после того, как до конца дочитал рукопись. Но никто никогда больше не ответил. Интересно, в каких пространствах раздается звонок, если набираешь этот номер?

Деньги я положил в Сбербанк на депозит. А рукопись решил опубликовать: мне кажется, в ней есть нечто, что может привлечь общественное внимание. Или даже вызвать общественную тревогу... Я тем более тороплюсь с публикацией, что в последнее время открылась еще одна необъяснимая странность: рукопись, как живое существо, дышит, продолжает меняться. Когда, просмотрев все по первому разу, я взялся за постраничную расшифровку и перенос текста в компьютер, оказалось, что некоторые страницы исчезли (например, я не обнаружил тех самых строк о Руське-Дуремаре, о которых говорилось выше), другие оказались не в том месте, где были прежде... и в то же время появились новые, каких прежде вообще не было. Эта странность заставляет меня держать «амбарную рукопись» подальше от себя, в старом дровяном сарае, в дальнем углу под застрехой. Пусть там и живет...

Впрочем, и читателю не советую держать эту книгу в жилом помещении: я тут ни за что не могу ручаться.

Рожденное от плоти есть плоть,
а рожденное от Духа есть дух.
Не удивляйся тому, что я сказал тебе:
должно вам родиться свыше.
Ветер веет, где хочет, и голос его слышишь,
а не знаешь, откуда приходит и куда уходит:
так и рожденный от Духа.

Иоанн. 3,6-8.

1. Успение. Мамино золото

Мама родила меня, когда ей было двадцать два. Умерла довольно молодой, едва за шестьдесят. Я был у нее единственный ребенок, но так получилось, что мы вместе прожили совсем немного: в детстве отец отдал меня в суворовское училище, и после того, вырастая и взрослея, я почти не жил с родителями… В последние годы, как мне кажется, мать жила одиноко и бедно. После смерти отца (они тогда жили в Москве) осталась машина — мышиного цвета «Нива». Ее мать тогда же сразу и продала — я сам ездил к Южному порту на авторынок продавать по доверенности, — продала и за год прожила. Ну, конечно, московская квартира была у нее богатая — трехкомнатная на улице Сокольническая слободка, между метро и парком. Но уже после того, как меня арестовали, мать квартиру поменяла, переехала жить в Питер, на родину, где на Киновеевском кладбище в одной могиле и родители, и брат, и сестра,— переехала поближе к племяннице, к Лельке Лотаревой, которая всегда была ей как дочь…

Впрочем, одну действительно ценную вещицу отец оставил, и при мысли о ее судьбе у меня и теперь еще дыхание перехватывает от обиды: собираясь переезжать в Питер, мать в потайном ящичке отцова старинного бюро нашла николаевский империал, золотые десять рублей 1896 года (гэбэшники при обыске не нашли, а она — нашла!). Отец даже и в семье никогда не говорил, что хранит такую монету. Страстный коллекционер орденов (коллекция была завещана мне), он монеты не коллекционировал. Ценность же этой монеты была даже не в золоте — 12,9 граммов девятисотой пробы, — а в ее редкости: такие монеты чеканились в России всего три года, по 75 штук в год. За сто лет без малого — с войнами, революцией, конфискациями и прочим, и прочим — сколько их осталось? Серьезный нумизмат за такую монету много дал бы… Но мать, найдя монету, пошла не к нумизмату Лотареву (Арсений, Лелькин муж, был одним из хранителей нумизматической коллекции Эрмитажа). Нет, она в советах не нуждалась, знала, как поступить, ни на минуту не усомнилась! Многие годы, после тяжелых родов, ее мучили больные зубы, а тут такой кусок чистого золота! После переезда в Петербург она тут же отправилась к дантисту-частнику, и тот охотно набил ей рот золотыми коронками и мостами. Даже еще, честный человек, вернул золотой сегмент примерно в треть монеты: с одной стороны — глаз Николая II и надпись по краю поля «…ператоръ», а с оборота по краю — «…ріалъ». По этому сегменту, который в один из визитов в Питер вскоре после освобождения я увидел у матери, я и узнал, что за монета была — и без преувеличения испытал потрясение: буквально в глазах потемнело. Но все же промолчал, сдержался, ничего не сказал. Даже похвалил работу дантиста… Но чувство досады осталось. И почему-то об этом империале я сразу вспомнил снова, когда Лелька позвонила из Питера и сказала, что мать, которая болела долго и мучительно, вчера вечером скончалась…

На похороны я повез обеих дочерей. Не знаю зачем. Зосе было пятна-

дцать, Агнешке — двенадцать. С бабушкой они никогда вместе не жили. А в последние годы и вовсе жили в разных городах: они — в Москве, она — в Питере. Они за всю свою жизнь и видели-то ее всего один раз, мельком — да и можно ли сказать, что видели? Когда в восемьдесят четвертом меня посадили, мать (тогда она жила еще в Москве) через весь город прикатила (чего прежде никогда не было) к невестке и внучкам. Поди, от растерянности сорвалась с места. Не понимала, что происходит, но решила, надо что-то делать: сын в тюрьме, должна чем-то помочь. Может, денег привезла в осиротевшую и вмиг обнищавшую семью? Но откуда бы у нее деньги... Нет, теперь ничего знать невозможно. Так или иначе, Варвара, всегда ненавидевшая свекровь, увидев ее в дверях, сначала несколько опешила и пропустила ее в коридор, но тут же пришла в себя и чуть ли не в шею вытолкала обратно, вдогонку кричала, чтобы «старая блядь» забыла сюда дорогу. Дочерей, по обыкновению выбежавших посмотреть, кто пришел, загнала обратно в комнату — так что они успели увидеть только бабушкину спину в серой каракулевой шубе на лестничной площадке возле лифта. И входная дверь захлопнулась с такой яростной силой, что пианино в большой комнате отозвалось низким «до» и нота звучала, должно быть, целую минуту. Старшая дочь Зося хорошо запомнила именно каракулевую шубу у лифта (у самой была серая шубейка из искусственного каракуля, купленная некогда в «Детском мире») и ноту «до» (абсолютный слух у ребенка) и спустя шесть лет рассказала мне обо всем этом за чаем в купе «Красной стрелы», когда мы ехали в Питер на похороны.

Затея везти девчонок была не моя: Варвара настояла. Сказала, что девочки должны все в жизни знать, все повидать. И жизнь, и смерть. И я не стал возражать. К тому времени я уже старался возражать ей как можно меньше. Если в чем-то не соглашался, даже в малом, дело кончалось в лучшем случае трехдневным приступом ее убийственной мигрени и беспрестанным, днем и ночью, хождением с сигаретой из конца в конец квартиры, а в худшем и полным погружением в болезнь, в безумие, выражавшееся среди прочего дикой ненавистью ко мне: «Хоть бы ты сдох, хоть бы застрелился, все легче было бы... Хочешь, я куплю тебе пистолет на черном рынке?..»

Впрочем, как раз перед поездкой на похороны Варвара после очередного месяца в больнице была более-менее в порядке, называла меня (как всегда в минуты нежности) Барашкой («Тишуля-барашка»: на груди у меня густая вьющаяся поросль). Вообще-то мы в последние годы спали в разных комнатах, но если я задерживался дома днем, когда дети в школе, то, случалось, подходила ко мне, податливо прижималась всем телом (Господи, до чего похудела!) и была даже не против секса... И мысль о поездке дочерей в Питер была высказана как раз в постели, во время расслабленного отдыха, и я, конечно, не стал спорить...

Что уж они там узнали о жизни и смерти во время похорон, трудно сказать. Отпевание проходило прямо в морге при больнице, в небольшой комнате с грязно-желтыми кафельными стенами, куда покойников в гробу выкатывают к родственникам уже загримированными, одетыми и прибранными — попрощаться перед тем, как погрузить в автобус-катафалк и везти на кладбище или в крематорий. Присутствовали только мы с детьми (чуть не опоздали, приехали на такси прямо с поезда, едва успели букетик гвоздик схватить на вокзале) и Лелька, мамина племянница, моя любимая кузина Ольга Васильевна Лотарева, которая была старше меня лет на десять и с которой я лет десять не виделся. Когда мы вошли (почти вбежали), Лелька бросилась ко мне, обняла и навзрыд заплакала, затряслась у меня на плече: «Вот и нет нашей Зинуши». И потом все время пока шло отпевание, стояла справа у гроба, глядя в лицо покойницы, что-то шептала и часто крестилась. Слезы текли у нее по щекам, она не вытирала их, но промокала платком прямо через редкую черную вуаль, опускавшуюся на

лицо со старомодной шляпки. Эту шляпку с вуалью и с букетиком искусственных фиалок наверху (теперь фиалок уже не было) я помнил с раннего детства, а без нее, поди, мог бы и не узнать красавицу и модницу Лельку, так сильно она постарела и подурнела. До неузнаваемости. Когда-то мы жили как одна семья, каждое лето проводили вместе: особенно крепко мы дружили с ее младшим братом и моим тезкой Тихоном по прозвищу Такса, и Лелька была нашей старшей подругой. А теперь... вроде и Лелька — и не Лелька: чужая старая тетка с трясущимися руками, с одутловатым, сильно помятым лицом, с выцветшими голубыми глазами.

Вообще все вокруг выглядело каким-то ненастоящим, обманным, тревожным. Вроде и мать хоронят — время, адрес морга, все совпадает. Но старуха с бумажным венчиком на лбу, в каком-то незнакомом сером платьице, в дешевом гробу совсем не похожа на мою мать. Я ее не узнавал. И не удивился бы, если бы оказалось, что покойников перепутали и вместо матери нам подсунули кого-то чужого, какую-нибудь беспризорную бомжиху. Но не идти же теперь выяснять, кто это лежит? Мать очень постарела за время болезни, и вполне может быть, что предсмертные страдания и сама смерть так изменили лицо. Вон Лелька не сомневается, все шепчет и крестится, глядя на покойницу. Ай, да какая разница...

Два года болезни (инсульт с потерей разума) мать провела в Доме хроников, и три последних месяца — в так называемой «соматической» палате. В той, куда собирают совсем уж безнадежных — умирать. В последний раз я навестил ее за месяц до смерти — не сразу собрался, дела не пускали. Как раз в то время мне обещали вернуть конфискованную при аресте богатейшую коллекцию российских орденов, унаследованную от отца. А кроме того я, поняв, откуда и куда в стране дует ветер, начал искать возможность реализовать давнюю мечту: открыть салон антиквариата, свою галерею, развернуть свой бизнес... Но все же выбрал день, поехал в Питер.

Сначала к матери не хотели пускать: мол, больная не в том состоянии. Но я настоял, дошел до главврача. Повели не сразу, но повели. Молчаливая пожилая нянечка в синем халате повела — по коридорам с облупленными стенами, мимо воняющих мочой уборных, по лестницам с кучками окурков по углам. Привела. Цилиндрическим ключом, какие используют в железнодорожных вагонах и психиатрических больницах, открыла дверь... и в лицо ударило нестерпимое зловоние. В палате было, должно быть, двадцать железных коек... и двадцать совершенно голых истощенных болезнями и голодом старух лежали на койках, сидели или бродили между койками, придерживаясь за спинки. Двадцать скелетов. Может, и не все были голые, но мне так показалось, и так я запомнил. И уж точно все были стрижены наголо... Мать лежала на койке слева возле стены, единственная в чистой больничной рубахе — успели что ли надеть, пока я ждал в приемной и общался с главврачихой? Нет, все-таки не все были стрижены: жидкие седые волосы матери разметались по подушке... Она меня не узнала. Должно быть, уже не понимала, где она и что с ней. (Господи, неужели все понимала? И просто не захотела узнавать? Эта мысль потом не раз приходила мне в голову.) Я что-то говорил, называл ее «мамочкой», попытался посадить, прислонив к стене, и напоить некогда любимым ею апельсиновым соком, банку которого перед поездкой специально купил за доллары в «Березке». Посадить-то я ее посадил, взяв за плечи, но при этом совершенно не ощутил в руках какой бы то ни было плоти на костях, и на лице ее появилась такая гримаса боли, что я испугался, не повредил ли чего. Нормально пить она уже не могла, сок потек мимо рта по седым волосам на подбородке и желтой струйкой вниз, оставляя расплывающийся след на белой рубахе. «Стойкое вегетативное состояние», —

сказала пожилая санитарка, когда я растерянно оглянулся на нее. И вдруг у меня из глубины груди к горлу непроизвольно подступили рыдания, и, кое-как поставив бумажный стаканчик с соком на стул (тумбочек в палате не было — что им держать в тумбочках?), я выскочил в коридор. Надо было несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы спазм прошел, но в палату я больше не вернулся. Там уже нечего было делать. «Это она в последние дни тихая стала, угомонилась, — сказала санитарка, выйдя следом и запирая дверь. — А то все у нее пожар был. Все кричала: "Горит, горит!" И по ночам. Соседка чуть ее не прибила. Соседка-то покрепче будет». «Что горит?» — не понял я. «А кто ее знает, что у нее горит. Или у вас в деревне что горело?» — «Да нет, — сказал я, — вроде ничего. Мы городские»... «Что же домой-то не возьмешь? — тихо спросила санитарка, спускаясь рядом со мной все по тем же заплеванным лестницам. — Дома умирать лучше».

Господи, что я мог сказать? Кому и куда брать? За неделю до того Варвара очередной раз загремела в психушку, и я остался один с детьми — хорошо, старшая уже взрослая, и я, после того как Лелька позвонила, что мать, мол, совсем плохая и надо прощаться, смог все-таки выбрать день и уехать... Только через месяц после моего посещения той инфернальной палаты Лелька позвонила снова: вчера Зина умерла от воспаления легких. Значит, еще целый месяц пролежала в «стойком вегетативном состоянии» — поди, все в той рубахе с расплывшимся пятном апельсинового сока. Или совсем голая. «Я закажу отпевание прямо в морге, если ты не против», — сказала Лелька. Я сказал, что не против. Хотя мать, кажется, ни разу в жизни не была в церкви...

Вот и священник на похоронах тоже был какой-то ненастоящий, фальшивый. Совсем молоденький, маленький, худенький, с маленьким озабоченным личиком, жидкой, совершенно прозрачной русой бородкой и высоким детским голосом. Вокруг гроба ходил быстро, почти бегом и кадилом размахивал как-то безразлично и беспорядочно. Мне вдруг пришло в голову, что, может, это и вообще не священник, но для исполнения этой службы быстренько переодевается кто-нибудь из работников морга. Услуга платная — почему не заработать? Хотите отпевание — будет вам отпевание. Господи, такие времена: кто будет проверять, докапываться — настоящий священник или не настоящий? Меня не оставляло тревожное, пугающее ощущение обмана. И когда положена была крышка на гроб и два служителя, неопрятные мужики, судя по аромату, уже с утра хорошо налитые водкой, перенесли гроб в автобус-катафалк, я испытал сильное облегчение... Наконец мы все разместились в том же автобусе — и поехали.

По дороге я смотрел на дочерей: старшая обняла младшую и обе, прижавшись друг к другу, неотрывно смотрели в окно и иногда о чем-то оживленно перешептывались — уж они-то точно не выглядели испуганными. Для девочек, редко выезжавших из дому, это было что-то вроде экскурсии по незнакомому городу... И только в крематории, когда грянули оркестрованные рыдания Шопена, и гроб стал медленно опускаться в открывшуюся черноту подпола, я подумал, что вот это взаправду, без фальши. И девочки, видимо, тоже ощутили особенную значимость произошедшего и с двух сторон прижались ко мне, словно вот теперь испугались...

Из крематория я предполагал ехать прямо на вокзал и где-нибудь поблизости посидеть в кафе, подождать вечернего поезда или, может быть, пройтись с детьми по Невскому, хотя бы до Фонтанки дойти, показать им коней Клодта. Но Лелька сделала обиженное лицо. Она уже не плакала и была озабочена: дома готовы поминки, родственники придут: «Много ли осталось нас, Мурзаевых. И о наследстве поговорим». Я с недоумением посмотрел на нее: при чем тут Мурзаевы?

Я никогда не ощущал себя Мурзаевым. Я всегда был Евангелиди и с гордостью носил эту дворянскую фамилию. Греческий предок прибыл в Москву в XV веке в свите Софьи Палеолог — это в документах зафиксировано... Мой отец был Евангелиди, и отец отца, и прадед... Да ведь Лелька и сама никогда не была Мурзаевой — ни по фамилии, ни по образу жизни: по отцу — Ксаверий, по мужу — Лотарева. Она — старший научный сотрудник в Эрмитаже, кандидат... А Мурзаевы — милые бабушка и дедушка из тульских мещан — наши предки по плоти, и их уж давно нету в живых. Кто там еще с этой фамилией? Был однорукий дядя Петя Мурзаев, мамин старший брат, инвалид войны, — так он умер лет двадцать назад. Его дети, с которыми мы даже не знакомы? Да, вот еще: с детства я не умел различить двух близнецов, древних стариков Мурзаевых, дедушкиных младших братьев, появлявшихся на редких семейных застольях (свадьбы, юбилеи, похороны). Старики всегда возникали в разгар мероприятия, тихо и неожиданно, как из стены выходили: не было, не было — и вдруг вот они здесь, давно уже спокойно сидят среди собравшихся, материализовались. Всегда вдвоем, ни жен при них, ни детей. Оба лысые, с маленькими сморщенными личиками, похожие на двух орлов-стервятников, некогда вылупившихся из одного яйца. «Деда Аля» и «деда Валя». Оба — заслуженные чекисты: по семейной легенде, когда-то им даже была доверена охрана пленного немецкого фельдмаршала Паулюса... Когда меня арестовали — там, в Москве, — их здесь, в Питере зачем-то пригласили на допрос: как родственников, вдруг что-нибудь важное скажут. Вызывали обоих одновременно, не стали разлучать. Читая в Лефортовской тюрьме перед судом свое «дело», я наткнулся на два идентичных протокола с одной и той же датой и одним и тем же временем допроса. Оба старика слово в слово заявили, что знать меня, мерзавца, не знают... Это и есть Мурзаевы, которых «осталось так мало»?.. Кто же еще? Такса, Лелькин брат, давно эмигрировал. Да и какой он Мурзаев... А больше вроде бы никого нет... Ладно, потерпим, поминки есть поминки — и я не стал ничего спрашивать, молча кивнул: поехали. Хочешь, кузина, делить наследство, будем делить наследство — ты, я, близнецы Мурзаевы...

Господи, ну какое там еще наследство? Что мать, одинокая старуха, могла оставить? Что у нее было? Золотые побрякушки в уши, на руки и на шею, которые она любила и покупала в молодости? Да и самое ценное из них Лелька попродавала в последние два года — и каждый раз, извиняясь, звонила мне: мол, вынуждена продать, в больницу поехать не с чем — вот отдала серьги с бриллиантами, вот кольцо с изумрудом — и все за бесценок. Я всегда, всегда одобрял любую продажу: мол, правильно поступила — а что еще оставалось? Ведь это она, а не я, ездила в больницу, покупала на рынке продукты...Что еще было у матери? Вытертая шуба серого каракуля, некогда роскошная, серебряного сияния — сорокалетней давности подарок курортного любовника, оказавшегося министром заготовок Молдавии (золотая должность во времена тотального дефицита). Вот и все... Да еще, пожалуй, тот самый сегментик от империала. Не о нем ли Лелька говорит как о наследстве? Пусть уж любимая племянница возьмет его себе.

К Лельке на Литейный поехали на том же автокатафалке, на каком отвезли гроб в крематорий. Стояла замечательная золотая осень. Бабье лето. Оказалось, в Петербурге по улицам много зелени — летом эта пыльная зелень не так заметна, но теперь вся она превратилась в осеннее тусклое золото, отражавшееся в стеклах автомобилей, автобусов, и особенно хорошо — в стеклянной протяженности грохочущих трамваев... Еще мальчиком и потом уже юношей, студентом я часто приезжал в этот город. Останавливался у дедушки и бабушки Мурзаевых, живших на третьем этаже дома на углу Дровяного переулка и набе-

режной канала Грибоедова в двух больших светлых комнатах необъятной и весьма запущенной коммунальной квартиры. Я всегда ночевал в темной каморке при кухне. Каморка эта в незапамятные дореволюционные времена была предназначена «для прислуги», но в советской коммунальной квартире дед, заядлый фотолюбитель, захватил ее явочным порядком под свою фотолабораторию... Именно сюда, в ту нору, студент последнего курса, я привел однажды среди ночи (по черной лестнице поднялись, стараясь не цокать каблуками) черноволосую и синеглазую красавицу Владку Коханову. Помню, мы включили дедов красный фонарь и голые, молодые, стройные в густом красном свете оба смотрелись сатанински прекрасно. Вели мы себя, должно быть, несдержанно, и потом, отдыхая на жестком топчане, слышали, как за стеной, совсем близко, встревоженно переговариваются соседки, две добрые старые еврейки, Эсфирь Израильевна и Берта Израильевна, разбуженные, видимо, ритмичными скрипами и постаныванием. («Ты слишком мужик»,— сказала мне тогда Владка. Это была наша первая ночь, и Владка, видимо, была не вполне мной довольна. Или недовольна совсем. Я, признаться, тоже был не в восторге — от долгой механической работы я до крови стер колени: топчан был покрыт ковром с коротким жестким ворсом...)

«Посмотрите, девочки, какая красавица была ваша бабушка: прохожие оборачивались», — Лелька прервала мои воспоминания. Она достала из сумки и показывала дочерям хорошо мне знакомое «золотое» фото матери, снятое еще в пятидесятые годы в Ялте, на берегу моря. Мать любила все сияюще-желтое, и на черно-белом снимке цветными карандашами было подкрашено золото волос, халата и купальника, и зонтика. И голубое море было подкрашено, и мамины замечательно красивые, молодые и веселые, светло-светло карие глаза. У меня когда-то был такой же снимок — не подкрашенный. Был, но теперь его нет, исчез. «Да, да, — сказал я, — знаю, "золотое" фото. У меня есть».

Увы, не было у меня такого фото. Варька уничтожила в один из приступов безумия: зажигалкой запалила и выбросила в открытое окно на кухне и смотрела, как горящий клочок фотобумаги, слегка покачиваясь, планирует с одиннадцатого этажа и потом еще некоторое время догорает в снегу... Вообще-то, честно говоря, у Варвары были основания не любить свекровь. Их взаимоотношения не заладились с самого начала: мать считала, что я сотворил несусветную глупость, привезя из Владимира эту пигалицу. В Москве не мог найти лучше? Актриса, видите ли: в ТЮЗе зайчиков изображала... Авантюристка... Скандалы следовали один за другим. Какая-то дремучая ревность, неуемный и темный женский инстинкт злобой заливали душу матери. Выносить это было невозможно. И в конце концов мы уехали из просторной родительской квартиры. Сначала снимали комнату, а когда родился первый ребенок, я залез в долги и вступил в кооператив в Теплом Стане. И даже когда отец умер, и в трехкомнатной квартире мать осталась одна, мы к ней не вернулись. Да она и не звала... А уж о том, чтобы объединить две квартиры, обменять на что-то большее — и вовсе речи не было.

Но больше чем неприязнь свекрови к ней самой Варвару оскорбило ее равнодушие к детям. Когда родилась Зося, а потом и Агнешка, бабушка, казалось, их вовсе не заметила. Даже просто посмотреть на внучек ни разу не приехала, хотя все жили в одном городе, и от Сокольников до Теплого Стана никак не больше часа езды.

Я все-таки время от времени навещал родителей. Когда же отец умер, мать объявила мне, что переедет в Питер, поближе к любимой племяннице Лельке. Мол, уже дала объявление и, как только попадется подходящий вариант, так начнет собираться: «Если что со мной случится, хоть будет кому стакан воды подать».

Я всегда потом корил себя, что допустил этот обмен. Но вот допустил. «Хочешь в Питер — поезжай, — сказал я. — Так и впрямь будет лучше, все-таки там Лелька — вы всегда были так близки...» После мне приходило в голову, что мать, может, другое хотела услышать от меня: что я, мол, решительно против ее переезда, что я сделаю все возможное, чтобы ей было хорошо здесь, в Москве, — но не услышала...

Переезд состоялся уже после того, как меня посадили.... и оказался ошибкой: с этим пресловутым «стаканом воды» все вышло очень плохо. В ее новую просторную питерскую квартиру в самом центре, на Литейном не сама мать въехала, а Лелька со своим алкашом-доходягой Лотаревым — в то время после серии семейных разменов (что-то игроман Такса проиграл, у Лотарева неожиданно объявились какие-то родственники) они ютились в хрущевке, в тесной однушке у метро «Парк Победы» — вот эту-то однушку мать и взяла себе: мол, ей много не нужно... опять-таки стакан воды... и все такое. Но когда у матери случился инсульт, Лелька не взяла ее к себе. Лотаревы определили ее умирать в Дом хроников, а однушку отдали государству (таковы были обычные условия «сделки» одиноких стариков с советской властью)... Арсений Лотарев в ту пору «подшился», не пил и честно раз или даже два раза в неделю навещал больную родственницу, по пути заезжал на рынок... Но вскоре у него случился инфаркт: упертый коммунист, он в сильный мороз переволновался на митинге против коммунистов, пришел домой, не сняв пальто, сел к телевизору, где транслировался еще один митинг против коммунистов — и умер... Лелька, многие годы страдавшая отеком ног («слоновой болезнью»), похоронив мужа, к любимой тетке ездила редко. Я, должен признаться, освободившись из лагеря, приезжал из Москвы еще реже. И в конце концов все закончилось так, как закончилось...

«Озолотились люди», — Лелька опять перебила мои мысли. Мы проезжали по набережной канала, и на противоположном берегу был как раз тот самый «мурзаевский» дом на углу Дровянго. Теперь он был хорошо отремонтирован, даже сильно перестроен, с бурыми зеркальными стеклами в окнах — видимо, здесь теперь какой-то богатый офис... И я вдруг, без всякой связи, понял, почему не мог узнать мать в той старухе в гробу. Ну конечно — золото! В гробу мать была без зубов, что-то там было подложено вместо зубов — кто же в наше время допустит, чтобы мимо рук проплыло столько золота! Больничные умельцы изловчились? Или уже в морге? Или, может, что еще страшнее, Лелька расстаралась и потребовала вернуть свое? Я подумал, что, возможно, разговор об этом зайдет на поминках, и меня охватил ужас. Не это ли и есть наследство?

Я поднялся и прошел к шоферу: «Давай к Московскому вокзалу». «Что случилось?» — встревожилась Лелька. «Прости, совсем забыл, мне надо быть в Москве уже сегодня вечером, — сказал я, садясь на место. — Мы успеваем на «сидячий». Извини ради Бога». Лелька обиженно пожала плечами.

У Московского встали на Лиговке в сторонке, машину не отпустили, но Лелька вышла вместе с нами. Погода изменилась, накрапывал мелкий дождик. Лелька обняла меня. «От Тихона ничего нет?» — спросил я: Такса как-то бесследно канул в Штатах. Лелька молча покачала головой. «Знаю, мне нет прощения, — неожиданно спокойно и сухо сказала она, — но пойми, я не могла взять Зину. Сама еле ноги волоку, я бы еще прежде нее... Нет, я не оправдываюсь, мне оправдания нет. Я любимую мою Зинушу предала. С этим и умру». Я молчал — что я мог ей сказать?.. Прежде чем сесть в автобус, она вдруг быстро обняла девочек, сразу обеих, и заплакала. И они обняли ее и тоже заплакали...

Я смотрел на нее и вдруг понял, что вижу ее живой в последний раз. Как часто случалось со мной в последнее время, я точно *знал*, когда и как она умрет: ровно через год, тоже в начале октября — тоже от сердечной недостаточности

при пневмонии... Так и произошло: мне позвонили из больницы, и я ездил хоронить. Слава Богу, деньги были — первые шаги в бизнесе оказались удачны...

А вот мой кузен и друг Тихон Абрамович Ксаверий, которого весь Питер в прежние годы знал как Таксу, на похороны сестры не приехал. Несостоявшийся художник и известный жучила антикварного бизнеса, он в Америке успешно открыл было свое дело, но продолжал играть и в конце концов все просадил — такие ходили слухи: сам он за все эти годы не только ни разу не приезжал в Россию, но даже никак не давал знать о себе. Когда Лелька умерла, я послал ему телеграмму по какому-то из последних известных адресов, но он не откликнулся...

В Лелькиной квартире на Литейном я со временем забрал окна железными решетками, поставил новую железную дверь и закрыл ее на три секретных замка. Квартира была совсем недавно приватизирована и завещана мне, Тихону Алексеевичу Евангелиди, 1950 года рождения, проживающему г. Москва... и т.д. Не об этом ли наследстве Лелька хотела говорить со мной?

2. Исчезновение

Тихон Евангелиди исчез в самом центре Москвы в три часа пополудни в пятницу 11 июля. Ничем не примечательный день мог запомниться разве что своей небывалой, просто-таки печной жарой. Зной нарастал день ото дня всю неделю. Стены московских зданий и асфальт улиц, раскаляясь днем, не успевали остынуть короткими душными ночами, а с раннего утра солнце, едва поднявшись над крышами, снова стремилось зажечь, запечь или расплавить все, что попадало под его лучи. Люди, проходившие по Тверской, останавливались и показывали друг другу на недавно сооруженный огромный уличный термометр на стене дома на углу Камергерского: красный столбик стоял на отметке 35,6 градуса: в июле такой жары не было за всю историю метеонаблюдений... Без двух минут три Евангелиди вышел из «Парикмахерской № 1», что напротив телеграфа, и, коротко взглянув вверх на небеса, где, слава богу, все-таки собиралась гроза, направился к подземному переходу, спустился вниз... и, как потом оказалось, исчез навсегда. Время зафиксировано с точностью до минуты, поскольку исчезновение произошло, можно сказать, прямо на глазах у Тихона Ксаверия, двоюродного брата Евангелиди, его друга и компаньона по антикварному бизнесу, невысокого крепкого человечка, по совокупности признаков (имя, фамилия, невысокий рост, чуть кривоватые ноги, добродушный нрав) с детства получившего прозвище Такса.

Утром Такса по телефону договорился с Евангелиди встретиться у Центрального телеграфа как раз в три. Собирались пойти смотреть старинный секретер возможно работы мастерской Жакоба (XVIII век). Ну, Жакоб или не Жакоб, в каталогах такого секретера не было, но, по крайней мере, отличный предмет полированного красного дерева с накладками из золоченой бронзы — некие античные мотивы, как раз для Жакоба характерные. Секретер продавала спившаяся или сидевшая на игле (так она выглядела, когда пришла два дня назад в галерею и принесла фото своей мебели) племянница знаменитой балерины, умершей лет десять назад. Идти надо было здесь недалеко, на улицу Неждановой, в тот самый дом, где в советские времена жили артисты Большого театра и многие известные музыканты. Антикварам (не только московским, но и европейским) хорошо знаком этот еще довоенной постройки сталинский дом, на фасаде которого буквально нет свободного места от гранитных и мраморных мемориальных досок. Наследники великих артистов, нищая или просто утрачи-

вая интерес и вкус к произведениям искусства, в последние годы охотно расставались и с картинами, и с мебелью, и с ценнейшими книжными собраниями, и Такса уже несколько раз посетил этот пантеон искусства XX века. Он купил здесь и перевез в свой магазин-галерею «Добрый Ксаверий» на Старом Арбате с десяток картин, пару старинных сервизов, голубую люстру екатерининских времен (в идеальном состоянии) и прелестный столовый мебельный гарнитур (ремонтированный, но вполне приличный — его забрал себе Евангелиди и отвез на дачу в Мещерское). Понятно, что все эти вещи долго на Арбате не задерживались и вскоре одна за другой отправлялись дальше, в подмосковные особняки и московские апартаменты нефтяных, газовых и прочих успешных бизнесменов, оставив должный процент галерейщику. Вернее, *галерейщикам*, поскольку основным-то владельцем «Доброго Ксаверия» был Евангелиди, что, впрочем, нигде никогда не афишировалось.

Теперь, собираясь смотреть раритетный секретер, компаньоны могли бы встретиться прямо возле дома на Неждановой, но Евангелиди назначил встречу у Центрального телеграфа: по телефону он со свойственной ему обходительностью сказал, что хотел бы предварительно зайти в парикмахерскую: «Если ты не будешь против... У меня такие патлы, что жакобова хозяйка посмотрит в глазок и испугается, дверь не откроет. Заодно пройдемся и побеседуем, есть важный разговор — не для телефона... Если, конечно, ты не возражаешь». Такса, проживший восемь лет в Штатах и успевший усвоить там поведенческие принципы безоглядной свободы, снисходительно усмехнулся и подумал, что во времена мобильной связи бояться прослушки — это, конечно, шизофрения, синдром советского зэка... однако возражать не стал: Евангелиди и был советским зэком. Такса был даже рад прогуляться: Тих (так Евангелиди звали в семье с детства) в последний месяц был занят своими писательскими делами (писал какой-то исторический роман), жил в основном на даче в Мещерском, в галерее совсем не появлялся, и вполне естественно, что у обоих компаньонов накопилось, о чем поговорить...

Такса приехал чуть раньше, удачно припарковался на теневой стороне переулка (если оставить машину на солнце, потом до нее не дотронешься — так раскалится) и, взгромоздившись на теплый, нагретый солнцем парапет подземного перехода (ноги не доставали до земли), успел прочитать в «Коммерсанте» содержательную статью о движении цен на столичном рынке недвижимости. Чтение, впрочем, не помешало ему, поглядывая время от времени поверх газеты, отметить, что в этот жаркий день у многих из проходивших мимо девушек и молодых женщин под легкими сарафанчиками нет лифчиков. Все, все без исключения шедшие мимо женщины были молоды и красивы, просто какой-то парад красавиц. В конце концов Такса совсем оторвался от газетного текста и, глядя поверх раскрытой газеты на особенно хорошеньких, пытался вообразить, как должны выглядеть их груди, совсем освобожденные от одежды, — это занятие бодрило, и он даже ощутил некоторый намек на эрекцию...

Умница и веселый добряк Такса Ксаверий в свои сорок девять вел жизнь свободного и независимого холостяка и за четыре года в Москве сделался любимцем московской богемной и гламурной публики (впрочем, многие были знакомы с ним еще по Питеру, а кто-то — и по Нью-Йорку). У тех, кто прежде слышал о нем, но встречал впервые, он неизменно вызывал добрую улыбку — настолько точна была давным-давно прилепившаяся кличка: Такса он и есть Такса, и никак иначе — хоть уж и не мальчик и надо бы по имени-отчеству (впрочем, он всегда выглядел много моложе своих лет). Сам же он не только спокойно носил, но даже и культивировал свое собачье прозвище в рекламных целях. Например, на торговую марку галереи «Добрый Ксаверий», выполненную

в виде средневекового герба, он поместил двух обнявшихся такс и вокруг пустил девиз: «Безошибочный антикварный нюх». Он и вживую завел двух очаровательных длинношерстных таксюшек. Жил он в одном из арбатских переулков и не только время от времени прогуливался со своими таксюшками по Старому Арбату, раскланиваясь со знакомыми клиентами (живая реклама галереи), но и, бывало, возил собачек с собой в своем «ауди» и, уходя по делам или за покупками в магазин, надолго оставлял их в машине, и две симпатичные острые мордочки из-за стекла с любопытством разглядывали прохожих, вызывая улыбки и умиление… Все знали, что «Такса точно знает таксу»: считалось, что Т.А. Ксаверий — лучший (и что особенно важно, честнейший) в Москве, если вообще не во всей России, знаток и оценщик антиквариата. «Основной капитал фирмы в том, что я ни разу не ошибся», — говорил он. Конечно, то же самое мог сказать о себе и Евангелиди, который, впрочем, будучи главным учредителем галереи и фактическим ее владельцем, предпочитал оставаться в тени…

В последний раз Такса увидел Евангелиди, когда тот вышел из парикмахерской. Заметить его было нетрудно: он был на голову выше толпы. Выйдя из дверей парикмахерской, он на секунду приостановился, чтобы взглянуть вверх, на небо, где, кажется, начинали собираться тучи. Левой рукой он пригладил на виске, видимо, только что сделанную прическу, и при этом его сапфировый перстень — известная всем московским антикварам музейная вещица XVII века — поймал солнце и блеснул через всю улицу (позже, когда Такса начинал сомневаться, точно ли Евангелиди тогда вышел из парикмахерской, короткий голубоватый блеск знаменитого перстня снимал все сомнения). Задержавшись буквально на секунду, Евангелиди направился к подземному переходу, и Такса видел (и потом не раз воспроизводил в памяти в посекундном движении — как замедленные кадры кинохроники), как он шаг за шагом спускается по лестнице — сначала виден во весь рост, потом по пояс, потом только голова видна — и совсем ушел.

Пересечь улицу по подземному переходу занимает от силы две минуты, и Такса сложил газету и соскочил с парапета. Но ни через две, ни через пять минут Евангелиди не появился. Такса терпеливо ждал: думал, что Тих задержался в переходе — сигареты купить или тот же «Коммерсантъ». Но нет, Евангелиди не появился ни через пять минут, ни через десять. И с противоположной стороны он не выходил: все это время Такса смотрел на противоположную сторону улицы, поскольку заметил там знакомую «центровую» проститутку Матильду, которая стояла с тоже знакомой Таксе балеринкой из кордебалета Большого: он ждал, что Матильда или балеринка случайно посмотрят в его сторону, и тогда он помахал бы им рукой — так, на всякий случай (он хорошо знал их обеих, с обеими спал в разное время). Но те не только не увидели Таксу, но и вообще повернулись к нему спиной и пошли прочь… Евангелиди же так и не появился. В конце концов Такса потерял терпение и спустился в переход. Два раза он прошел туда и обратно, но Евангелиди не было. И мобильный его был выключен…

И тут где-то совсем рядом с оглушительным треском — словно бомба террориста — ударила молния, тяжело раскатился гром, и разразилась страшная гроза. Сверху по ступеням в переход хлынул поток воды, и вместе с потоком повалило вниз плотное стадо мокрых прохожих. Таксу бесцеремонно прижала к стене голая и влажная женская спина, он с силой оттолкнул ее от себя двумя руками — оказалось, это необъятных размеров ярко накрашенная дама в сарафане и при ней крепкий парень-телохранитель. Дама чуть не упала, но успела ухватиться за телохранителя и тут же, едва утвердившись на ногах, обернулась к Таксе и подняла крик, обозвала его хамом и почему-то «эксгибиционистом

позорным». Телохранитель, выпятив грудь, молча пошел на него. Пришлось лопотать какие-то извинения, говорить, что он оттолкнул даму инстинктивно: пятясь, она наступила ему шпилькой на ногу... Так или иначе, зажатым в тесной толпе Таксе пришлось проторчать под землей все время, пока лил дождь — не менее минут пятнадцати или даже двадцати.

В те минуты ему, конечно, не могло прийти в голову, что Евангелиди исчез навсегда. Он решил, что Тих почему-то кинул его и, намеренно разминувшись, предательски пошел смотреть музейный раритет Жакоба один. Когда гроза кончилась, уже около четырех, выпив в некоторой растерянности чашку плохого кофе в шатровом кафе на углу Камергерского, он, уже садясь в машину, позвонил на всякий случай хозяйке старинного секретера, но нет, туда никто не приходил, и Такса, извинившись, сказал, что они с партнером придут завтра...

Между тем ни днем, ни поздно вечером Евангелиди не появился ни дома на Ленинском, ни на даче в Мещерском, где он в последнее время часто и подолгу жил (благо это практически в Москве — сразу за Кольцевой). «Не у меня ищи этого вонючего подонка, а у кого-нибудь из ваших проституток, — зло сказала Таксе по телефону Тихова жена, сумасшедшая Варвара. — Мне на него насрать. Если подох, сообщи, я порадуюсь». И она повесила трубку. У нее, видимо, был очередной приступ ненависти к мужу, время от времени накатывавшей на нее...

Дня два Такса все-таки надеялся, что Евангелиди вот-вот объявится — ну, мало ли что (например, запал на какую-нибудь новую женщину — и ни ему, ни ей пару дней никто и ничто не нужны: лично у него, Таксы, так бывало!)... Или хотя бы по телефону прорежется. Но нет, нигде ничего — и постоянно «аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети». Между тем становилось как-то все более и более тревожно. Конечно, прежде бывало, что Евангелиди неожиданно срывался с места и уезжал, например, за границу (в последнее время они открыли два филиала галереи — в Мюнхене и Лондоне), но всегда сообщал об этом и всегда, где бы ни находился, оставался доступен по телефону... На третий день, сидя у себя в галерее, Такса потратил часа три, обзванивая больницы и «Скорую помощь» — но нет, не поступал такой. Уже и Варвара, с которой у Таксы были вполне добрые отношения (а когда-то мимоходом даже и что-то большее), на третий или четвертый день озаботилась и сама позвонила ему: не объявилась ли эта скотина?

Только на пятый день стало ясно, что Евангелиди не просто загулял, но именно бесследно исчез: утром к Варваре на квартиру на Ленинском с ордером на обыск пришли люди из ФСБ — четверо или пятеро во главе с симпатичным белобрысым молодым человеком, представившимся капитаном не то Никитиным, не то Никифоровым. Варвара, хоть и заглянула в удостоверение, фамилию точно не запомнила. Она в это время жила одна: дети (взрослые дочери, одна — студентка, другая — уже аспирантка) на каникулах гостили у друзей — одна в Париже, другая здесь, в Барвихе. Растерявшись, Варвара даже не спросила, в связи с чем обыск. Или ей сказали, но она пропустила мимо ушей. Кажется, все-таки сказали: «по факту исчезновения». «Кстати, "тойота" Тихона Алексеевича стоит на платной стоянке на углу Камергерского переулка, — сказал белобрысый. — У вас есть запасные ключи? Надо ее забрать...» Но что хотят найти у нее дома, она не поняла — не самого же Евангелиди здесь ищут!

Гэбэшники, однако, довольно поверхностно просмотрев картины (впрочем, и с лица, и зачем-то с изнанки), папки с коллекцией рисунков и акварелей, некоторые книги на полках, пооткрывав ящики письменного стола и большого старинного секретера (секретеры, бюро всегда были страстью Евангелиди) и безошибочно определив, где в секретере тайничок (оказавшийся пустым), слазив на антресоли и заглянув в шкафы на балконе-лоджии, с собой взяли только

альбом с семейными фотографиями. Впрочем, и на то вежливо спросили у Варвары разрешения: «Под мое честное слово. Завтра верну», — сказал юный капитан (и действительно, назавтра альбом был возвращен с нарочным). Видимо, не нашли они что искали — не за альбомом же приезжали — и попросили Варвару проехать с ними в их микроавтобусе на дачу в Мещерское. Варвара, молча пожав плечами, поехала...

Варвара как-никак была женой бывшего диссидента, политзэка и имела опыт — и обысков, и общения с гэбэшниками. Десять... или сколько уже?.. двенадцать?.. почти четырнадцать!.. лет назад ее, тогда больную, полубезумную, даже таскали в Лефортово на допросы по делу мужа. Хорошо осознавая, в каком тяжелом состоянии женщина, лефортовский следователь между тем нагло и бессовестно давил на нее, пытался получить что-нибудь порочащее мужа (например, как, через кого он передавал на Запад свои произведения, читавшиеся «по голосам»?), угрожал, говорил, что могут забрать и ее тоже — и дети останутся сиротами... Но тогда у нее как-то получалось собраться и занять разумную позицию: мол, ей мало что известно — муж сам по себе, а она в основном домохозяйка...

Теперь, однако, все было иначе. Молодой белобрысый «капитан в штатском» был предельно вежлив, даже любезен, подавал руку, помогая войти в микроавтобус, и всю дорогу бесконечно извинялся, объяснял, что отрывают ее от дел только потому, что *они*, как и она, чрезвычайно озабочены столь долгим отсутствием такого известного и уважаемого человека, как Тихон Алексеевич, и всерьез опасаются («Вы ведь понимаете, какие сейчас смутные времена! А тут галерея, магазин, ценности».) — опасаются, нет ли угрозы его жизни и здоровью со стороны криминала. «Ваше заявление нас очень встревожило», — начал было он, но она удивилась: «Какое заявление? Я не подавала никакого заявления». Тут он понял, что сказал что-то лишнее... но сразу нашелся: «Надо обязательно подать заявление о пропаже человека. Я скажу вам, как это сделать». Что ж, значит, никакого заявления у них ни от кого не было и они искали Евангелиди по своему почину: откуда-то знали, что он исчез...

На даче в Мещерском в пустом двухэтажном доме произвели уже более тщательный обыск. Два человека, оба серьезные, в очках сели в кабинете на втором этаже и занялись бумагами Евангелиди — благо хозяин никогда не запирал на ключ ни книжные шкафы, ни ящики секретера (и здесь секретер — восхитительная работа московского немца, царского столяра Павла Споля, XVIII век)... Один молодой пошел искать что-то в гараже. А один, угрюмый, молчаливый мужик, переоделся в специальный комбинезон, нашел и открыл люк в полу и полез вниз, под пол — не в подпол, которого здесь не было, а именно под пол, куда на Варвариной памяти лазили только один раз, когда были какие-то проблемы с водопроводом, — в то тесное, изначально, еще со времен строительства этого бревенчатого дома заваленное деревянными обрезками и обломками кирпича пространство, что оставалось между черновым полом и землей и где можно только проползти на четвереньках или вовсе даже по-пластунски и вылезти с ног до головы в глине и сгнивших опилках... Таким он и вылез. И с пустыми руками — не могло быть и не оказалось здесь ничего интересного, да и ничего вообще, кроме мусора.

Варвара все это время неподвижно сидела в кресле перед пустым и тщательно вычищенным камином. Она почему-то с обидой подумала, что когда они всей семьей живали тут летом или приезжали на зимние каникулы — она, ее мать, Тихон, девочки — такой чистоты и такого порядка в доме никогда не было... «Ну и где же теперь ваш муж?» — как-то вдруг изменив интонацию, совсем фамильярно, как бы дружески-грубовато спросил Никитин-Никифоров,

присаживаясь на край другого кресла, рядом — словно именно Евангелиди они уверенно искали под полом, но, к удивлению, там его не оказалось. Варвара презрительно скривила свое маленькое курносое, очень мальчишеское личико: «Давайте так... где эта скотина, я не знаю и не интересуюсь». «Да, — засмеялся Никитин-Никифоров, — а вот мы интересуемся, но пока тоже не знаем». Он обращался к Варваре вполне дружелюбно: очевидная ненависть жены к мужу его, кажется, не удивила. Он словно знал, в чем тут дело, заранее знал, как она отреагирует, и спрашивал на всякий случай.

Что-то еще он спросил о писательстве Евангелиди, о том, как продвигалась работа над романом, который он, кажется, писал в последнее время, но на это Варвара просто молча пожала плечами. На том беседа и закончилась... Так с одним семейным альбомчиком и уехали, по пути подбросив Варвару все на том же микроавтобусе обратно на квартиру на Ленинский.

Евангелиди не появился ни через неделю, ни через месяц. С тоской и тревогой Такса ждал, когда Варвара предъявит свои права наследования, — и тогда как бы она не вышвырнула его, Таксу из дела вообще и из «Доброго Ксаверия» в частности. Он везде и всюду говорил с печалью, что уверен:Евангелиди нет в живых, покончил с собой. Эта версия была совершенно нелепой и совершенно вопреки очевидному: где он там мог покончить с собой в подземном переходе? Да и вряд ли человек, решившийся на самоубийство, пойдет перед тем стричься в парикмахерской — причем не в той скромной, в Сивцевом Вражке, где они с Таксой стриглись обычно и куда раз в месяц вместе заезжали перед традиционным посещением Сандуновских бань, а в наимоднейшей «Парикмахерской №1» напротив Центрального телеграфа.

Об исчезновении Евангелиди (или о похищении?) знали, конечно, все — и вся Москва, и весь Питер: соответствующие заметки появились и в «Коммерсанте», и в «Комсомолке», и в некоторых других изданиях. Таксе все сочувствовали, некоторые специально навещали «Добрый Ксаверий», чтобы посидеть в кабинете хозяина на антресолях, выпить с ним по рюмке коньяку и вспомнить, каким замечательным человеком был его партнер (правда, некоторые про себя думали, что вот повезло мужику: теперь весь бизнес в его руках)... Кто-то посоветовал обратиться к экстрасенсу — то ли об этом буркнул постоянный клиент нефтяной магнат Титин, то ли близкий друг скульптор Вася Шмук позвонил из Питера и прокричал в трубку... нет, точно, это «центровая» проститутка Матильда посоветовала и даже дала телефон и адрес женщины-экстрасенса, которая за два месяца до того помогла ей найти ее угнанный BMW: «Она даже с ментами сотрудничает, многим помогает», — сказала Матильда, доставая из сумочки визитку.

Такса созвонился и пошел. На двери обычной квартиры на третьем этаже старого трехэтажного дома на Бронной была табличка: «Марифахан, потомственная шаманка». Здесь его, видимо, ждали: дверь открыла прислуга и, ничего не спрашивая, молча указала, куда пройти. Шаманка сидела за столом в небольшой комнате с плотно занавешенными окнами, таинственно освещенная колеблющимся светом трех или четырех восковых свечей. Пахло каким-то терпким благовонием. На столе, конечно, лежал толстый фолиант и на нем череп (Господи, помилуй!). Над головой на каком-то искусственном суку сидела и, время от времени поворачивая голову, косилась на посетителя живая черная ворона (или это ворон?). Все это была такая откровенная и пошлая чернуха, рассчитанная на дебилов, что Таксе захотелось... ну, скажем, по-солдатски отдать шаманке честь, щелкнуть каблуками, повернуться и уйти... Он задержался только потому, что лицо сидевшей за столом дамы показалось ему знакомым. Где-то он ее видел... У него был наметанный глаз художника и отличная память

на лица — и он, несмотря на свечной полумрак, вспомнил! Всю ситуацию вспомнил...

Это была та самая толстуха, которая в день исчезновения Евангелиди в подземном переходе во время грозы прижала его спиной к стене. Он не мог ошибиться — вот ведь и родинка у нее под правым глазом! Только теперь на ней был не сарафан, а какая-то свободная пестрая хламида, закрывающая руки и на голове некий причудливый убор с кроваво-красной диадемой и многочисленными до плеч свисающими по сторонам стеклянными висюльками, в которых играли блики свечного пламени. «Он жив, — низким голосом сказала она, как только Такса сел перед ней на стул. Она ни о чем не спрашивала посетителя и даже сделала знак рукой, когда тот хотел что-то сказать: — Ничего не говори. Иди домой. Он жив. Жди. Платить не надо, придешь и заплатишь, когда убедишься, что я права». Она говорила с сильным восточным акцентом, словно намеренно коверкая слова и делая неверные ударения, хотя Такса хорошо помнил, что «эксгибиционистом позорным» (и тогда еще что-то добавила) она назвала его без всякого акцента. И голос был не такой низкий, скорее высокий, визгливый...

Вернувшись в галерею, Такса позвонил Матильде. «Ты знаешь, подруга, я тебя люблю, — сказал он, — но с этой шаманкой... ты полная идиотка. Это, говоришь, тебе мусора ее посоветовали? Знаешь, как она работает с ними? Мусора угнали твой "бумер" и сказали ей, где его поставили: ты ей платишь, едешь, находишь машину — и она восемьдесят процентов отдает им. Ты ей, небось, тысяч пять баксов отвалила на радостях?» — «Ладно, — Матильда не обиделась, — что тебе-то она сказала?» — «Сказала, что я такой же идиот, как и ты, и что я принесу ей деньги, если Тих объявится живой. Заодно она и узнает, жив он или нет, и если жив, то где находится...» Таксу одно только несколько озадачивало: как шаманка узнала, по какому делу он к ней пришел? Может, она задействована в гэбэшные мероприятия по розыску Евангелиди? Все возможно... Впрочем, поди, та же Матильда ее предупредила...

И все-таки Такса продолжал настаивать на версии самоубийства, и даже когда уже в сентябре его официально вызвали на Лубянку и допросили (почему-то уголовное дело, открытое, как всегда в таких случаях по статье убийство, велось ФСБ: именно фээсбэшники попросили Варвару написать заявление об исчезновении мужа), он утверждал, что Тихон Евангелиди не один месяц пребывал в глубокой депрессии и вполне мог покончить с собой. Из-за жены. Варвара была тяжело больна. В последние годы она чуть ли не каждую осень попадала в психиатрическую больницу: лет семь или восемь назад во время одного из приступов она в разговоре с психиатром заявила, что Евангелиди регулярно насилует собственных детей — девочкам тогда было одной двенадцать, другой пятнадцать лет. И в последующем при каждом обострении болезни этот бред возвращался к ней и мучил ее снова и снова. И к Евангелиди во время обострений она относилась соответственно. Однажды зимой часа в два ночи она тихо ушла из дома (в мороз, в ситцевом халатике на голое тело) и через некоторое время привела с улицы каких-то случайных прохожих — чтобы уличили и наказали мерзавца-мужа, который, как она утверждала, как раз в это самое время... Ребята-прохожие — трое или четверо чуть подвыпивших студентов — воинственно ворвались в квартиру, но, найдя в одной комнате только что проснувшегося и растерянного Евангелиди, в другой — мирно спавших (впрочем, тоже сразу проснувшихся) детей и услышав от Евангелиди, что жена больна психически (старшая дочь молча кивнула, подтверждая), должно быть, пришли в ужас, понимая, к какой трагедии прикоснулись, и тихо удалились, оставив Евангелиди связывать беснующуюся Варвару (она бросалась на него, пытаясь паль-

цами попасть ему в глаза — выколоть, выколоть его бесстыжие зенки) и вызывать с помощью дочерей, набиравших по очереди постоянно занятый номер, ночную перевозку из психбольницы...

Но мало этого. Сколько-то времени назад Евангелиди, которому семейная трагедия не мешала трахаться направо и налево (поэтому и на даче жил больше, чем дома), всерьез полюбил какую-то неизвестную Таксе женщину. «Понимаешь, Такса, мне сорок семь, она на двадцать лет моложе, но у меня это впервые в жизни: я без нее жить не могу. Не могу и не хочу. Не хочу и не буду. Я так и Варваре сказал», — говорил он, плача, может, и пьяными, но все же реальными, текущими по щекам слезами где-то за месяц до исчезновения, когда они вдвоем, закрыв галерею и отпустив девушек-продавщиц, выпивали на антресолях по случаю удачной продажи одному американскому дипломату ломберного столика екатерининских времен...

Между тем Варвара, которая в межбольничные периоды (впрочем, все более и более недолгие) была человеком вполне разумным, сама-то сразу сообразила, что искали и чего не нашли при обыске люди из ФСБ. Через месяц после обыска, приехав на дачу одна (она сразу сообразила, но не сразу поехала: боялась, что за дачей установлено наблюдение), она увидела, что в его кабинете в шкафу, в котором он хранил папки с материалами по истории русского общества на рубеже XVIII и XIX веков и, в частности, с материалами к биографии таинственного монаха-прорицателя Авеля, над романом о котором особенно плотно работал в последние годы, теперь стояли старые книги, прежде за ненадобностью сосланные на чердак, но, видимо, совсем недавно спешно возвращенные — разная советская макулатура типа речей и «сочинений» Брежнева и решений съездов партии, отработавшие свое вузовские и школьные учебники, а также книги вполне приличных, когда-то читаемых и даже модных, но теперь забытых и заброшенных советских писателей вроде Константина Симонова и Юрия Трифонова. Корешок к корешку книги были аккуратно и плотно расставлены — так, чтобы создалось впечатление, что это их обычное законное место... а папок с материалами нигде не было.

Варвара сперва хотела позвонить по телефону, который оставил ей Никитин-Никифоров, — позвонить и сказать, что подонок Евангелиди исчез вместе с документами к роману: ведь спрашивал же этот белобрысый о романе как-то особенно заинтересованно, можно было подумать, что монах Авель им важнее, чем Евангелиди... Но, подумав, решила не лезть в это дело. После исчезновения, а может быть, и гибели мужа, ей оставалась купленная три года назад прекрасная четырехкомнатная квартира на Ленинском, набитая музейной мебелью, антиквариатом и картинами. (Еще недавно одну из комнат занимала тянувшая на пару миллионов долларов коллекция российских орденов, оставшаяся в наследство от Евангелиди-старшего, но год назад Тихон подарил ее всю целиком Историческому музею — и слава богу, а то рядом с такими ценностями жить страшно!) Вот есть же еще дача в Мещерском — даже не дача, а по сути дела дом в Москве, поскольку стародачный поселок Мещерское теперь административно вошел в состав Москвы. Ну и, наконец, доля в «Добром Ксаверии» со всеми его филиалами. Такса, конечно, поставит вопрос о ее, Варвариной, недееспособности (потому и несет чушь о самоубийстве, в котором, мол, она виновата) — с тем, чтобы дочери были наследницами, а уж с ними попробует договориться... Но, во-первых, она знает, как договориться с Таксой, а во-вторых, и без «Доброго Ксаверия» нажитого хватит надолго. И надо ли возникать со своей ненавистью к подонку Евангелиди, который, прожив с ней больше двадцати лет, будучи обязан ей буквально всем в жизни — и благополучием, и диссидентской писательской карьерой, — пришел однажды и сказал ей, теперь старой, боль-

ной и беспомощной, что, видите ли, полюбил другую женщину. «Ты не человек, ты — вошь, — сказала она ему и зло усмехнулась: — Представляю тебя с твоей подругой, две склещенившиеся вши...»

В начале ноября Варваре позвонил все тот же Никитин-Никифоров и сказал, что если она не возражает, он назавтра в восемь утра заедет за ней на служебной машине и они поедут во Владимир, где в морге ей надлежит опознать труп — предположительно ее исчезнувшего супруга Тихона Алексеевича Евангелиди. Она, не сразу поняв, в чем дело, продолжала держать трубку возле уха, но молчала, и он несколько раз прокричал: «Алло! Алло! Варвара Сегизмундовна! Вы меня слышите? Слышите?» Все последние месяцы она принимала большие дозы *клозапина* и, хотя и была сильно заторможена, но ничего, в порядке. «Да, я вас слышу, — сказала она. — Завтра в восемь...»

Наполовину прикрытый простынкой труп крупного мужчины (едва поместился на обитом жестью столе) был сильно обгоревший, черный, значительная часть тканей лица и тела была утрачена. (Варвара чувствовала, что близка к обмороку. Чтобы не упасть, она тяжело опиралась на руку Никитина-Никифорова и сжимала ее сколько было силы...) Конечно, наверняка ничего нельзя было сказать, но Варвара показала (так зафиксировано в протоколе), что с большой степенью вероятности это ее муж, Евангелиди Тихон Алексеевич: она, мол, узнает его по характерной форме крупных передних зубов (оскал трупа был ужасен). «Впрочем, хочу отметить, — сказала она, — что муж носил перстень на безымянном пальце левой руки, а здесь перстня нет». «Ну что вы, Варвара Сегизмундовна, — тихо сказал Никитин-Никифоров, свободной рукой делая знак служителю морга, что, мол, все, опознание закончено, — в наше время у покойников, случается, золотые коронки с зубов снимают, а вы — перстень какой-то!» Да нет, что там сомневаться, он это, он! Очень уж ей хотелось освободиться от него... Тем более что выяснилось: труп был обнаружен вместе с еще одним мужским трупом (еще более обгоревшим) на пожарище дома... прежде принадлежавшего Евангелиди в деревне Нерлянка недалеко от Суздаля...

Значит, никуда он не исчезал, — только всех морочил, а сам все последние месяцы жил себе в Нерлянке. Скотина он и есть скотина. Запил, что ли? Ну вот и допился. В этом гнилом месте у него было с кем пить — все бомжи Суздая всегда только и ждали его приезда, пять километров пешком для них не расстояние, только свистни. Варвара терпеть не могла эту пьяную, грязную деревню, где давно уже не осталось нормальных людей — одни алкаши и своры голодных бездомных собак... «Вы точно не будете настаивать на генетической экспертизе?» — спросил Никитин-Никифоров, когда они вернулись в Москву и остановились перед ее домом. «Это он, — сказала она. — я же вам все подписала». Все три часа дороги они оба промолчали, и теперь она, не прощаясь, вышла из машины и направилась к подъезду...

Труп выдали для захоронения в небольшом цинковом гробу (вдвое, что ли, сложили в целях экономии?), но не сразу, а только месяцев через шесть, уже весной... Хоронить решили на кладбище в Нерлянке — из Владимира везти недалеко и вроде как семейная традиция: в Нерлянке жили и были здесь похоронены три или четыре поколения Евангелиди (правда, похоронены одни только женщины — мужчины разбросаны по каким-то другим местам)... На кладбище никого посторонних не было, только Варвара, дочери, ну и конечно Такса. Да вот еще Никитин-Никифоров приехал и стоял несколько поодаль. Могильщиков где-то нашел и привез на своем маленьком красном Suzuki (однако, разбогател мужик!) Руська Дуремар. Он и сам копал, и руководил осторожным спуском гроба в могилу, и первым бросил горсть земли. Священника не приглашали, но

Дуремар утверждал, что была заказана и отслужена заочная панихида в храме Святого Первомученика Стефания в недалекой отсюда Кидекше, — и всех это устроило.

Наконец все было закончено, на холмик водружен простой деревянный крест (тоже привезенный Дуремаром — на крыше автомобиля), возложены привезенные с собой цветы, рабочие и Дуремар уехали, и остались одни москвичи. Уезжать как-то не хотелось. От кладбища видна была река Нерль, деревня на берегу и тот самый сгоревший дом. Варвара хорошо знала это место: когда-то всей семьей они провели здесь два или три лета подряд... И теперь, похоронив Тихона, она вдруг почувствовала, что мир вокруг как-то изменился — в ту самую минуту, когда гроб был опущен в могилу. Теперь она взглянула на прекрасные молодые и открытые лица дочерей (а обе были удивительно похожи и друг на друга, и на покойного Тихона: старшая, Зося — просто-таки его полная копия) и вдруг как никогда прежде ясно поняла, что все последние годы жила в бреду и что мучивший ее все это время бред теперь, кажется, навсегда оставил ее. «Ваш отец был замечательный человек, — сказала она, — и мы должны поставить ему здесь достойный памятник». «Мама, — спокойно сказала Зося, — но папа жив». «Ты это знаешь?» — быстро спросила Варвара. «Нет, чувствую». «Чувствуй молча», — зло сказала Варвара и на какое-то мгновение ей вдруг показалось, что болезнь возвращается, что привычная вязкая чернота вот-вот начнет медленно заполнять грудь, душу... но нет, мимо, мимо. И теперь уже точно навсегда. Она глубоко вздохнула и улыбнулась дочери: «Жив или нет, мы должны его забыть и жить без него». И тут она помахала рукой Таксе, стоявшему в стороне и о чем-то разговаривавшему с Никитиным-Никифоровым.

И Такса в ответ помахал ей рукой и улыбнулся.

3. Близнецы Мурзаевы

«Деда Аля» и «деда Валя», как оказалось, жили в том же доме на Литейном, где в последние годы, после переезда матери в Питер, жила Лелька со своим алкашом Лотаревым: должно быть, старики и нашли вариант обмена. Только Лелькина квартира была с парадного подъезда и на третьем этаже, а к близнецам надо было заходить со двора, под арку, воняющую мочой, через какой-то черный ход. И квартирка их была на первом этаже. Сначала показалось, что она даже чуть ниже уровня земли: по крайней мере, войдя в подъезд, надо было еще спуститься на две ступени вниз. Евангелиди, оказавшись после яркого солнечного дня в неожиданной темноте, оступился и чуть не упал: один из близнецов поддержал его: «Осторожней, сынок, лампочка у нас вчера перегорела». Вчера или год назад, или вообще в этой пещере никогда не было лампочки, с неудовольствием подумал Евангелиди... еще и «сынок», здрасьте! Нет, все-таки это был не черный ход, потому что, привыкнув к сумеречному свету, можно было увидеть, что здесь нет ни лестницы вверх, ни других квартир. Должно быть, в старые времена здесь размещалась какая-нибудь дворницкая. Впрочем, к старикам вела добротная железная дверь, приподнятая чуть выше пола, — к ней опять надо было подняться по двум или трем ступеням. Один из близнецов прошел вперед и ключом стал отпирать дверь, другой остался сзади. По правилам конвоирования, усмехнулся Евангелиди. Дверь запиралась на два или три больших, основательных замка. Замки были хорошо смазаны и открывались с мягкими, едва слышными щелчками...

Проводив Лельку и на пути из крематория высадив где-то эрмитажных сослуживиц, приезжавших проститься с подругой, Евангелиди с близнецами

вернулся сюда, на Литейный и отпустил похоронный автобус. Он хотел сразу попрощаться со стариками: ему надо было подняться на третий этаж, посмотреть и подумать, как распорядиться свалившейся на него собственностью. Но близнецы попросили сначала зайти к ним: «У нас для тебя пачка писем и еще кое-что». Евангелиди знал, о чем речь: Владка Коханова с дочерью эмигрировала еще в конце семидесятых. Прощаясь, договорились, что, мол, если появится потребность, она будет писать на адрес его матери (тогда московский) — он уже в те времена чувствовал себя под колпаком, и связь с заграницей была ни к чему. Потребность же писать появилась у Владки, видимо, только через несколько лет, мать к тому времени переехала в Питер, но на московской почте оставила питерский адрес, и письма пересылались сюда, на Литейный. Евангелиди тем временем загремел в лагерь, потом мать заболела, и как-то все было не до писем. Хотя он знал, что Владкины письма где-то лежат и ждут его. И даже еще прибывают...

Миновав темную «пещеру» и затворив за собой массивную железную дверь, вошли в неожиданно светлый коридор «дворницкой». «Вот наше жилище... Посмотри и проходи сюда вот, на кухню, я сейчас чаю заварю», — сказал тот, что шел впереди.... Квартирка выглядела достаточно просторной: две комнаты, метров по пятнадцать каждая, широкий коридор, большая кухня. Окна на одну сторону, и вся квартира залита золотым светом осенней листвы из скверика во дворе. Сквозь раскрытые двери видно, что мебель всюду старая, скромная, но вполне добротная. На стенах — две или три литографии под стеклом. Нигде ничто не оставлено случайно — ни газета на диване, ни книга на столе, ни тапочки на полу — всюду пусто, чисто, как будто никто не живет... Словно приходящая уборщица была недавно, может быть, сегодня утром — именно приходящая, как где-нибудь в конторе, в офисе, в гостиничном номере. Вообще вся эта суховатая, без лишних предметов, несколько казенная, но подчеркнуто аккуратная «коммунальная эстетика» показалась ему знакомой, но что именно она напомнила, он понять не успел, потому что его пригласили к столу.

В старости близнецы уже не были так похожи друг на друга: один из них даже отпустил усы, густые, совершенно белые. «В нашей поликлинике попросили, — а то не различают, где чьи анализы», — сказал Усатый, видимо, заметив любопытный взгляд и невольную усмешку Евангелиди, и потрогал поросль под носом. Надо понимать, он так шутил. Он вообще был поживее и разговорчивее брата. Второй, безусый, был, видимо, серьезно болен: он все время молчал и тихо и мелко покашливал, поднося ко рту сжатый кулак... Господи, усы или без усов, — все равно Евангелиди так и не понимал, кто из них кто по имени, кто Валя, а кто Аля — да и Бог с ними совсем...

Пока закипал чайник, Усатый сходил в глубь квартиры, принес и положил перед Евангелиди то, что понималось, наверное, как наследство от матери (не об этом ли еще Лелька когда-то говорила?): сегментик *того самого* золотого империала, что остался после дантиста, и... неожиданно толстую пачку писем. Евангелиди машинально взвесил ее на руке — тяжелая. Судьба человека. «Спасибо», — сказал он и положил письма рядом, на свободный стул. Золотой сегментик убрал в карман.

Далее следовало встать, забрать письма и уйти: куча дел предполагалась на остаток дня. Но был уже разлит чай, нарезан хлеб, колбаса, сыр. Хлопотливый Усатый поставил на стол рюмки и бутылку водки: «Помянем Ольгу Лаврентьевну, внучку нашу. Молодая ушла. Еще жить бы и жить». Он сидел напротив и было потянулся к Евангелиди через стол чокаться, но вспомнив, что на поминках не чокаются, тут же выпил. Что ж, помянуть не откажешься, — подумал Евангелиди, — будем считать, что застолье — обязательная плата за пачку Владкиных писем.

Не так уж и дорого... Впрочем, пить он не стал, едва пригубил: он приехал из Москвы на машине и, возможно, ему еще сегодня ездить по городу. «Мы ведь близкие родственники, — продолжал Усатый, закусывая колесиком колбасы без хлеба. — Когда-то, давным-давно, еще в детстве нашем, твой дед, твоя бабка, мы все жили в Туле. Тульские мещане. В Заречье, на Арсенальной. Нас, Мурзаевых, пять парней было у родителей (он показал ладонь с растопыренной пятерней), мы с Алей — младшие... А через улицу — Тихомировы жили, семья твоей будущей бабушки, там пять дочерей (тоже растопыренная пятерня)... Любимая игра в детстве — бумажных змеев запускать. На майские праздники все в Туле змеев запускали. И малые, и старые, весь город (пятерни соединились, пальцы переплелись). Весна, солнце светит, небо голубое, и десятки, сотни разноцветных змеев висят в небесах. Большие, маленькие, огромные — всякие. Хорошо! Счастливые времена. А на следующий день все это на проводах по городу, мочальные хвосты болтаются по ветру... Все хорошее кончается», — он хрипло засмеялся и развел руками...

Безусый Аля постучал вилкой по рюмке. «Давай к делу, человек торопится», — сказал он, совсем тихо. Вернее, не сказал, а прошелестел: речь его была едва различима, голос слабый и сиплый. У старика прогрессирует рак горла, подумал Евангедиди, и я знаю, что он умрет этой зимой, 12 января. Господи, зачем мне это знать... Усатый налил всем еще по рюмке. «Не знаю, как начать, — словно оправдываясь, он посмотрел на брата. И наконец решился. — Ладно... Ты знаешь, мы с Алей старые чекисты. Ветераны. По двадцать пять лет выслуги, а с зачетами вообще по сорок будет. Когда-то самого фельдмаршала Паулюса стерегли в Суздале... Близнецам вместе служить не дают, но сам Лаврентий Павлович Берия приказал нас не разлучать, очень мы ему понравились... Уволились майорами. Мы и в отставке всегда помогали и помогаем своим. Учим, передаем опыт. Молодые иногда говорят: Мурзаевы — «цепные псы России», — хорошо, мы этим гордимся. Всю свою жизнь мы посвятили матери-России. (Господи, ничего себе попал, подумал Евангелиди. Надо было с самого начала взять письма и уйти. Теперь сиди и слушай.) Ладно. В общем, я хочу сказать тебе, сынок: мы с Алей очень рады, что ты с нами. Рады, что некоторые перегибы прошлого не озлобили тебя. Ты — с нами... и мы хотим быть с тобой, хотим поддержать тебя». Он замолчал и посмотрел на брата. Тот, видимо, решил перехватить инициативу и дальше уже зашелестел сам. Он сидел рядом с Евангелиди и, едва начав говорить, двумя руками схватил его за руку. Евангелиди мягко попытался высвободиться, но старик держал цепко. И говорил, говорил прямо в лицо. Прислушиваться было бесполезно, старик сильно волновался, и в его свистящем шелесте можно было разобрать лишь отдельные слова. Опять что-то о России, о жидах, пару раз мелькнуло имя «великого Сталина». Ой, да и какая разница, что он там пытается изобразить своим свистящим шелестом: Евангелиди решил, что, как только старик замолчит и отпустит его руку, он встанет, извинится и попрощается. Он даже перестал вырываться и, чуть склонив голову, сделал вид, что погруженно слушает... и стал думать о своем.

«Перегибы прошлого» — это, надо понимать, приговор на семь лет лагерей и пять лет ссылки. Всего только за книгу о судьбах суздальских церквей, разрушенных большевиками — книга ходила в «самиздате» и была прочитана по «голосам». Плюс 88 статья, «валютные операции», — и конфискованная коллекция орденов Российской империи, оставшаяся после отца. Между прочим, одна из лучших в стране... Нет, «перегибы» не озлобили, потому что, как поется в блатной песенке, «недолго срок мотал парнишка»: через два года «перестройка», «гласность», и всю «70-ю статью» освободили. А ему тут же и

88-ю простили. А теперь даже и коллекцию вернули... Да и вообще, он не озлобился, потому что от роду незлобивый. Ну, а насчет того, что, мол, «ты с нами», он, конечно, сразу понял, о чем речь. Вот ведь и следователь в Лефортове на одном из первых допросов, нарочно долго просматривая дело (излюбленный прием: арестованный полчаса или больше сидит перед молчащим следователем, «созревает»), вдруг с напускным удивлением (ах, что нашел!) вытащил из папки листок и издалека показал: «А ведь вы, Тихон Алексеевич, оказывается, раньше с нами были». «Раньше все были с вами, — сказал Евангелиди. — И Колыма, и кладбище Бутугычага». Следователь засмеялся: «Да нет, не все», — он сказал это с очевидным удовлетворением, показывая, что бережно укладывает бумагу обратно в папку, — он убедился, что попал в точку, в больное пятнышко души сидящего перед ним антисоветчика...

Колыма и кладбище тут, конечно, были ни при чем. Колыму Евангелиди вспомнил от неожиданности, от растерянности, от неготовности ответить что-нибудь по существу. Он, конечно, сразу понял, что это за бумага. Издалека угадал. Это был его позор, тайное мучение его совести: написанное им и подписанное (между прочим, кровью подписанное) обязательство сотрудничать с Комитетом государственной безопасности в деле выявления и обезвреживания врагов советского государства. Ему напомнили, что он давно завербован!

Десять лет назад, когда по окончании своего Иняза он получил распределение в Интурист и начал работать гидом с иностранцами, он обязан был после каждой туристической группы писать регулярные отчеты «о проделанной работе». Но однажды его вызвали в Первый отдел, и там вместе с обычным, своим, домашним гэбэшником, всегда собиравшим те самые отчеты, сидел чужой, впрочем, располагающе-интеллигентного вида человек в модных чуть притемненных очках. «Свой» представил гостя по имени-отчеству и сразу вышел. «Чужого» звали Павел Дмитриевич или Дмитрий Павлович — Евангелиди точно не запомнил и впоследствии по имени-отчеству никогда к нему не обращался. Вообще никогда и никак не обращался. Про себя он прозвал его *Интеллигент* — так всегда про него и думал. В ту первую встречу *Интеллигент* (довольно молодой, предельно вежливый, мягкий, предупредительный человек, рыжий, коротко стриженный, в хорошо сидевшем на нем темно-сером костюме, — накрахмаленная голубая рубашка, галстук в синюю и зеленую полоску) провел с молодым специалистом беседу (правильная речь, хороший московский говор), из которой следовало, что такие молодые, энергичные, умные, образованные люди, как он, Тихон Алексеевич Евангелиди, очень нужны Родине в качестве добровольных помощников в деле распознания, а может, и обезвреживания врагов нашего социалистического государства: все-таки с иностранцами работаем... Слушая, Тихон с тоской подумал, что, если послать этого мужика подальше и отказаться, из Интуриста точно выпрут. А он так надеялся закрепиться здесь, со временем перейти в отдел сов. туризма, возить группы за границу... И он сразу сказал *Интеллигенту* «да». Только тут же стал оговаривать условие: наши, советские люди не будут объектом его внимания — одни лишь иностранцы. Он не стукач какой-нибудь. Добровольный помощник контрразведки — пожалуйста. *Интеллигент* несколько снисходительно улыбался и с пониманием кивал. Нет, никаких бумаг Евангелиди в тот раз не подписывал. *Интеллигент* лишь попросил запомнить адрес («адрес моей квартиры»), объяснил, как найти, и сказал, что ждет его завтра вечером, в семь.

Конспиративная квартира оказалась в самом центре, в Хлыновском тупике, в десяти минутах ходьбы от гостиницы «Интурист». (Вот! Вот что теперь напомнила ему квартирка близнецов Али и Вали: ту гэбэшную конспиративную квартиру. Там было так же чисто и пусто, тоже две или три комнаты, тоже чистая и

пустая кухня, такая же сборная казенная мебель, такие же беленькие салфеточки и занавесочки — корпоративная эстетика «органов», воспринятая близнецами за четверть века службы?) Там Евангелиди под диктовку *Интеллигента* и написал постыдную бумагу — почему-то фиолетовыми чернилами, школьным пером № 86, какие давно вышли из употребления и какого он, родившийся в 1950 году и пошедший в первый класс во второй половине пятидесятых, никогда прежде не видел — острое перо с расщепом, писать надо не торопясь, с аккуратным нажимом, время от времени обмакивая в чернильницу — такой металлический аналог гусиного пера. Вся процедура была поставлена как довольно пошлый спектакль, цель которого — подчеркнуть неординарность события, дать понять, что совершается высокое таинство, освященный ритуал, многослойный смысл которого не дано постигнуть до конца даже самим участникам... На огромном письменном столе черного дерева (видимо, единственная старинная мебель в квартире) стоял старинный же письменный прибор на малахитовой подставке с бронзовыми ножками в форме орлиных лап с когтями. В ней — две большие чернильницы с массивными бронзовыми крышками — головы грифонов. Посреди стола лежали чистый лист бумаги и две деревянные ручки-«вставочки» с теми самыми новенькими 86-ми перьями. Одной из ручек и была написана бумага. Причем три или четыре раза Евангелиди ошибался, делал помарки, и тогда *Интеллигент* — он стоял рядом и диктовал — мягким движением забирал из-под руки Евангелиди испорченный листок, сверху держа за уголок, снизу поджигал его зажигалкой и опускал догорать в большую малахитовую пепельницу, стоявшую у дальнего края стола. И лишь когда этот маленький пожар догорал, он, словно из воздуха, доставал откуда-то и клал перед Евангелиди новый чистый лист. И диктовал сначала... Когда же текст наконец был написан без помарок и пришло время подписывать, *Интеллигент*, дотронувшись до плеча Евангелиди, остановил его. «У вас есть прозвище?» — спросил он. «Прозвище?» — не понял Евангелиди. «Ну да, друзья вас как-нибудь называют? В школе вас как дразнили?» — «Одноклассники называли меня Ева». Действительно, это пошло еще с первого класса, когда его фамилия оказалась трудна для чуть заикавшейся молодой учительницы и она произносила ее в два приема: Ева-н-н-гелиди. «Прекрасно! — сказал *Интеллигент*. — Это и будет ваш конспиративный псевдоним. Так и подпишитесь: Ева». И тут он вытянул из лацкана пиджака и положил на исписанный лист бумаги... обыкновенную иголку. «Что это?» — спросил Евангелиди. «Дело серьезное, очень серьезное. Слово следует закрепить кровью. Так принято. Вот иголка, дезинфицируем на огне зажигалки... Сами сможете пальчик уколоть? И вот вторая ручка, с чистым пером — ею подпишете: Ева. Имя короткое, одной капли крови хватит».

Впоследствии Евангелиди так никогда и не узнал, все ли, кого в те времена вербовали гэбэшники, проходили через эту пошлую, дурацкую процедуру или то была самодеятельная инициатива романтически настроенного *Интеллегента* и направлена она была персонально на одного только Евангелиди. Так или иначе, подписав бумагу, он потом всего два или три раза посетил конспиративную квартиру в Хлыновском тупике — под наблюдением *Интеллигента* простодушно писал те же отчеты о работе с иностранцами, какие сдавал и в Первый отдел. А что еще они ждали от него? Квартира была на четвертом этаже, причем заходил-то он с Хлыновского (его встречал внимательный взгляд в глазок), а выпускал его *Интеллигент* всегда через другую дверь (снова осторожный взгляд в глазок, прежде чем открыть дверь), и он оказывался не на той лестнице, по которой заходил, но вообще даже в другом, смежном доме и, спустившись вниз, выходил прямо на улицу Герцена рядом с дверью букинистического магазина — и тут же мог смешаться с толпой прохожих... Впрочем, в первый раз,

когда был подписан этот... договор? обязательство? как назвать?.. *Интеллигент* выпустил его не сразу. Уже посмотрев в глазок и повернув вертушку замка, он чуть помедлил. «А знаете, — сказал он с какой-то особо доверительной, товарищеской интонацией, — я ведь тоже выпускник Московского СВУ. — Он так и сказал: не "суворовского училища", а именно аббревиатурой — СВУ. — Я хоть и был на два года старше, но вас помню, — продолжал он, все держась за вертушку замка, но не открывая дверь. — Вы в волейбол играли за училище в команде "мальчиков", а я — уже в команде "юношей". Ребредев фамилия... у меня было прозвище Лысый... А вы стихи писали в стенную газету... — Евангелиди молча пожал плечами: мол, помнишь и помни. Ему не хотелось беседовать, особенно в дверях, и он не слишком вежливо сделал жест рукой в сторону вертушки замка. — До свиданья», — доброжелательно, можно даже произнес, певуче сказал *Интеллигент* и открыл дверь. При последующих встречах ни тема СВУ, ни дружеская интонация больше не возникали — все было сухо и официально.

(Уже в новые времена, когда у Евангелиди на Старом Арбате был свой антикварный магазин или, как теперь это называется — галерея, кто-то принес на продажу тот самый малахитовый письменный прибор с грифонами из конспиративной квартиры: видимо, в 91-м, когда на несколько дней власть КГБ в стране была поколеблена и наивно казалось, что вот-вот рухнет совсем, некий рисковый ловкач воспользовался моментом и грабанул квартирку в Хлыновском — вряд ли она специально охранялась в то время. Может, даже кто-то из бывших визитеров или из бывших сотрудников... Евангелиди не было в магазине, когда принесли прибор — принимал Такса, сказал, что сдавала пожилая дама. Евангелиди был уверен, что прибор тот самый: он запомнил совсем небольшой скол на уголке малахитовой подставки. Однако теперь в магазине, кроме подставки, чернильниц, пепельницы и еще каких-то малахитовых коробочек и стаканчиков, к прибору относилась бронзовая фигурка Мефистофеля, сидящего на массивном малахитовом кубике, — впрочем, кубик тоже с небольшим сколом, словно им кололи орехи. В той квартире на столе, конечно, никакого Мефистофеля не было, — видимо, гэбэшники стыдливо прятали фигурку покровителя, — а зря, для завершения ритуала он был бы очень даже уместен. Подумав так, Евангелиди невольно усмехнулся. «Что смешного? — спросил Такса, забирая у него из рук фигурку. — Отличная вещь, но я взял пока на комиссию. Видишь, скол малахита?» — «Мне вещь нравится. Пожалуйста, купи и отправь ко мне в Мещерское», — сказал Евангелиди.)

Он начал было думать о скандальном завершении так и не состоявшегося сотрудничества с КГБ, об изгнании из Интуриста после того, как в Новгороде его застукали в постели неоднократно приезжавшей (и каждый раз спавшей с ним — может, за тем и приезжала, а вовсе не иконопись изучать?) юной дочери английского газетного магната: девочка забыла закрыть дверь на ключ, и ночью чуть ли не целый милицейский наряд во главе со стукачкой-горничной ввалился в номер... но, словно очнувшись, он вдруг увидел и осознал, что сидит на кухне у близнецов Мурзаевых. И близнецы оба молчат и уже некоторое время внимательно смотрят на него. И теперь не Аля-безусый держит его за руку, а он держит Алину руку за запястье. Сколько они так сидят? Вряд ли долго. Разве что несколько секунд... В последние годы с ним иногда случались такие десяти-пятнадцатисекундные провалы, «погружения», когда он мысленно уходил в какую-то иную реальность: это могло быть его собственное прошлое, как вот сейчас, или доселе неизвестный ему эпизод чужой жизни, например, жизни человека, с которым он в данный момент беседовал. Причем эпизод мог не иметь никакого отношения к самой беседе, и в этом случае он вдруг до мельчайших подробностей видел (или просто воображал?) то, свидетелем чего никогда не был и быть

не мог. Не мог и, главное, не хотел... Пожалуй, слово «видел» здесь неуместно. Это не были зримые картины. Это было неизвестно как возникавшее *знание*, выразить которое он мог в словах — и в этом смысле описывать или даже «живописать».

Вот и теперь, глядя на уставившихся на него близнецов, он с тоской и болью в груди — такой болью, что не продохнуть, — понял, что, держа Алю за запястье, сам того не желая, глубоко вошел в их жизнь. Он закрыл глаза и так просидел еще секунд десять. Теперь он *знал*, что здесь, в самом центре Петербурга, в этой «дворницкой» с отдельным входом, кроме братьев Али и Вали в течение многих лет жил еще кто-то. Женщина. Домработница? Чья-то жена? Жена обоих? Действительно, женщина, которая жила здесь, любила обоих братьев и, видимо, жила с ними как с одним мужем, никогда, впрочем, ни с одним из них не появляясь на людях. И они любили ее, и, может быть, ни у одного из них никогда не было никакой другой женщины... Она прожила в этих стенах не один десяток лет. Годами жила одна, ждала своих близнецов. Спала на диване. Работала нянечкой, сиделкой в какой-то больнице. В войну пережила блокаду... Одна из тех пяти тульских девушек Тихомировых, что жили на Арсенальной напротив Мурзаевых и любовались змеями в небесах? Сестра моей бабушки?.. Женщина умерла два года назад от сердечного приступа — двух шагов не дошла до дому, упала, открывая дверь ключом в той темной прихожей, где две ступени вниз и две ступени вверх и где всегда перегорает лампочка... Близнецы тяжело пережили ее смерть. Тогда Валя и перестал брить усы: ему уже не обязательно было быть точной копией брата. Вот-вот. Их не двое было — их всегда было трое. Они так и понимали себя, что их в жизни трое. И теперь, оставшись вдвоем, близнецы чувствуют себя сиротами. Они ищут опоры в своих ветеранских организациях, где от них, двух занудных надоедливых стариков, как от мух, отмахиваются те, что помоложе. Теперь вот каким-то своим интересом они зацепились за него, Тихона Евангелиди, последнего родственника, сына умершей племянницы. Может быть, мать была знакома с их подругой? Ну конечно, она же бывала здесь. Женщина была ее родной теткой? Они дружили? Поддерживали друг друга? Хотя бы общением поддерживали, скрашивали старческое одиночество?.. Аля скоро умрет. И как хорошо, что Валя не надолго переживет брата. Через неделю после Алиной смерти его насмерть собьет машина здесь, на Литейном, прямо напротив дома: оставшись один, он совершенно потеряется в этой жизни, даже пространственную ориентировку потеряет и, выйдя из дома, пойдет через улицу наугад, не глядя...

Евангелиди открыл глаза. «Ты не заболел?» — спросил его Усатый. Аля-безусый молча поднялся и ушел в комнаты. «Кажется, да, я заболеваю, — сказал Евангелиди. — Наверное просто устал: восемьсот километров за рулем, дорога кошмарная, спал плохо, похороны. Мне надо идти». Но встать он не мог, ноги были ватные. «Погружения» оставляли его совершенно пустым и обессиленным, особенно такие глубокие, подробные... «Подожди немного, — сказал Усатый, — мы должны что-то рассказать тебе. Что-то очень важное и ценное. Для поддержки нашего великого дела». «Какого дела?» — машинально спросил Евангелиди, хотя никаких разговоров вести не мог. Он взял пустую чайную чашку и налил себе водки. Выпил, не закусывая. Сто граммов водки могли быть полезны в таком состоянии. Ясно было, что сегодня он никуда уже не поедет... В этот момент вернулся Аля. В руках у него была газета. «Вот, посмотри, это ты написал?» — Усатый взял газету у брата, сдвинул посуду к краю стола и бережно разложил газету перед Евангелиди. Чтобы что-то видеть перед собой и тем более что-то прочитать, надо было окончательно прийти в себя, и Евангелиди потянулся за чашкой, еще плеснул водки и снова сделал хороший глоток. Газетенка была из

тех кошмарных черносотенных листков, что дюжинами возникали в то время: «Русский светоч», «Царская стража»... да каких только названий у них не было! Они выдавали в свет три-пять выпусков — и закрывались, навсегда исчезали, не оставляя никакой памяти о себе. Весь внутренний разворот газетенки, лежавшей перед Евангелиди, был занят большой статьей, через обе полосы крупно озаглавленной «Небесные предначертания русской судьбы». И еще подзаголовок помельче: «Монах Авель предсказал тысячелетнее царство сталинизма». Евангелиди посмотрел в середину текста наугад: «Плоть его и дух его обновятся, и душа его изобразится яко Ангел и яко Архангел. И воцарится на тысячу годов когда от Адама будет семь тысяч и четыреста девяносто годов». (То есть в 2012 году, посчитал про себя Евангелиди.) В другом месте, опять-таки наугад: «Он обозначил границы Русской империи по линиям едва видимых с земли созвездий, удаленных от нас на десятки тысяч световых лет». И еще: «Небесные предначертания русской судьбы были в те дни, когда еще не было ни Рюриковичей, ни славян, ни скифов, когда еще не успела начаться человеческая история». Господи, что за бред! Евангелиди хотел за-крыть газету, брезгливо отодвинуть ее от себя, но прежде машинально поискал глазами фамилию автора. Статья была подписана «Т. Евангелиди». Гнусно, конечно, но в общем-то ничего удивительного. Такие газетенки частенько практиковали провокации: подписывали свой бред именами более-менее известных авторов, так или иначе причастных к теме. И было ясно, почему здесь оказалось его имя. В середине семидесятых он работал какое-то время экскурсоводом в Суздале и тогда начал собирать материал о монахе Авеле, и тогда же сделал сообщение на научной конференции в тамошнем музее-заповеднике о годах заключения и смерти монаха в суздальском Спасо-Евфимьеве монастыре. Теперь газетенка, состряпав некий компилят, использовала его имя как имя «специалиста по вещему Авелю». Объяснять все это старикам не было сил. Да пожалуй, и смысла не было их разочаровывать. Какая разница, что и как они будут думать о нем? Но и просто убежать, утром уехать в Москву, как он хотел прежде, оставить их одних — теперь он уже не мог так поступить. Как-то они стали близки ему. Он жалел их... Надо позвонить Варваре и сказать, что он на пару дней задержится: она всегда волнуется, когда он далеко едет на машине. У нее до сих пор бзик, что он под колпаком и ему могут устроить аварию... впрочем, может, она и права.

«Деды, дорогие, — сказал он, складывая газету и поднимаясь, — извините, ничего больше не могу сегодня. Язык не ворочается. Я должен немедленно уснуть и просплю до завтрашнего утра. Завтра ровно в девять я буду у вас. Обещаю...»

Парадная дверь с Литейного была высокая и массивная. Дом четырехэтажный, и лифта не было. Лестничные марши — широкие, светлые. Под ступенями кое-где еще сохранились латунные петли для стержней, некогда державших ковер. Окна на площадках большие, в них еще сохранились витражные рамы, и хотя все стекла были самые обыкновенные, да еще и покрытые слоем пыли, нетрудно вообразить, как все заиграет, если вставить разноцветные стекла, какие были здесь в прежние, стародавние времена. Что говорить, дорогую квартирку он получил... в результате всех смертей — отца, матери, Лотарева, теперь — Лельки. И ведь о последних трех он *знал*, кто из них когда умрет. Ну и что? Что он мог для них сделать, чем помочь? Зачем ему это *знание*? Что оно ему дает, кроме тяжелой головной боли, боли в груди и чувства опустошенности?

Впервые что-то подобное случилось с ним при аресте, когда прямо на улице двое схватили его под руки, запихнули на заднее сиденье «Волги» и привезли в Лефортово. Он не ждал, что его возьмут: и статьи, и книгу о разрушенных большевиками суздальских церквях он подписывал псевдонимом «Дьякон Ти-

хон» (пусть ищут среди церковного клира). И потом был уверен, что, если на него в чем-нибудь падет подозрение, его сначала вызовут, допросят — и уж тогда он и вовсе затаится, спрячется. И вдруг... прямо на улице, по пути от метро к библиотеке, грубо, с применением физической силы... Это было страшное потрясение, он был близок к тому, чтобы потерять сознание, сердце билось где-то возле горла. По дороге, сидя между двух здоровенных гэбэшников, он возбужденно вертелся, пытался понять, где они едут, куда его везут, заговаривал с конвоирами, лопотал что-то о жене и детях — и так до тех пор, пока один из конвоиров, с силой ткнув его локтем в бок, не сказал презрительно: «Сиди спокойно. Все кончилось»... Но он все-таки не сразу понял, что это значит.

В тюрьме его завели в довольно просторную, но полутемную комнату и оставили одного. Стены в помещении были темно-красные. Здесь совсем не было окон, и тусклый свет исходил только от зарешеченной лампочки высоко под потолком. Углы тонули в красной темноте, где-то наверху в темном углу совсем по-человечьи ритмично стонал плохо смазанный вентилятор. Прошло пять, десять минут... Начался приступ мигрени, голова просто раскалывалась. Он чувствовал, что задыхается, и понял, что не выйдет отсюда никогда. И вдруг — ослепительный белый свет вспыхнул в его мозгу, и открылось широкое-широкое пространство. Каким-то образом темно-красные стены камеры и светлое, необъятно широкое пространство некоторое время существовали одновременно. Но потом не стало ни того, ни другого. И его самого не стало. Он перестал ощущать себя. И понял, что уже нет никакого страха, никакого болезненного возбуждения, никакой боли. Все, полный покой. «Все кончилось», — теперь это прозвучало не извне, а в его сознании. Не угрозой, но последним, радостным, счастливым утешением. Не прошлая жизнь кончилась, а вообще все. Он понял, что умер, но сознание каким-то образом живо и будет жить дальше. И тогда он сказал вслух, в полной уверенности, что он тут не один, что его слышат: «Господи, да свершится все по воле твоей — и приму с благодарностью». Это была его любимая молитва: он прочитал где-то, у Льва Толстого что ли, о человеке, который ни с чем иным никогда не обращался к Богу, и ему это очень понравилось. Теперь он произнес эти слова и понял, что стоит голый перед Господом, которого не видит, но знает, что он где-то в том пыльном углу под потолком, где тихо стонет вентилятор. Мысли шли спокойной чередой: «То, что покойника одевают в гроб — глупость. Дубовый гроб с кистями. Костюм, галстук. Вот я стою голый перед Господом — труп. Гражданский труп или какой там еще. Все кончилось. Началось что-то иное, и это иное началось с того, что, глядя на немолодую медсестру в несвежем белом халате, которая велела мне раздеться догола и залезала пальцем в задницу, я отметил про себя, что *знаю*: через три дня у этой женщины, которой остался год до пенсии, случится инсульт. И еще через неделю она умрет»... Это непонятно откуда явившееся знание было мучительно и сопровождалось сильной болью в груди. Оно было мучительно еще потому, что Евангелиди не испытывал к этой пожилой женщине никакой неприязни. Напротив, теплую симпатию и вдруг нахлынувшую острую жалость. Словно она его ребенок. Ему даже захотелось как-то предостеречь ее, сказать ей о своем знании... но он подумал, что это ничего не изменит: она решит, что зэк говорит так от ненависти к ней, ментовке. Но даже если она поверит, что изменится? Инсульт и последствия все равно состоятся. Понятно, что он никогда больше не видел ее, но через десять дней в камере проснулся и понял, что вот именно сейчас пожилая медсестра умерла. И что смерть ее как будто бы на его совести — не помог...

Подниматься на третий этаж без лифта после стакана водки ему было трудно. Водку пить он не умел и не хотел — если и позволял себе, то только

хороший коньяк в небольших количествах. Водку его организм не принимал. Вот и в этот раз он чувствовал себя плохо и, едва войдя в квартиру и закрыв за собой дверь, понял, что спастись можно только горячим душем. Так он и поступил: в спальной в большом комоде нашел чистое полотенце, чистый и аккуратно сложенный мужской махровый халат (у Лельки в доме всегда был порядок) и отправился в ванную. После душа он на кухне выпил чаю с лимоном и лег в постель. Он хотел позвонить жене, телефон был рядом, на тумбочке... но понял, что уже спит, и просыпаться не стал.

4. Капиталы вещего Авеля

Доклад экскурсовода Т. Евангелиди
на научной конференции Владимиро-Суздальского музея-заповедника
29 ноября 1975 года

В «таинственном» монахе Авеле, к которому в последнее время прочно приклеилось прозвание Вещий, на самом деле не было ничего таинственного. Это был крестьянин Алексинского уезда Тульской губернии, родившийся в 1758 году, плотник, ходивший на отхожий промысел (аж в Херсоне, бывало, работал на верфях, за тысячу верст от дома), человек семейный, отец троих сыновей. Двадцати семи лет от роду он вдруг, никому не сказавшись, совсем ушел из дома — но не работать, а с тем, чтобы принять монашеский постриг. Что и произошло в монастыре на Валааме... В монашестве Авель месяцами и даже годами живал один в пустыни, в лесах, где ему являлись различные видения, — с чего он и начал пророчествовать...

В наказание за дурные пророчества побывал отец Авель и в Петропавловской крепости, и в Шлиссельбургской, и на Соловках. «Закрывали» его всегда по Высочайшему повелению различных императорских величеств — и Екатерины Великой (за то, что предсказал дату ее смерти — а его никто не просил об этом), и Павла I (ему и его потомкам вообще напредсказывал гадостей на столетие вперед, вплоть до расстрела в Ипатьевском доме), и Александра I (предсказал нашествие Наполеона и сожжение Москвы). С 23 августа 1826 года Авель содержался в заключении «для смирения под строгим надзором» в суздальском Спасо-Евфимьеве мужском монастыре. Сюда его определил уже Николай I (прямо накануне своей коронации 26 августа 1826 года — словно затем, чтобы предсказатель не мешал царствовать спокойно), и это место оказалось последним пристанищем беспокойного монаха.

Как написано на обложке архивного дела, монах Авель «волею божьею помер 1831-го года ноября 29 дни и погребен в означенном монастыре за Никольской церковью против алтаря». Умирал тяжело. Еще в ночь с 20-го на 21-е его разбил паралич, и он лишился речи, слуха и зрения. В эти дни при умирающем постоянно находился кто-нибудь из монастырской братии, а также бывший гороховский уездный казно-лекарь Алексей Навруцкий, исключенный из службы и тоже пять лет проведший в здешней монастырской тюрьме «за нетрезвую жизнь и буйственные поступки»... Настоятель монастыря архимандрит Парфений, сообщая во Владимир Преосвященному о смерти монаха Авеля, в черновике сперва написал «почил», но, подумав, зачеркнул и вывел «помер» — все-таки не о праведнике речь. Впрочем, в «доношении» сообщается, что умирающий был, как положено, «исповедан, удостоен причащения Святых Христовых Тайн и освящен Елеем»...

О том, как жилось отцу Авелю в заключении, никаких его собственных свидетельств не осталось. Считавший своим от Бога данным предназначением «писать, и слагать, и книги сочинять» и действительно написавший за свою жизнь несколько книг «мудрых и премудрых... зело страшных и престрашных», составивший подробное автобиографическое «Житие и страдание отца и монаха Авеля», до последнего ареста много странствовавший, живший в течение нескольких лет в обеих столицах и ведший активную светскую переписку, здесь в Спасо-Евфимьеве монастыре за пять лет, похоже, не написал ни строки. Однако кое-какие сведения о его жизни мы можем почерпнуть из сохранившихся архивных документов. Просмотрев, например, «Реестр вещей, оставшихся после монаха Авеля... учиненный декабря 4-го дни 1831-го года», мы все-таки можем высказать некоторые суждения о жизни заключенного.

Итак, от арестанта остались:

«1. Образ нерукотворный Христа-Спасителя.

2. Часы серебряные карманные.

3. Ряса суконная мало поношенная, подложенная коленкором коричневым, полы и рукава подложены гарнитуром.

4. Подрясник суконный на вате, подложен ситцем клетчатым.

5. Тулуп (*нрзб.*) покрыт сукном черным.

6. Самовар зеленой меди подержанный.

7. Чайник красной меди.

8. Камилавка с клобуком креповым довольно поношенная.

9. Чайник и две чашки фарфоровые поврежденные».

Никаких письменных принадлежностей, никаких бумаг, никаких записок после Авеля, судя по реестру, не осталось.

Что же можно сказать, проглядев этот список? Во-первых, что заключенный монах Авель был хорошо одет, видимо, лучше, чем иные из рядовой братии монастыря, — от холода, надо полагать, не страдал и зимой. Был монах бережлив и аккуратен: суконная ряса и за пять лет заключения осталась «мало поношенная». Серебряные карманные часы — тоже некоторый знак жизни небедной, основательной, несуетной, время от времени с часами сверяемой. Самовар, медный чайник, фарфоровая посуда, хоть и поврежденная, — косвенное свидетельство того, что режим в монастырской тюрьме — по крайней мере, для него, отца Авеля, — был не слишком строгим и допускал неспешные чаепития, возможно, с кем-то из братии или из таких же, как он, арестантов — чашки-то две. Кроме того наличие самовара и чайной посуды есть косвенное свидетельство в пользу того, что заключенный содержался в отдельном помещении (камере, келье) и другие арестанты (всего в 20-е годы числом 25–30, а среди них были и буйно помешанные) не сильно ему досаждали... Об основательности характера говорит также и то, какую из всего многообразия православных икон монах Авель предпочел иметь при себе: христианская традиция рассматривает Нерукотворный образ Христа как первую из всех икон, как одно из важных доказательств истинности воплощения второго лица Троицы в человеческом образе, а в более узком смысле — как важнейшее свидетельство в пользу иконопочитания...

Вообще монах Авель был хоть и арестант, но в монастыре человек уважаемый. Его и хоронили как человека уважаемого и вполне благочестивого. (Недаром все-таки, словно невольная описка, рукой настоятеля было сперва начертано: «почил».) Иных умерших в заключении вывозили за монастырские стены и без особых церемоний закапывали на различных местных кладбищах. Известного ересиарха, основателя скопческой секты в России, 114-летнего Кондратия Селиванова (кстати, тоже любил пророчествовать), вскоре умершего здесь вслед за Авелем, в феврале 1832 года, после 12 лет самого строгого содержа-

ния («за особым караулом») вообще тайно вывезли ночью и закопали неизвестно где. Не то с Авелем: его похоронили фактически «в церковной ограде» (напротив алтаря Никольской церкви), как положено хоронить священника или мирянина, прожившего достойную жизнь. Мало того, его похороны стали заметным событием всей монастырской жизни. Сохранился даже своеобразный финансовый отчет об этом событии, где сказано, сколько и на какие цели «употреблено»:

1. За рытье могилы и выкладку оной кирпичом служителям...19 руб. 50 коп.
2. За чтение Псалтири монахам и послушникам..... 15 руб.
3. За гроб.....15 руб.
4. За холст и коленкор на обивку гроба и за работу портному.....9 руб.
5. Братии на стол.....10 руб.
6. Арестантам на стол.....10 руб.
7. За кирпич (*нрзб*) для могилы.....8 руб.
8. Нищим разумно.....10 руб.
9. На свечи и ладан..... 10 руб.

Итого .....106 руб. 50 коп.

Чтобы правильно оценить сумму, затраченную на похороны, следует принять во внимание, что, например, содержание одного арестанта в год обходилось казне в 181 рубль (по крайней мере, столько архимандрит Парфений ежегодно запрашивает у своего начальства). «Братии на стол... арестантам на стол... нищим...» — по 10 рублей. Что такое 10 рублей? В те поры цены были таковы, что на 10 рублей можно было купить 2 пуда говядины или 1 пуд постного масла, или 10 аршин простого сукна, или 2 ведра водки (ок. 25 литров). Или вот еще: оброк, который жившие вокруг Суздаля «государственные крестьяне» должны были платить в те времена, составлял от 7 до 10 рублей на душу в год. Щедрая оплата всех, кто участвовал в похоронах монаха Авеля и последующий «пир горой» для братии, арестантов и нищих стали возможны только потому, что тратились деньги... самого покойного.

Однако, как только мы упоминаем о деньгах монаха Авеля, так сразу возникает несколько вопросов, увлекающих нас в сюжет некоей ненаписанной русской (типично русской!) детективной повести начала XIX века. Оказывается, что через неделю после смерти арестанта Авеля, 5 декабря 1831 года, настоятель Спасо-Евфимьева монастыря «архимандрит и кавалер» Парфений пишет своему епархиальному начальству в губернский город Владимир «покорнейшее доношение», в котором сообщает (здесь и далее в документах сохраняем орфографию подлинника):

«Содержавшийся во вверенном мне Спасо-Евфимьеве монастыре монах Авель минувшего ноября от 23-го на 25-е числа в совершенной памяти и здравом рассудке представил мне две бумаги, из коих первой просит он, монах Авель, Императорского воспитательного дома опекунский совет сохранной казны оного, находящийся в оном собственно им благоприобретенный капитал, состоящий в пяти тысячах рублей почитать от означенного 23-го ноября сего 1831 года собственностью и принадлежностью Владимирской епархии суздальского второклассного Спасо-Евфимьева монастыря. С тем, чтобы с этого капитала указные проценты доставляемы были ежегодно в пользу настоятеля и братии означенного монастыря на поминовение. Причем представлен также на означенную сумму и билет за № 23.895, который при прошении его через суздальскую почтовую контору минувшего ноября 25-го дня и отправлен.

Вторым просил из хранившихся у меня собственных его тысячи шестисот семидесяти двух рублей обратить в пользу мою тысячу рублей. Прочую же сумму лицам, служившим ему во время болезни, вещи же оставшиеся просит употребить по усмотрению моему.

Предоставляю на благорассмотрение Вашего Преосвященства указанные бумаги».

Тут, конечно, сразу возникает вопрос, откуда такие деньги у вечно гонимого монаха, проведшего еще и до Суздаля «в трех крепостях и шести тюрьмах... двадцать один год»? Не пророчества же его так щедро оплачивались — да и кем? Однако подумаем над этим вопросом несколько позже. Пока же обратим внимание на «завещание» покойного...

Сама по себе ситуация достаточно ординарная: были времена, когда монастырям «на поминовение» не то что деньги, но и целые поместья, огромные территории вотчинных земель завещались. Дело, однако, в том, что монах Авель никакого такого завещания не писал: по крайней мере, не требуется специальной графологической экспертизы, чтобы увидеть, что соответствующие бумаги и написаны, и подписаны не его рукой. Хоть и было сказано, что в монастыре Авель не написал ни строки, но это все-таки некоторое преувеличение: в архивном деле имеется его прошение об употреблении в качестве пожертвования на обновление иконостаса здешней монастырской Никольской церкви 2300 рублей из суммы его денег, хранящейся у архимандрита. Прошение, поданное за четыре месяца до смерти, написано широким, легким почерком — я бы сказал, это уверенный почерк человека, привыкшего излагать собственные мысли пером по бумаге, писателя. Завещательные же прошения написаны совсем другой рукой — почерк мелкий, старательный, как если бы писал не слишком уверенный в себе, но составляющий важный документ и боящийся ошибиться писарь...

Однако поначалу подлога никто не заметил, и уже 3 декабря 1831 года сохранной казной Московского воспитательного дома (выполнявшей в ту пору функцию сберегательного банка) был выпущен и прислан в Суздаль билет за № 65 025 на сумму 5000 рублей, предусматривавший обязательство с этой суммы, «положенной монахом Авелем в Сохранную казну на вечное время, условленные проценты, по четыре рубли со ста от сего числа... двести рублей отпускаться будут ежегодно непременно по прошествии при жизни его о здравии, а по смерти заупокой».

Так все и пошло, так все и продолжалось... до 17 февраля 1833 года, когда в опекунский совет Воспитательного дома поступило от уже знакомого нам бывшего з/к Алексея Навруцкого, теперь кадниковского лекаря (будучи освобожден из заключения в 1832 году, он, видимо, переехал в г. Кадников Вологодской губернии), «объявление»: «1831-го года ноября с 20-го на 21-е число в ночи во время нахождения его в Суздальском Спасо-Евфимьеве монастыре под арестом приключился содержавшемуся там же в оном монастыре монаху Авелю правой половины всего тела паралич с повреждением зрения, слуха и языка. Того же 21 ноября было ему, Навруцкому, приказано от архимандрита Парфения иметь за ним, Авелем, присмотр и помоществование, почему он при нем по самой смерти, последовавшей 29 ноября, и находился. В течение сего времени архимандрит от упомянутого монаха Авеля составил прошение в сохранную казну, коим якобы покойный монах Авель завещал означенному монастырю хранившиеся в оной казне 5000 рублей (*нрзб*) за прошлое время причитающихся процентов на имя его, Авеля, и приказал ему, Навруцкому переписать, которое по переписке было подносимо ему, Авелю, для подписи с испрашиванием

его согласия. Монах же Авель как при здоровом состоянии никогда не изъявлял намерения на то, так и в болезни при всей памяти подписать вовсе не мог, ибо он без помощи не поднимался с постели, почему архимандрит приказал поднять его, велел ему, Навруцкому, его рукой подписать его имя, от чего Навруцкий не смел отказаться. Ныне, получив Высокомонаршее прощение с определением на службу и зная, что покойный имеет родного сына наследника, который осведомлен о смерти отца своего и не преминет опровергать подпись Авеля, то во избежание ответственности (*нрзб*) о чем сохранной казне до сведения и доводит».

Есть два косвенных, но важных соображения в пользу того, что лекарь Навруцкий не врет. Первое: можно быть уверенным, что пока монах Авель был в сознании, помирать он не собирался. В своем «Житии...» он предсказывает, что «жизни ему положено восемьдесят и три года и четыре месяца», то есть умрет он только в 1841 году. Сегодня мы, конечно, скептически относимся к любым предсказаниям и к предсказаниям Авеля особенно, но нет никакого сомнения, что сам он в них искренне верил. И при различных дознаниях и расследованиях защищал их истинность даже «под страхом смерти». И если бы он действительно был «в здравом рассудке и трезвой памяти», то, конечно, предполагал бы жить еще десять лет, — и тогда зачем стал бы он переписывать свой капитал на архимандрита и братию? И второе: мы знаем, что в дни, когда Авель «по высочайшему распоряжению» был схвачен и заключен в Спасо-Евфимьев монастырь, он жил в родной деревне Акулово Алексинского уезда Тульской губернии, — надо полагать, в семье одного из сыновей. И собирался там оставаться и впредь... Нет, скорее правду говорит Навруцкий, что, мол, Авель «никогда не изъявлял намерения на то», а завещание могло появиться только если рукой парализованного водил кто-то другой... Пожалуй, также весьма примечательно, что лекарь Навруцкий, заключенный в монастырскую тюрьму без указания срока, освобождается в мае 1832 года, что никак не могло произойти без соответствующего ходатайства архимандрита Парфения. Может, настоятель таким образом выказывает благорасположение арестанту, оказавшему ему важную услугу? Или, напротив, удаляет важного свидетеля?

Так или иначе, получив донос от Навруцкого, опекунский совет Воспитательного дома просит суздальского городничего провести соответствующее расследование. Расследование проводят (а что расследовать, если достаточно сравнить почерк и подписи?), убеждаются, что «донос лекаря Навруцкого несправедлив»... Впрочем, исход разбирательства можно было предсказать заранее: от века в российском суде выигрывает не тот, на чьей стороне правда, а тот, кто выше стоит в общественной иерархии. Лекаря Навруцкого предают суду за лжесвидетельство «для поступления с ним по закону». Как поступили с этим правдолюбцем и правозащитником XIX века, мы не знаем — никаких документов не осталось. На этом дело о капитале покойного монаха Авеля заканчивается... Не правда ли, очень русская история?

Но начинается это дело задолго до смерти прорицателя. А именно в 1825 году, когда Авель помещает в хорошо уже знакомую нам сохранную казну Московского воспитательного дома 10 000 рублей ассигнациями... И вот тут уместно все-таки задаться вопросом, откуда же такие деньги у неприкаянного странника, каким он сам рисует себя в «Житии и страданиях отца и монаха Авеля»?..

(Здесь текст доклада без всяких оснований оборван автором рукописи. Окончание находим только уже через много страниц, в гл. 9.)

5. Суворовец

Как-то так получилось, что Варвару я впервые привел в квартиру родителей на Сокольнической слободке в середине дня, когда и отец, и мать были на работе. «Здесь мы и будем жить. Но вот в эту дверь ни ты, ни я никогда не войдем — она всегда закрыта», — сказал я, показывая на кабинет отца. Варвара захлопала в ладоши: «Браво! Какая драматургия, какая интрига! Представляешь, на сцене декорация квартиры — две комнаты, кухня, санузел. И еще одна дверь, железная — всегда закрыта. Что за ней — тайна. По ходу действия — разные предположения. И только в конце пьесы дверь распахивается и...» Она замолчала. «Что — и?» — спросил я. «Когда-нибудь узнаем, — весело сказала Варвара. — Наша пьеса, только начинается. Надеюсь, это не будет пошлая комедия». «Ну да, — сказал я, — крутая драма. Но не заблуждайся насчет начала: пьеска давно разворачивается, и ты опоздала — дело, видимо, идет к последнему акту, и всем уже все известно...» За постоянно закрытой *железной* дверью в кабинете отца хранилась его богатая коллекция орденов Российской империи.

Теперь, хорошо изучив наследство, я понимаю, что все эти сейфовые замки на железных дверях были вполне разумной и оправданной мерой безопасности: коллекция стоила огромных денег. Не знаю, в принципе можно ли было в те времена продать и за сколько, скажем, полный комплект знаков ордена Святого апостола Андрея Первозванного второй половины XIX века, изготовленный фирмой «Эдуард» (знак ордена) и мастерской Кейбеля (цепь и звезда), но уже в новейшие времена похожий комплект прошел через мой магазин на Арбате и стоил он что-то близко к миллиону (долларов, разумеется). А ведь у отца был еще Андрей Первозванный с золотыми мечами (правда, один только знак, без звезды и цепи)... Или вот известно, что когда кто-то из царской фамилии награждался орденом Андрея Первозванного (по самому факту принадлежности к этой фамилии), то сразу и одновременно становился кавалером четырех младших российских орденов — Святого Александра Невского, Белого орла, Святой Анны 1-й степени, Святого Станислава 1-й степени — и все эти ордена тоже были в коллекции. Мало того, Анна 1-й степени была еще одна — начала XIX века, работы золотых дел мастера Афанасия Панова... Да что говорить, уверен, не было в наше время второй такой частной коллекции в стране — да и не каждый музей мог такой коллекцией похвастаться. (Увы, сам я, получив коллекцию в наследство, не успел прибавить к ней ни одной позиции: после смерти отца я два года потратил, чтобы хоть как-то войти в курс дела, и если не составил каталог, то хотя бы дополнил оставленную им опись... но когда я был близок к концу работы, меня арестовали, а коллекцию конфисковали.)

Многое, многое из того, что в моей жизни связано с отцом, я вспоминаю с обидой и неприязнью. Вообще можно сказать, что вся моя жизнь прошла в постоянном заочном споре с ним, в бессознательном (а иногда и осознанном) отрицании того пути, на который он сурово и грубо пытался определить меня с самого детства. И все-таки сердце щемит от жалости, когда на память приходит, каким видел его в последний раз, после его возвращения из больницы, за день до смерти. Охотник на медведей, автомобилист, коллекционер, наконец, просто сильный мужик и «неутомимый любовник» (так он сам хвастался мне, уже взрослому и женатому), после двух инфарктов он даже по квартире ходил с трудом, задыхался, держался за стены. Когда я пришел (мы с Варварой давно уже жили отдельно, и зачем я приезжал, не помню, небось, за каким-нибудь минутным пустяком, за какой-нибудь книгой из моей библиотеки, тогда еще частично остававшейся у родителей), он обрадовался, обнял меня, но тут же

закашлялся, из глаз потекли слезы, он проглотил какую-то таблетку, на кухне запил глотком своего любимого «Боржоми» прямо из бутылки и, вернувшись ко мне, сказал, что вот, мол, хорошо, что приехал: помогу ему выйти гулять.

Никогда прежде он не встречал меня так тепло, с такими мягкими интонациями в голосе: наши отношения всегда были по-мужски сдержаны, если не сказать — суховаты, «без сантиментов» (так он сам определял стиль взаимоотношений «двух мужиков»). И теперь его очевидная радость меня тронула. Не знаю, нарочно ли он придумал прогулку — чтобы я не сразу ушел, как это бывало обычно, — но я действительно помог ему надеть теплую шерстяную кофту, поддерживая, вывел его на лестничную площадку, взял у него ключи, закрыл дверь, и положил ключи ему в большой накладной карман на боку. Из другого кармана торчала сложенная газета. Я никогда не видел его таким по-стариковски беспомощным и ухаживал за ним, как за ребенком. Мне казалось, что ему это нравится. В лифте он как-то с особенной охотой опирался на мою руку, благодарно смотрел на меня, и потом мы потихоньку прошли еще один лестничный марш вниз и в конце концов, постелив ту самую торчавшую из кармана газету, я посадил его на скамейку перед подъездом. Это и называлось прогулкой: через полчаса мать должна была прийти с работы и поднять его обратно домой.

Должен признаться, что никогда прежде, *никогда* за всю мою жизнь я с таким вниманием, так сердечно не относился к отцу, как в эти минуты. Теперь, видимо, надо было сесть рядом и поговорить о чем-нибудь: расспросить о здоровье, о новых приобретениях в коллекцию, о пропущенном (или наступающем?) охотничьем сезоне... но я, конечно, куда-то торопился и сразу начал прощаться — почему-то за руку. Или это он поймал мою руку: «Помнишь, как ты плакал, когда я в первый раз привез тебя в Фили, в Суворовское училище?» — вдруг спросил он. Я удивился: «Что это ты вспомнил?.. Извини, мне надо бежать». Но он все держал меня за руку и смотрел снизу вверх. «До сих пор сердишься?» Я даже растерялся: «Ну что ты... столько лет... Ты все-таки запахни кофту, небось, сентябрь на дворе, холодно». И я, высвободив руку, наклонился и помог ему застегнуть кофту на две пуговицы. «Ты приезжай завтра», — сказал он...

Я пошел к метро, но возле угла дома остановился, обернулся. Словно почувствовал, что вижу его в последний раз, — и вот каким сейчас увижу, таким и запомню навсегда. День был прохладный, но солнечный. Отец сидел на скамейке один, маленький, сгорбленный, в нелепой вязаной кофте какого-то женского фасона, сильно постаревший, похудевший. Увидев, что я остановился и смотрю в его сторону, он помахал мне рукой: в пальцах была зажата сигарета — в последние годы он курил немецкие сигареты «HB» («Охотник без курева — не охотник»), всегда знал, где их можно купить, и делал большие запасы, блоков по десять. Врачи из госпиталя Министерства обороны, к которому он был прикреплен благодаря своим охотничьим связям, конечно, требовали, чтобы он немедленно бросил курить. «Вот сигареты кончатся — и брошу», — говорил он. Но десять блоков не так легко выкурить, да запас никогда и не уменьшался. Так он и курил до самой смерти. Я помахал ему в ответ и направился к метро. Рано утром мать позвонила: «Отец умер...»

Родителей не выбирают. А судьбу можно выбрать? Конечно, все в руках Божьих. Но все-таки судьба во многом зависит и от родителей — от того, какое направление они дадут изначально — и ты или это направление примешь, или пойдешь наперекор. Я пошел наперекор...

В юности я простодушно считал, что отец забрал меня, десятилетнего мальчика, из школы и отдал в Суворовское училище с единственной целью: чтобы, как он сам говорил, «из маменькина сынка сделать настоящего мужика».

Я плакал, бился в истерике, кричал: «Папочка, пожалуйста, не отдавай меня!» — кажется, даже описался. Не знаю, что тогда пугало меня больше: чужое, холодное слово «дис-ци-пли-на», которое отец по складам выстукивал указательным пальцем по краю стола за семейным воскресным обедом на кухне, или слезы матери, со сжатыми кулаками стоявшей над мужем: «Насильник, хочешь сломать судьбу ребенка!», — и тогда он, нахмурившись, встал, крепко взял маму за запястья и, с силой прижимая вниз, посадил на стул: «Уймись, дура. Министры, секретари обкомов мечтают устроить туда своих отпрысков... Спасибо скажи: я уже договорился, дело решенное». Помолчав, он, словно оправдываясь, добавил: «Все мои предки, все Евангелиди носили военную форму и служили России...» Но меня ни служилые предки, ни «отпрыски министров» не утешали: я не хотел уезжать от мамы. Угроза же «сломанной судьбы» вполне конкретно соотносилась с болезненным переломом руки, случившемся за три года до того во время игры в футбол во дворе (кто-то из старших просто с силой наступил мне, шестилетнему пацанчику, на руку), — из-за этого перелома я пошел в первый класс позже, чем надо — только со второго полугодия.

Школа была во дворе нашего дома. В первом классе на трех мальчиков было восемнадцать девочек. Учительницу, молодую, симпатичную, с золотой косой, уложенной вокруг головы, звали Серафима Борисовна. Моя мама звала ее просто Симочка. Симочка жила со своей старушкой-матерью в нашем подъезде на первом этаже. С моей мамой они дружили, «училка» часто бывала у нас дома, ко мне относилась почти по-матерински, часто обнимала, прижимала к себе, наклонившись, целовала в щеку, называла «м-мой м-мальчик» — временами она чуть-чуть заикалась. Словом, школьный класс был для меня как продолжение семьи. (Только спустя много лет я узнал от матери, что Симочка была любовницей отца и Суворовское училище он использовал, чтобы изъять меня из центра этого треугольника. Впрочем, к тому времени, когда мать рассказала мне это, — при отце рассказывала, на кухне, он сидел тут же за столом, ужинал и, слушая, покрутил пальцем у виска, — Симочка давно вышла замуж и куда-то уехала, а взаимоотношения моих родителей окончательно разладились: они жили хоть и в одной квартире, но в разных комнатах, и мать исполняла при отце не столько роль супруги, сколько домработницы, которая прожила в семье много лет, тут состарилась, и теперь ей некуда идти...)

Нет, отец отдал меня в СВУ не из-за Симочки. Он искренне желал мне благополучия в жизни и полагал, что армия — самый прямой путь к этому благополучию. Действительно, все наши предки по мужской линии носили военную форму... но отец как-то упускал из вида, что все они плохо кончили! Мой дед, Андрей Семенович Евангелиди, был одним из организаторов и членом коллегии ВЧК-ГПУ (какой-то там комиссар какого-то ранга — «шпалы», «кубари» и все такое). Расстрелян в 1938 году. В 1956 году реабилитирован. Отец говорил о реабилитации почему-то с гордостью... хотя по существу что от этого меняется: дурно жил человек, дурно кончил — какая реабилитация поможет? Покаяние нужно бы, а не реабилитация... Ничего этого я отцу не говорил, боялся его обидеть.

Мой прадед, Евангелиди Семен Абрамович, генерал от артиллерии, кавалер орденов Святого Георгия 4-й степени и Святого Владимира 2-й степени и других орденов (все эти ордена сохранялись в коллекции отца), лишился ноги в русско-японскую войну, большевики долго его не трогали, он считался военспецом, но в 1925 году его арестовали и сразу расстреляли. Его отец, мой прапрадед Абрам Феофилактович Евангелиди был генерал-адъютант при Николае II, член Госсовета (присутствует на знаменитой картине Репина), кавалер ордена святого Андрея Первозванного (и многих других орденов — все в коллекции

отца). Был в Гатчине 15 июня 1899 года, когда император Николай II с императрицей Александрой Федоровной вскрыли конверт, в который за сто лет до того императором Павлом I было вложено предсказание вещего монаха Авеля, касающееся судьбы императорской фамилии (гибель в 1918 году). Также там была предсказана судьба России на ближайшие столетия. Отец утверждает, что Абрам Феофилактович держал то предсказание в руках, читал. Будто бы именно ему было поручено уничтожить эту страшную бумагу. Но уничтожил или где-то заховал (например, у своих — в Нерлянке) — неизвестно... Так или иначе, генерал-адъютант, слава Богу, не дожил до дня, когда предсказания монаха начали сбываться. Старика разбил паралич, и он умер в Петербурге, оставленный всеми (все думали, что успел уехать), в одиночестве, видимо, от жажды, голода и холода в начале февраля 1918 года: его нашли спустя месяц — слава Богу, был мороз, в квартире все замерзло, и тело, хоть и было слегка тронуто крысами, но в целом сохранилось...

«Предки, носившие военную форму», — все это, конечно, пустые слова. Была еще одна — и, может быть, главная причина, по которой отец отдал меня в СВУ: отправляя сына из семьи, он в еще большей степени развязывал себе руки и освобождался от семейных забот. Сын, жена... по большому счету, никто и ничто ему в жизни не было нужно, кроме его коллекции, с которой он, закрывшись за своей железной дверью, проводил практически все время, что бывал дома. Что он делал там? Любовался орденами? Брал каждый в руки и рассматривал в лупу? Примерял их себе на грудь?..

Мать, конечно, знала, что выходит замуж за коллекционера. Они и познакомились-то, когда только-только демобилизовавшийся молодой подполковник Евангелиди на своем трофейном «мерседесе-шестерке» приехал в Ленинград проконсультироваться в частном порядке со специалистом из Эрмитажа по поводу «трофеев» — коллекционных монет и старых российских орденов, которыми плотно набиты были два больших чемодана, занимавшие весь багажник машины. Мать, рассказывая о тех временах, вспоминала пушкинского скупого рыцаря: «Я каждый раз, когда хочу сундук мой отпереть, впадаю в жар и трепет». То же происходило и с подполковником, когда он раскрывал свои чемоданы... Конечно, была кровавая война — и он добросовестно выполнял свой долг, но и во время, и после войны на завоеванных территориях Восточной Европы ему открывались неограниченные возможности пополнить еще до войны начатую коллекцию (провинциальные музеи, театральный реквизит, частные коллекции и т.д.) — и он этими возможностями воспользовался вполне.

Фамилия *надежного* ленинградского специалиста, рекомендованного кем-то «через третьи руки», была Ксаверий (теперь надо было бы прибавлять «старший»), а у Ксаверия оказалась молоденькая родственница — красавица Зина Мурзаева. Зина закончила медучилище, и ни фалеристика, ни нумизматика ее не интересовали, но боевой подполковник, не успевший снять форму (начальник автомобильной службы гвардейского корпуса, вся грудь в орденах — вовсе не старинных), заинтересовал даже очень.

Выходя замуж, уезжая с мужем в Москву, рожая ему ребенка, мать, конечно, не могла предположить, что ее супруг уже женат — прочно и навсегда. Не на женщине (хотя, как я понимаю, мать не зря ревновала «неутомимого любовника»), а на своей коллекции. Военная «добыча» была как раз следствием увлечения, захватившего его еще до войны, в студенческие годы (та коллекция хранилась все военные годы в подвале у матери в деревне близ Суздаля). Теперь, получив вскоре после женитьбы от своего Министерства большую квартиру на Сокольнической слободке, отец сразу заперся в отдельной комнате со своей любимой (коллекцией) — отделился и от жены, и от сына. В результате в трех-

комнатной квартире общедоступными оказались только две комнаты — матери (спальная) и моя (детская). Питались на кухне. Третья же комната, кабинет отца, самая большая (метров 20), была закрыта на ключ — днем, когда отец был на работе, и ночью (спал он все-таки в одной постели с женой, в спальной). Когда же он был дома и «работал с коллекцией» — поздно вечером или в выходные, — дверь закрывалась изнутри на простой крючок. И если мне, мальчику, зачем-нибудь надо было зайти к отцу (в первых классах он все же интересовался моими школьными успехами и по утрам в воскресенье проверял мои уроки), надо было постучать и, услышав: «Что надо?» — громко ответить, подождать в коридоре минуту или две — слышно было, как отец выдвигает и задвигает ящики своего старинного секретера, отодвигает от стола рабочее кресло, идет к двери, откидывает крючок, — и дверь открывалась: «Заходи. У тебя пятнадцать минут».

Я не помню, чтобы когда-нибудь мои родители принимали гостей. Общих друзей, да, возможно, и просто общих знакомых у отца с матерью, кажется, никогда не было (кроме, пожалуй, Симочки). У отца все общение с друзьями происходило, видимо, на охоте, куда он уезжал на два-три дня по крайней мере раз в месяц, а когда наступал «медвежий сезон» (в сентябре–декабре), отсутствовал и дольше и чаще. Мать же каждые праздники увозила меня к родственникам в Ленинград: там жили все близкие ей люди — родители, сестра, племянница, их мужья. С ними, снимая где-нибудь общую дачу, мы проводили и летние месяцы. Когда же меня определили в училище, мать стала каждый сентябрь ездить одна в Ялту. А иногда и зимой отправлялась в Кишинев — это называлось: «навестить подругу и поесть фрукты» (а на самом деле к министру заготовок). Отец не возражал: в отсутствие жены ничто не отвлекало его от коллекции и не мешало поездкам на охоту.

В СВУ оказалось совсем не страшно, и нормальное общение с «однополчанами» (как мы иногда называли друг друга в старших классах) наладилось сразу. Я довольно быстро вжился в режим, никогда не опаздывал на построения и в классы, постель всегда заправлял «на отлично», с удовольствием мылся по пояс холодной водой по утрам (и до сих пор делаю это с удовольствием), с удовольствием бегал кроссы по живописным дорожкам Филевского парка — физически я оказался ничуть не слабее других, давний перелом руки зажил без следа, и уже в первый год я мог двадцать раз отжаться и десять раз подтянуться на турнике. Дважды в год топал в общем строю по Красной площади на парадах. Про учебу и не говорю: я всегда считал, что плохо учиться — скучно, стыдно, и окончил училище с золотой медалью (а институт потом — с красным дипломом).

Однако тут я должен признаться, что по натуре своей я — «бабник». С самого раннего детства. И к чему никак не мог привыкнуть — и не привык за все восемь лет в училище, — так это к отсутствию «девичьего тепла» в постоянной, ежедневной, доступной близости. Уроки танцев раз в неделю, когда приходили девчонки из двух соседних школ, — это был ущербный, нищенский праздник. Держать в руке девичью руку (иногда теплую, иногда холодную, но всегда от нее исходила ощутимая энергия нежности), слегка приобнимать девочку в вальсе, грудью невольно касаться ее уже достаточно высокой груди, упруго поднимающей бретельки школьного фартука — все это сладостные мгновения... но всего час или полтора в неделю! Девочки появлялись из неоткуда и исчезали в никуда — чужими приходили, чужими и исчезали. А иногда мы и вовсе оставались даже и без этого нищенского счастья, без этого промелька женственности перед глазами. Классе, должно быть, в восьмом за какую-то, не скажу теперь, за какую, провинность взвод был наказан: на урок танцев не пустили девочек. Командир взвода (капитан Рак с торчащими вперед рыжими усами и с универси-

тетским значком на кителе, выпускник психологического факультета) позвонил на проходную, и девчонкам дали «от ворот поворот». Но сама учительница — пожилая балерина в отставке, желтая курильщица с хриплым голосом — все-таки пришла и села за рояль: «Танцуем вальс, — громко прохрипела она, — не будем терять навык. Возьмите какой-нибудь предмет в руки: вот стулья, что ли». И каждый из нас взял по стулу, и мы танцевали, обнимая стулья. «Раз, два, три... Раз, два три...» — кричала балерина... О Господи, этот «вальс со стулом» под хриплые крики старухи до сих пор снится мне иногда в страшных снах. И это — точный символ моей суворовской юности...

Конечно, в десятом классе я, как и все мои сверстники, в дни увольнений «ходил с одной», потом с другой (из тех же танцевальных партнерш), и в кино мы забирались на задний ряд, и целовались в темноте, и изучали друг друга на ощупь, залезая руками под одежды... но все это не то, и эти подруги оставались чужими, тоже возникали из ниоткуда и исчезали в никуда... И в разгульной студенческой юности (после училища я со своей медалью без труда поступил в Иняз на английский), когда женщины приходят и уходят, когда все общение ограничивается одной, двумя, много — тремя ночами, проблемы чуткого отношения друг к другу не так существенны: подумаешь, с одной не сложилось, с другой будет лучше... или хуже... но будет третья, четвертая... Сегодня, оглядываясь на прожитую жизнь, я совершенно уверен: корни всех моих глубоких семейных проблем — а они были действительно глубоки, и с ними ой как много связано! — как раз и уходят далеко в суворовскую юность. В суворовское отчуждение. Недополучил я омывающих душу флюидов девичьей женственности, которые всегда витают в смешанных сообществах мальчиков и девочек. А мог ведь все десять лет проучиться в классе, где на трех мальчиков было восемнадцать девочек. До сих пор обидно...

Коллекцию отца мне все же вернули. Не сразу, года три после освобождения мне пришлось вести тяжбу, — но в конце концов я ее забрал. Возможно, только потому, что мало отсидел. За полтора года, что прошли со времени суда, в неразберихе «перестройки и гласности» мое «Дело...» еще не было передано из Мосгорсуда в архив КГБ, а с ним не были переданы и хранились в подвалах суда «вещдоки» — ящики с коллекцией... В «Деле» я нашел и свой незавершенный каталог коллекции. В последующие годы, время от времени возвращаясь к этой работе, я каталог закончил и даже издал (печатал в Финляндии — отец был бы доволен качеством альбома). Но как только он вышел в свет, я тут же всю коллекцию до единого предмета передал в Исторический музей...

Так вот... «В конце пьесы дверь открывается...», а за дверью — мрак пустоты.

6. Игрок. Возвращение Таксы

В первое же утро в Нью-Йорке сидели с Таксой и его совсем юной подругой (вряд ли старше восемнадцати) в «Греческом капитане», недорогом «рыбном» ресторанчике в Квинсе недалеко от станции метро «36-я авеню». Было слышно, как каждые пять минут поезда грохочут по чугунной (или какая она там) эстакаде. Еще в Шереметьеве я взял в duty-free плоскую бутылку Hennessy, и теперь отдыхал после мучительного десятичасового перелета: коньяк, красивая русоволосая и кареглазая девчушка (видимо, из семьи недавних эмигрантов), улыбающийся Такса, гордый, что с ним такая юная красотка, — и мне было хорошо.

Девушку звали Светик — так она сама представилась и, не вставая, протянула руку, на запястье которой свободно болтался деревянный браслетик. Я наклонился и поцеловал ее чуть влажную детскую ладошку. «Надо же!» — она с

удивлением посмотрела на меня, потом на Таксу. На ней были коротенькие джинсовые шортики и оранжевая маечка. На красивом мягко округлом плечике — маленькая цветная татуировка: старинный подвесной фонарь с горящей свечкой внутри — светик. В будний день в ресторанчике кроме нас никого не было. Мы сидели на улице: несмотря на конец сентября, погода стояла теплая, сухая, солнечная, и несколько столиков были вынесены на тротуар, уютно огорожены легкой оградкой, и тротуар в этом месте был застелен ковролином цвета морской волны.

Когда по прилете я позвонил из аэропорта, Такса не пригласил меня домой. Голос в трубке был хриплый — спросонья или с бодуна, и я даже не сразу осознал, что это он — все-таки лет десять его не слышал. Но он, казалось, совсем не удивился моему явлению, не спросил, зачем я здесь и где собираюсь остановиться, но сразу назвал этот «морской» ресторанчик: «На такси через полчаса будешь на месте. Позавтракаем, расскажешь, что к чему. А нам здесь вообще десять минут ходьбы». «Нам», — то есть он дал понять, что будет не один.

Я добирался, конечно, дольше получаса: traffic был довольно плотный, и я еще попросил, чтобы шофер-пуэрториканец завез меня по пути в какую-нибудь маленькую гостиничку поближе к аэропорту Ла Гвардия. Гостиница, выбранная шофером, называлась «Комфорт», и я быстренько снял номер и забросил свой кейс, — так что не знаю, сколько Таксе пришлось меня ждать. А может, они и сами пришли только что: в прежние времена Такса всегда всюду опаздывал. По крайней мере, никакого заказа сделать они не успели и сидели за пустым столиком. Мы встретились так, словно расстались вчера. «Ты совсем не изменился за десять лет», — сказал я, присаживаясь за столик. «За двенадцать... Что будешь есть?» — совершенно буднично спросил он, пододвигая мне меню.

Такса жил неподалеку, на той же 36-й, по другую сторону от метро, в пустующей квартире Владки Кохановой, в квартале красных кирпичных пятиэтажек, почти сплошь заселенных негритянскими семьями. Сама Владка в последние годы постоянно жила в Париже. Такса свалил из России «по израильской визе» сразу, как только объявили «перестройку и гласность». В Нью-Йорк он явился как раз в те дни, когда Владка, успевшая возненавидеть Америку за шесть лет жизни здесь (сколько-то надо прожить для получения американского паспорта), собралась переехать к дочери в Париж. Она паковала вещички и размышляла, что делать с квартирой в Квинсе: продать нельзя — социальное жилье, муниципальная собственность, закрыть и оставить на произвол судьбы — тоже нельзя: запросто кто-нибудь взломает дверь и поселится — да и коммунальные платежи надо платить. Жалко все-таки лишиться квартирки. И тут как нельзя кстати явился Такса — свой человек, надежный: когда-то в молодости он был ее другом и любовником. Да мало сказать любовником — просто-таки самозабвенно любил ее и даже хотел жениться.

С Владкой я в последнее время переписывался по электронной почте и знал, что за годы в Штатах Такса так и не нашел своего места. Что-то он привез с собой, хотел начать антикварный бизнес, но стал играть и все проиграл. Потом был на подхвате у некоего аукциониста, но почему-то дело не пошло, аукционист его прогнал. Теперь он считался компаньоном хозяина в одной мастерской по реставрации старинной мебели, но и тут отношения обострились, и все шло к скандалу и разрыву. А может, разрыв уже и состоялся: вот ведь будничный день, а он сидит в ресторане, вроде никуда не торопится и о работе не заговаривает...

Хозяйка «Греческого капитана» посоветовала нам «королевские» креветки, какой-то салат из водорослей, Светик попросила фисташкового мороженого, и мы сделали заказ. Поскольку в ресторане никого не было, нам в виде исключе-

ния разрешили принесенную с собой выпивку, и я налил всем по глотку Hennessy: «Чтобы наша встреча была счастливой». Выпили. «Вообрази, — говорил Такса своей подруге, указывая на меня пальцем, — в Питере прихожу я однажды к этому человеку в гостиницу, а у него в постели моя любовница». Похоже, это событие более чем двадцатилетней давности до сих пор оставалось для него главным в наших родственных и дружеских взаимоотношениях. Я тоже хорошо помнил то утро: в постели у меня после ночи хорошего секса отсыпалась Владка Коханова. «Что ж, я ее понимаю, твою любовницу», — засмеявшись, сказала юная подруга. Она вроде бы слушала Таксу, но смотрела мне в лицо. Я закрыл глаза и покачал головой: нет, нет, я не за этим приехал. Такса мне нужен был, а не его девушка.

Такса, Тихон Ксаверий — мой двоюродный брат, сын моей тетки, старшей сестры моей матери, был почти на два года старше меня. Назвать меня и старшего кузена одним именем было, конечно, крупной ошибкой родителей: детям в одной семье нельзя давать одинаковых имен. Такса навсегда сделался Тихоном Большим, а я — Тишкой Маленьким. Со всеми комплексами из этого следующими: у меня — комплексом неполноценности, у него — комплексом превосходства. Причем комплексы начали проявляться уже в раннем детстве. Сестры, наши матери, были дружны, и мы с мамой по крайней мере дважды в год ездили в Питер — на Новый год и на весенние каникулы. И летнюю дачу всегда снимали вместе — то в Сиверской под Питером, то в Уборах под Москвой — и жили одной семьей, я с мамой и Такса со своей сестрой Лелькой (их мать, в отличие от моей, всегда где-то работала и могла приехать только в отпуск, на две-три недели). Понятно, что авторитет Тихона Большого для меня был абсолютным. И в оценочных суждениях (о взрослых и о сверстниках, о футболистах и футбольных командах, вообще о том, что хорошо и что плохо), и в детских играх. В том числе и в тех, где проявлялась детская сексуальность, — а Такса, надо сказать, был сильно озабочен с раннего детства. Ему, должно быть, было 11, мне 9, когда в один из наших с мамой весенних приездов в Питер он сказал мне, по секрету, что… соседскую девочку Ленку. Я же знал эту Ленку, Ксаверии всегда приглашали ее на детские праздники, она была моя ровесница, может, на год старше — курносенькая, с ярким румянцем на щеках, всегда в голубом платице и с голубым бантом в косичке, разговаривая, она тянула слова и любила касаться собеседника пальчиком. Три последних месяца, с новогодних праздников, я все время думал о ней. Когда после зимних каникул мы вернулись в Москву, я даже письма ей писал… но не отправлял, думал, когда-нибудь отвезу и отдам… «Ты, Такса, все врешь», — сказал я. Тогда он вывел меня на лестничную площадку и позвонил в соседнюю дверь. Вышла Ленка, запахивая полы какого-то серенького домашнего халатика. «Скажи ему, он сомневается, — сказал Такса, ухмыляясь и указывая на меня, — мы с тобой… да?» Она, глядя куда-то в сторону, молча кивнула и убежала, захлопнула дверь. Теперь трудно сказать, что они оба имели в виду, вряд ли что-то серьезное, но тогда все это произвело на меня огромное впечатление: авторитет двоюродного брата вырос несказанно, а моя неполноценность стала совершенно очевидна. Дома в Москве я сжег в ванной всю пачку неотправленных писем. «Что-то горит!» — крикнула из кухни мама. Я мог бы сказать: «Любовь моя горит». Но тогда я так еще не умел и просто промолчал и, открыв кран на полную, смыл пепел.

В тот же год летом на даче в Уборах под Москвой моя старшая кузина Лелька, случайно проходя мимо раскрытых ворот хозяйского сарая, увидела, как мы с Таксой, два голых мальчика, кувыркаемся на свежем сене: это была такая борьба, Такса все время стремился перевернуть меня на живот и оказаться сверху, а я со смехом уворачивался, но он был сильнее меня и в конце концов

должен был победить. Увидев Лельку, оба смутились, натянули трусики и убежали. Я бы, конечно, ничего этого не запомнил — я вообще помню лишь немногие подробности детства, — но Лелька сразу же рассказала о тех наших играх моей матери. И в тот же вечер мама поставила меня перед собой, взяла за руку и, глядя в лицо, как умела, стала говорить о гомосексуалистах, о том, что это страшная болезнь, и если... то меня отвезут в больницу. Вот эту сцену я хорошо помню. Можно сказать, что мама провела своеобразный акт инициации, первое посвящение в мужчины, защитила меня от опасностей, угрожавших душе ребенка из мрака комплексов и инстинктов. Я не плакал, слушал маму молча, потом сказал, что мы только играли и вообще я больше не буду. Так или иначе, на следующий день по маминому настоянию Лелька увезла Таксу (впрочем, уже август был), и больше мы никогда не проводили лето вместе.

Кажется, Юнг сказал, что нет мужчины, который был бы настолько мужественным, чтобы не иметь в себе ничего женского. Знаю и всегда знал, что в моей душе это женское начало весьма сильно. Я имею в виду, конечно, не секс как акт. Хотя секс в моей жизни значил очень много, и были у меня, конечно, женщины с самыми разными сексуальными предпочтениями, и на мои различные фантазии откликались по-разному... но в гомосексуальном акте я не участвовал ни разу — ни пассивно, ни активно, — и никогда меня это не влекло. Хотя, тут же должен признаться, что геи и лесбиянки не вызывают у меня какой-то особенной неприязни, да и на меня люди такого рода всегда смотрели с некоторой симпатией. Два или три раза в жизни геи выказывали мне особенное расположение, и я должен был мягко отстранять от себя эти знаки внимания. Более того, эти мои особенности были, видимо, где-то зафиксированы в секретных гэбэшных разработках — эти ребята при ловле душ ничем не гнушаются. В лагере, где я одно время работал в котельной, меня поставили в одну смену с диссидентом откуда-то из Прибалтики Гришей Борухом, борцом за независимость, не помню, не то Литвы, не то Латвии. Я — *зольщиком*, тачку катал (в одну сторону — груженную углем, обратно — с раскаленным шлаком), он — кочегаром, совковой лопатой закидывал уголь в печь и выгружал из печи шлак. И то, и другое — тяжелый и грязный физический труд. Гриша был крепкий парень... но женственные интонации его тягучей речи, женственная пластика его движений, особенно мягкая пластика рук, невольно наводили на мысль, что он гей. И можно было заподозрить, что здешний гэбэшник и меня-то поставил к нему в смену, имея в виду «застукать» двух диссидентов-геев. По крайней мере, надзиратели как-то особенно часто врывались в котельную не в начале, не в середине, а именно в конце смены, когда мы по очереди заходили в душ помыться. Они быстро заскакивали в котельную — и сразу к душевой, словно ловили, не окажемся ли мы в кабине одновременно? Плохие психологи: им бы, наоборот, приставить к Грише кого-нибудь более мужественного, чем я. (Уже после освобождения мне рассказали, что Гриша — действительно «гомик». Но... при этом с ним случилась такая история: зная Гришины предпочтения, какой-то его приятель, чуть ли даже не собственный его активный партнер, оставил у него в квартире пожить свою юную невесту, а сам, уверенный в безопасности подруги, отъехал куда-то на пару-тройку недель; все кончилось тем, что невеста стала Гришиной женой и родила ему четверых замечательных ребятишек. «Даже здесь не существует, Постум, правил».)

Я же в своей жизни был, пожалуй, слишком даже мужиком, и женщины занимали слишком большое место в моей жизни. Полагаю, это была реакция на «комплекс Тишки Маленького», освобождение от которого происходило в несколько этапов: и если первый шаг — с маминой помощью в десятилетнем возрасте на даче в подмосковных Уборах, то второй — спустя десять лет в

номере ленинградской гостиницы «Европейская»... с помощью самого Тихона Большого.

Притащить Таксу в номер «Европейской», где в постели после ночи хорошего секса, разметав свои *вороные* волосы по подушке и вся разметавшись под легкой простынкой в голубой горошек, дремала голая Владка Каханова, это было, конечно, невообразимой глупостью. Или, пожалуй, даже подлостью. По отношению к ним обоим — и к Таксе, и к Владке. Впрочем, слово *притащить* здесь не вполне уместно. Правильнее сказать — *допустить*. Я Таксу не звал и уж конечно не тащил. Накануне мы условились встретиться утром возле гостиницы, чтобы вместе поехать куда-то на Охту, где некий старик будто бы продавал полный комплект журнала «Мир искусства» за все шесть лет, что он выходил. Я после такой ночи, естественно, проспал, проснулся, только когда Такса позвонил снизу. Телефонная мелодия прозвучала далеко-далеко в глубинах сна, окутанного туманом в голубой горошек, но я сразу явственно осознал, кто и почему звонит. Однако, проснувшись, за телефоном не потянулся. Что оставалось? Осторожно освободился от Владки, спавшей у меня на плече, прошептал ей на ухо, что сейчас вернусь, наскоро натянул джинсы, накинул рубаху и на лифте, как оказалось, набитом строго молчавшими японскими туристами, поехал вниз — извиниться: мол, прости, брат, не могу ехать, перенесем дело или съезди без меня. Я, понятно, никак не ожидал, что, слушая мои сбивчивые извинения, Такса с печальной ухмылкой молча покивает головой, на ключ закроет свою потрепанную голубую «копейку» и двинется к дверям гостиницы с явным намерением пойти смотреть, кто там у меня в номере, что за помеха. «Туда нельзя», — сказал я, вставая на пути с раскинутыми руками, но он все так же молча широким движением отодвинул меня и шагнул вперед, в стеклянный турникет гостиничного входа.

Что я должен был делать? Драться? Броситься ему под ноги? Закричать портье: «Не пускайте его!»? Мне ничего не оставалось, как двинуться за ним, промямлив портье, что, мол, это мой гость. В лифте (на этот раз свободном от японцев) он улыбался своей неотразимой обезоруживающей улыбкой (было кем-то пущено и часто повторялось, что, мол, улыбка Тихона Ксаверия такой же бренд Питера, как кони Клодта или спектакли Товстоногова). «Ты не бойся, мы твою даму выпроводим вежливо и мягко, — сказал он. — Тосеньки-сесеньки, по чашечке кофе, через десять минут — до свидания, и мы едем на Охту...» Что ж, я сделал все, что мог. И теперь я даже с интересом предвкушал, как все сейчас будет. Хочешь, брат, кофе — будет тебе кофе. Мало не покажется.

Он, видимо, рассчитывал застать у меня какую-нибудь богемную шлюшку, с похмелья застрявшую до утра. По-хозяйски влетев в номер (как-никак — Тихон Большой к Тишке Маленькому) и в следующий миг увидев разметавшуюся в постели Владку, свою любовь, без пяти минут жену, он вдруг растерялся и, оглянувшись на меня, сделал даже едва заметное движение назад, словно хотел бежать. Но тут же взял себя в руки: «Ба! Вон кто у нас! Поднимайся, будем кофе пить», — и он по-хозяйски опустился в кресло. Владка, понятно, совсем проснулась, но, открыв глаза, несколько секунд продолжала неподвижно лежать под гостиничной простынкой в голубой горошек — словно осмысливала неожиданное появление гостя. Впрочем, тут же спокойно попросила *мальчиков* отвернуться к окну, обернувшись все той же простынкой, юркнула в ванную, через пять минут вышла одетая — хвост иссиня-черных волос перекинут через плечо на грудь, голубые чуть раскосые глаза аккуратно подведены — и сразу ушла, сказав, что у нее в институте заседание кафедры (в июле, в восемь-то утра! да и какая ей, третьекурснице, кафедра?): «Спасибо, что разбудили». Меня походя поцеловала в щеку: «Позвони после обеда»... Вот это утро Такса не забыл и

через двадцать лет. И я все хорошо помнил: может быть, именно в тот день прежние наши детские отношения превосходства и подчинения закончились и превратились в неявное вялотекущее соперничество двух мужиков.

Но теперь я приехал в Нью-Йорк не соперничать. Я приехал забрать Таксу домой, в Россию. Год назад я начал в Москве свой антикварный бизнес, теперь был совершенно готов открыть магазин на Арбате, даже аренду уже оформил, и хорошо понял, что для успеха дела мне нужен Такса и только Такса. Папа Ксаверий не оставил сыну богатства (да если бы и оставил, сын проиграл бы), но передал опыт и знание лучшего, быть может, антиквара в стране.

«Так что же привело тебя к нам в Штаты?» — спросил Такса, когда мы выпили еще по одной и он молча погрозил пальцем своей девушке и в шутку сделал страшное лицо: «Убью!».

«Ты, ведь, первый раз в Америке? — продолжал он. — Хочешь, мы со Светиком устроим тебе экскурсию по Нью-Йорку? Мой старик-форд пока на ходу».

«Я, Такса, знаю Нью-Йорк не хуже тебя, — сказал я. — Я, например, знаю, что через улицу от дома, где ты сейчас живешь, находится... что ж там находится... что-то такое: коричневый щит, эмблема... там находится склад службы доставки посылок UPS. Или это их автобаза?»

Светик беззвучно захлопала в ладоши: мол, браво, браво!

«Тоже мне Воланд и бином Ньютона, — засмеялся Такса. — Владка дала тебе мой телефон, адрес и ориентиры, как искать».

Владка действительно могла дать мне такие ориентиры, но нет, она ничего такого мне не сообщила. Я сам откуда-то знал про этот склад, про эту эмблему с коричневым щитом и буквами «UPS». Я вообще знал тут все вокруг, словно всегда жил здесь: вот за углом есть обувной магазинчик, дальше — second hand «Трифти», еще дальше... что ж там дальше... а дальше там...

«Ау, Тих, ты что — отключился? Может, тебе с устатку хватит пить? Что-то ты бледный». — Такса сбоку внимательно заглядывал в лицо.

«Все в порядке. Я действительно немного устал, — сказал я, — но это ничего не значит. Вот наши креветки. Пожалуйста, принесите нам еще кофе. Крепкий, как греки варят. Мы сейчас поедим, и я буду как новый. Скажите, Светик, ваши родители давно из Союза? Хотите, ребята, я расскажу вам о том, что происходит в России?»

«Мы все знаем, — сказал Такса, — тут у нас есть московское телевидение. Ты лучше скажи, ты приехал развлекаться или по делу?»

«Телевидение все врет, — сказал я. — Никакое телевидение не заменит живое слово, живое свидетельство. А сюда я приехал развлекаться по делу».

«Чувствуешь стиль диалога? — сказал Такса, обращаясь к своей девушке. — Это Хемингуэй, чистый папаша Хэм. Смысл — не в словах, смысл — в подтексте. Ты поняла, зачем он приехал? Все наше поколение — подражатели Хэмингуэя, кто в литературе, а кто и в жизни. Тих всегда был подражателем Хэма, в молодые годы он даже свитер носил а ля Хэм — такой, крупной вязки, как у матросов на рыболовецких траулерах. Или они все думали, что такие должны быть у матросов на траулерах».

Светик смеялась. У нее были красивые ровные зубы. Она была молода и прекрасна. И живые светло-карие глаза смотрели молодо и весело. Ее руки, ее плечи были женственны. Ее невысокая, но и не маленькая грудь... Я посмотрел на Таксу: он тоже с улыбкой любовался своей девушкой.

«Слушай, Такса, скажи мне, — я коснулся его руки и сделал паузу, чтобы он переключил внимание на меня, — скажи мне, брат мой, что нужно для того, чтобы ты вернулся в Россию?»

«Ничего, — он ответил сразу, не раздумывая, — ничего не нужно, потому что ни один разумный человек, уехав из России и почувствовав, что такое жизнь на Западе, назад, в эту тюрьму, в эту помойку, не вернется. Даже если здесь он нищий, бомж или, как я сейчас, живет на пособие по безработице».

«Ты по-прежнему играешь?» — спросил я. Вопрос был, конечно, бестактный — знала ли девушка об этой его слабости? Нужно ли ей знать об этом? Но у меня не было выбора, не было возможности откладывать разговор, я за этим приехал. Такса привел ее, она здесь, с нами — значит, ей невольно придется быть вовлеченной в наши дела, в наши отношения.

«Да нет, теперь не на что, — сказал Такса совершенно спокойно. — А ты почему спрашиваешь, уж не начал ли сам играть? Эй, парень, не проиграл ли ты мое наследство, мою питерскую квартиру, которая осталась после Лельки?»

Это было, конечно, провокационное заявление: мы оба прекрасно знали, что квартира Лотаревых была получена в обмен на московскую квартиру моих родителей, и Таксе в ней не принадлежит ничего, ни единого метра.

«Нет, — сказал я, — квартира цела, стоит закрытая... Но, знаешь, я действительно выиграл в Москве немного денег и теперь открываю антикварный магазин на Старом Арбате. Ты, должно быть, слышал: Арбат теперь — московский Монмартр».

«Много выиграл?» — В голосе Таксы сразу появилось некоторое напряжение. Выигрыш интересовал его больше, чем магазин на Старом Арбате. Разговор об игре явно затрагивал что-то в глубинах его души, ему хотелось подробностей. Светик постучала вилкой о край бокала.

«Друзья, давайте вы поговорите об этих делах без меня, — сказала она. — Я дождусь мороженого и уеду».

Она, видимо, знала, что Такса — безумный игрок, игроман. Может, он временно «завязал», и теперь ей показалось, что мой рассказ его провоцирует. Как алкоголика предложение выпить. Она за него тревожилась, жалела его.

«Вы спросили меня о родителях, — продолжала она, обращаясь ко мне. — Они привезли меня сюда пятнадцать лет назад. Мне тогда было десять. Фамилия моих родителей Шварц. Не слышали? Я — Светлана Шварц».

Надо же, она выглядела много моложе своих лет.

«Папа Шварц...» — начал было Такса, но Светик перебила его: она явно не хотела говорить о папе:

«Кстати, мы близкие подруги с вашей дочерью Кларой, — сказала она, — вместе учились здесь в архитектурном колледже».

Ну да, Владкина дочь Клара — как-никак и моя дочь: считалось, что она была зачата той самой ночью, когда студентом последнего курса в один из приездов в Питер я увел с какой-то тусовки невесту моего кузена Владку Коханову (Ладанку, Ладушку) и по черной лестнице дома в Дровяном переулке провел ее в дедову конурку — фотолабораторию (и наутро соседки Берта Израильевна и Роза Израильевна закатили деду скандал: мол, ночами в подсобном помещении, которое по закону является местом общего пользования и которое дед захватил незаконно, устраиваются вакханалии: пора поставить вопрос перед управдомом; слово «вакханалия» было несправедливо, мы ничего не пили, разве только друг от друга были пьяны, да и то вряд ли: Владка, хотя никогда и не закрывалась от мужиков, и даже, я бы сказал, «любила это дело», тем не менее, подходила к сексу довольно рационально, с трезвой головой — так мне всегда потом казалось). Тогда в Питере я на следующий день взял номер в «Европейской», а еще через день туда некстати заявился мой кузен Такса и застал свою невесту у меня в постели. Теперь прошло двадцать лет, теперь другие времена, теперь Владка увезла дочь Клару из Нью-Йорка в Париж, а передо мной сидит

юная девушка Таксы, кстати, Кларина подруга, и я, право, не прочь... Господи, какие мысли!

«У меня есть предложение, — сказал я, — мы не будем здесь сидеть долго, сейчас доедаем свои креветки, допиваем коньяк с мороженым и кофе — и разбегаемся. Я должен отдохнуть. А завтра утренним самолетом все втроем летим в Лас-Вегас, в казино "Vegas World". Сколько туда — три часа лету? Там два дня оттягиваемся... На третий день возвращаемся, и я улетаю в Москву».

Конечно, ничего такого они от меня не ожидали. Такса растерянно молчал. Он, видимо, решил, что я так шучу, но в чем смысл шутки, понять не мог. И Светик молчала, опустив голову. Помолчал и я: следующее слово уж никак не должно быть мое. Прошло полминуты или около того.

«Что ж ты, Такса, наврал, — сказала наконец Светик, медленно запуская ложку фисташкового мороженого в кофе и внимательно глядя, как зеленоватая масса расходится в горячем черном напитке. — Ты говорил, что Кларкин отец — диссидент, писатель, в тюрьме сидел. А он, оказывается, самый обычный пошлый миллионер. Новый русский с очень дурным вкусом. Вот в Лас-Вегас собрался... Скучно-то как! Скучно и отвратительно. У вас есть малиновый пиджак?» Она посмотрела на меня. В глазах у нее стояли слезы. Потрясающе красивая юная женщина.

«Хочешь проиграть свой магазин?» — Такса, кажется, немного опомнился и начал понимать, что я не шучу. Или что содержание шутки — и есть поездка в казино. Шутка действием. Зигзаг. Так позволяют себе шутить богатые люди.

«Или выиграть еще один — для тебя, Такса. В рулетку. Хочу откупить у тебя Лелькину квартиру. Сейчас она стоит тысяч сто или даже чуть больше. Отдашь? Будем ставить на «зеро», как *бабушка* у Достоевского...»

Про «зеро» и *бабушку* я сказал специально для Светика: будучи подругой Таксы она не могла не прочитать «Игрока».

«Чтобы выиграть в рулетку, надо купить казино», — сказал Такса. Несчастный игроман, он, конечно, хорошо усвоил эту всем известную истину, но в глубине души верил, что бывают исключения.

«Все риски мои, — сказал я, — эти деньги я действительно выиграл в рулетку, и если завтра мы все проиграем, это будет только справедливо».

«Что скажешь?» — Такса смотрел на Светика. Она молча пожала плечами, и он снова повернулся ко мне:

«Тысяч двадцать хоть есть у тебя?»

«Вот слушай, Такса, — сказал я. — Я завтра куплю у тебя питерскую квартиру, но с двумя условиями: во-первых, расплачусь не деньгами, а фишками в казино. Если после этого ты выиграешь — прекрасно! Откроешь здесь свое дело. Но если все просадишь, то возвращаешься в Россию и становишься моим компаньоном на Старом Арбате — и это второе условие. Прошу принять во внимание: у меня в кармане билет на после-послезавтрашний вечерний рейс Нью Йорк — Париж. Ни сдавать билет, ни менять рейс я не буду. И скажу сразу, нью-йоркский Музей современного искусства и другие здешние музеи меня не интересуют».

Я *знал*, что они хотели свозить меня на экскурсию именно в МоМА.

Молча ели мороженое и пили кофе. Коньяк был допит еще раньше.

«Ну что, Светик, полетишь со мной?» — сказал наконец Такса. Он все-таки был несколько растерян. Относиться к моим словам всерьез было бы глупо. Но говорил-то я совершенно серьезно. Как это — отказаться от неожиданно свалившейся на голову возможности с большими деньгами сыграть в Лас-Вегасе?

«Полечу куда?» — спросила она.

«Ну, не в Москву же!»

Она опять молча пожала плечами. Кажется, она начала понимать, что все здесь совсем не так просто, как показалось сначала.

«Ладно, ребята, — сказал я, — подумайте. До завтра. Я вас люблю, но, право, начинаю засыпать. Вот визитка моей гостиницы, номер 313. Если завтра лететь, то как можно раньше. Если же откажетесь... ну что же... так и быть, тогда Светик сводит меня в МоМА. В конце концов, сыграть я и в Европе могу, без вас. В каком-нибудь Рулетенбурге. Например, в Монте-Карло».

Я заложил две сотенные купюры в меню и рукой помахал проезжавшему мимо свободному такси...

...Звонок Таксы разбудил меня в шесть утра:

«Я заказал три билета на 8.30».

«Отлично, через час встречаемся в Ла Гвардии у стойки регистрации, моя гостиница тут рядом...»

Это только внешне все выглядело авантюрой дурного вкуса. Идея возникла давно: еще лет десять назад в каком-то из текстов о предсказаниях и предсказателях — такие статьи время от времени попадались в советских научно-популярных журналах — автор-психолог не без иронии замечал, что, мол, почему-то никто из «ясновидящих» не стремится доказать свои способности самым простым способом: пойти в ближайшее казино. Текст, видимо, был западного автора: в Советском Союзе никаких казино не было. Первые открылись в Москве в 90–91 годах. И я попробовал... В карты ничего не получилось, я ничего не чувствовал, ничего *не знал* — и проигрывал. А вот в рулетку — там, где крупье задавал вращение диска и в противоход бросал шарик, — я почти всегда мог выиграть: оказалось, здесь я *знаю*, какой номер выпадет. Правда, это мое *знание* приходило только уже в тот момент, когда крупье задал (или задала — с женщинами получалось даже лучше) движение, — тут-то и надо было поторопиться сделать ставку... И конечно, я сразу понял, почему никто из «ясновидящих» (если они есть на самом деле) не торопится в казино. Или, по крайней мере, никак не афиширует свои способности выигрывать: если о таком человеке станет известно в кругах игорного бизнеса, можно не сомневаться, он долго не проживет.

Понимая это, я не спешил и растянул все мероприятие на год. За год я не торопясь прошелся по московским казино («Клуб N», «Кингс», «Валери», «Москва» в гостинице Ленинградская и др.), съездил и в Питер, оттуда смотался в Таллин и даже в Хельсинки на один день — и выиграл в общей сложности что-то под двести тысяч долларов. Тактика была всюду одна и та же: я начинал с того, что блефовал, делал несколько случайных, проигрышных ставок, хотя фишки брал сразу максимального достоинства — 20 штук и играл всегда в VIP-зоне. Ставил сначала по одной — проигрывал, выигрывал — потом по две, потом, якобы входя в азарт, по пять. Потом ставил сразу десять фишек на street — в этот момент я *знал*, что выпадет один из трех номеров, — и выигрывал 11 к 1. Дальше я уже ставил от 5 до 10 фишек. Раза три-четыре ставил на два номера (split) — и проигрывал. Потом, *зная*, что выпадет один из двух номеров, я ставил на split и выигрывал 17 к 1. И еще раз ставил на какие-нибудь три номера — и снова *знал*, что выиграю, и выигрывал. В конце концов, (как будто в азарт вошел) начинал делать ставки на один номер (straight) — и несколько раз проигрывал. И наконец делал большую ставку на номер, *зная*, что именно он выпадет. И выигрывал 35 к 1... После этого я делал еще 5–6 неудачных ставок — и заканчивал игру... За один раз выигрывал от 10 до 30 тысяч — в зависимости от разрешенной максимальной ставки в заведении. Нигде, ни в одном казино не играл дважды. И никогда не играл в двух казино одной и той же игровой компании. Знал: заподозрят — убьют.

Что ж, возвращение Таксы в Москву обошлось мне в 120 тысяч. Вернее, не мне, а Бобу Ступаку, известному владельцу казино «Vegas World», чьи портреты

висели всюду по стенам в залах казино, были вытканы на коврах под ногами и даже отпечатаны на фишках... Мы играли в VIP-зоне, ставки делали большие. Такса играл с переменным успехом, в какой-то момент у него была огромная гора выигранных чипов, но в конце концов, к утру следующего дня он просадил все сто тысяч. Я ночью спал, и когда утром спустился в зал, Такса сказал, что ждет меня: мол, питерская квартира стоит сто двадцать, — он якобы узнавал, — и потребовал, чтобы я дал ему еще двадцать. Он был страшно возбужден: у него в руках никогда не было таких денег, и он никогда не проигрывал столько. Да он еще и пил все время — благо выпивка была бесплатной. Мне казалось, что еще немного — и у него поедет крыша. Я чувствовал себя Мефистофелем. «Помнишь условие?» — спросил я. Он молча протянул руку, и я положил ему в ладонь кредитную карту: на этой карте оставалось ровно двадцать тысяч. Он играл за соседним столом, и я видел, что в какой-то момент он отыгрался. Но потом опять начал проигрывать. Тут он подошел ко мне и сказал, что сделает перерыв, поднимется в номер поспать. Вечером мы с ним, видимо, разминулись, но когда на третий день утром я спустился вниз, он уже не играл, но сидел все в той же VIP-зоне за столиком кафе и пил бесплатное пиво. «Что это за мужик?» — спросил он. «Где?» — я оглянулся, за мной шли две хохочущие, видимо, уже с утра хорошо поддатые девицы. «С тобой или за тобой шел рыжий мужик в сером костюме». «У тебя, старик, начинается паранойя». «Ладно, может, показалось. И немудрено — такая встряска... Знаешь, если бы я свои деньги проиграл, я бы, может, застрелился, — сказал он, впрочем, довольно спокойно. — А так — спасибо, брат, за доставленное удовольствие. Ты меня купил. Летим в Москву завоевывать Старый Арбат. С твоим фартом всех победим. Только теперь уж мое условие, — он взял меня за руку и посмотрел мне в глаза каким-то жалким, просящим взглядом. — Ты можешь меня закодировать?» Я кивнул: «Даже не заметишь».

Я дал ему немного чипов, чтобы он поиграл по маленькой, — мне надо было выиграть еще тысяч семьдесят, чтобы не только оправдать потери, но и увезти отсюда хотя бы тысяч сто пятьдесят на раскрутку магазина. Как-никак теперь предстояло еще купить приличную квартиру в Москве — для Таксы... На обратном пути я предполагал сгонять из Парижа на пару дней в Монако и там добавить еще хотя бы сотню.

Такса прилетел в Москву через два месяца.

А Светика с нами в Лас-Вегасе не было. Такса сказал, что после «Греческого капитана» она уехала к родителям и ее телефон больше не отвечал. Он оставил ей сообщение с номером рейса, но она не появилась. Мы разговорились о ней на обратном пути в Нью-Йорк, выпивая в самолете. «Жалко, потерял красотку», — сказал я. «Кто? Я? У меня что, крыша поехала? — Такса вздохнул и налил себе виски. — Конечно, разница двадцать с лишним лет в любую сторону нас никогда не останавливала. Но здесь другой случай. У нее жених — миллиардер, архитектор, не то сын Джобса, не то внук Сороса. Замечательный парень! Я доставал ему альбомы по русскому деревянному зодчеству. Светик и сама интересуется древностью. Кстати, в то утро она и зашла за книгами, и о твоей книге про Суздаль спрашивала. Увы, у меня нет. А тут ты сам позвонил: здрасьте, приехал!»

Через три дня в Париже в скромной гостиничке «Le vigniarde de Montmartre» на обратной, не парадной стороне монмартрского холма, где я остановился, портье вручил мне телеграмму из Нью-Йорка: «Chekhov sochinenija 1963 tom 9 «Chaika» stranitsa 460 stroka 3 snizu». Я, конечно, усмехнулся: какая, однако, литературная девушка эта Светлана Шварц. И вспомнил ее взгляд. И светло-карие глаза, полные слез.

(Окончание следует)

Александр Хургин

Везде люди живут

Рассказы

Ошибка охранника

I

Вечерние смены Густаву нравятся. Но меньше, чем утренние. Вечером народу больше и работать сложнее. Зато перед работой можно позволить себе бутылочку пива. В обед. Как он любит. Обычно-то Густав ее себе не позволяет, но знает, что это можно, разрешено.

Он лысоват, толстоват и чуть хамоват. А также здоров и огромен. И согласно своим способностям, работает тайным охранником в гипермаркете «ТОМ». Ходит с тележкой под маской рядового покупателя и следит. Чтобы кто-нибудь чего не спер. А тех, кто спирает — безжалостно скручивает, вплоть до того, что кладет лицом в пол и удерживает до прибытия полиции. Особенно он настораживается, когда слышит русскую речь. Не потому, что русские, в смысле немцы из Казахстана и евреи отовсюду, воруют больше других, просто русская речь его настораживает. Возможно, это гены. В смену нахаживает Густав до пятнадцати километров. И по числу поимок ему нет равных. За это он регулярно получает от шефа благодарности. А премий не получает. Так как ловить воров входит в его служебный долг.

В нерабочее время Густав живет один. У него нет ни жены, ни подруги. Поэтому он посещает пуф[1] на Ляйпцигерштрассе. Правда, редко. Раз в месяц. В пуфе Густав берет всегда одну и ту же девушку — Наташу. Она то ли русская, то ли чешка, то ли полька. Но в данном случае национальный вопрос Густава не волнует. Потому что в Наташе ему нравится совсем другое. И ей в нем, наверно, тоже что-то нравится. Не зря же она просит его приходить почаще. На эти просьбы Густав не отвечает. Молчит, и все. В конце концов, это его дело — когда приходить и как часто. Не может же он посвящать Наташе все свободное время и все свободные деньги. Он должен ходить и в пивную, и в боулинг, и в фитнес-клуб. И на отпуск себе откладывать должен. И на старость.

Зато он думает о Наташе на работе. Думать в любом случае о чем-нибудь нужно. Он думает о ней. Особенно если видит девушку, на нее похожую.

Эта девица, кстати, тоже Наташу напоминала. Хотя видел он ее только со

Александр Хургин родился в 1952-м году в Москве. Большую часть жизнь прожил на Украине. С 2003-го живет в Германии. Автор десяти книг прозы, лауреат нескольких литературных премий. Рассказы переводились на немецкий, французский, английский, испанский, венгерский и другие европейские языки.

[1] Публичный дом.

спины. Спина показалась ему подозрительной. Такая узкая, суетливая спина. И, конечно, девица сунула в рюкзак бутылку Мартеля и палку салями. А чипсы, багет и лимон в тележку положила. Для отвода глаз. Чтобы за них, значит, заплатить в кассе. И он все это издали профессионально заметил. Приблизился к ней сквозь толпу покупателей. Занял выгодную позицию и, как только она расплатилась, налетел с тылу. Хотел по привычке затолкать в служебное помещение, но она с перепугу от него увернулась. Пришлось завалить ее на пол прямо у касс. Чтоб уж не ускользнула. Из-под ста двадцати килограммов. А она, надо отдать ей должное, хотела. Извивалась и что-то такое сипела, ругательное. «Arschloch, Scheisse»[1] и тому подобные гадости.

И вот, лежат они на полу в два этажа, люди мимо тележки катят, некоторые через них переступают, а полиция не едет. Обычно через минуту-две на месте. А тут не едет. И, конечно, девица эта, под охранником — пытаясь его сбросить — начинает делать неприлично-поступательные движения задом, передающиеся телу охранника тоже. При этом она кричит:

— Насилуют!

— Не насилуют, а фиксируют, — говорит охранник.

А она свое:

— Насилуют, спасите!

Естественно, покупатели их понемногу обступили. В возмущении. Цивилизованная страна все же. Не какой-нибудь Бангладеш. Обступили, стоят-ждут. Чем дело кончится. И вот тут уже появляется полиция.

— Быстрее, — говорят покупатели, — здесь девушку насилуют. У нас на глазах.

Полиция говорит:

— Интересно.

А охранник говорит:

— Да вы что? Да я ж... Да вы ж меня знаете.

Полицейские стоят молча — все незнакомые. Может, новенькие. Но самое главное, поглядел он наконец на отловленную девицу. Вблизи. И охренел.

— Не та, — только и смог выговорить.

И еще:

— Как же это?

Потом начал он нервничать и удивляться:

— А где же та?

В общем, подхватили охранника под руки и в бус полицейский культурно запихнули. Пострадавшая и три самых активных свидетеля тоже туда влезли. Чтобы ехать в участок. Но охранник стал вырываться и орать, что должен поймать воровку, которая с Мартелем, иначе она безнаказанно уйдет. Полицейские его, конечно, наручниками к себе пристегнули. Чтоб не дергался. «Сопротивление полиции, — говорят, — знаешь, чем пахнет?» А один из них еще и воздух в себя потянул носом:

— О, — говорит, — да он пьян.

И надо же было Густаву именно сегодня эту разрешенную бутылку пива выпить. Запах-то пивной в нем долго держится. Свойство организма такое. Особенность.

— Кто пьян? — возмутился Густав. — Я в двенадцать часов одну бутылку пива всего. За обедом. Имею право.

А полицейский с тонким нюхом говорит:

— Поори тут еще, поори.

---

[1] Распространенные немецкие ругательства. Означают «дырка в жопе» и «дерьмо».

II

В отличие от Густава Инна красива и беспечна. И не может закончить университет. Седьмой год учится, и все никак. Бывает. Естественно, стипендию давно не платят. Поэтому она в пятницу и выходные работает. Официанткой в греческом ресторане — там хозяин русский и почти весь персонал. А в остальные дни Инна подрабатывает в пуфе на Ляйпцигерштрассе. Если есть желание. По свободному графику. Руководство пуфа ей всегда радо, потому что она пользуется спросом и хорошо владеет профессией. Но все равно денег, чтобы жить достойно в свое удовольствие, не хватает. А жить без удовольствия Инна считает унизительным. Но живет, конечно. И мирится с тем, что государство доплачивает ей за квартиру. Как малообеспеченной. На том же основании она ворует в супермаркетах. Не часто и не много. Под настроение. Ну, там бутылку хорошего коньяка. Или палку итальянской колбасы. Той же салями «Милано». Чтобы устроить небольшой праздник. Себе и подругам. Потому что, как говорят немцы, Spass muss sein![1] И они правы. Не всегда, но тут — точно.

Короче, прибежала она домой, где подруги ее ждали. Отдышалась.

— Еле, — говорит, — ноги унесла.

Подруги говорят:

— От кого?

А она:

— Да от воздыхателя Наташкиного. Следил за мной в «ТОМе». Чтобы поймать.

— Ну?

— Ну и не поймал. Спутал с какой-то телкой. Я задницей почувствовала, что он меня ловит, и в щель за полки нырнула, из толпы. Хотела выложить все из рюкзака. А он на другую накинулся. По ошибке. Ну, пока то-се, я расплатилась и ходу.

— А с другой, той — что? — Наташка спрашивает.

— Да ничего. Он ее повалил, а она начала вопить, что ее насилуют. Размечталась. Полиция приехала и его повязали.

— Как? Он же охранник.

— А я знаю как? Видела, что повязали. Ладно, давайте гулять.

Они нарезали лимон, колбасу, багет, разорвали упаковку на чипсах. И стали выпивать. Только молча почему-то. Сидят, выпивают потихоньку. Как на похоронах. Ну еще заедают выпитое. Кто лимоном, кто чипсами, кто колбасой. И настроение у всех постепенно портится. Почему — неясно.

А потом, через время, по местному ТВ Инна сюжет увидела. Как охранника этого судили. Правда, ему повезло — от изнасилования отвертеться удалось. Все свидетели под присягой утверждали, что он делал характерные движения нижней частью туловища. Но адвокат потребовал провести следственный эксперимент и доказал, что не обвиняемый их делал, а потерпевшая. А обвиняемому они только передавались по законам физики. И алкоголя в крови у него, считай, не обнаружили. Хотя за превышение полномочий, оскорбление действием, насилие над личностью и нанесение травм легкой тяжести — все-таки осудили. Охранник оправдывался, мол, я же воровку задерживал, будучи при исполнении. А судья сказал: «Задерживать надо, не унижая преступника и его человеческое достоинство. Тем более что вы невиновную задержали».

---

[1] Удовольствие должно быть.

И проснулась после этих новостей в Инне совесть. И давай ее грызть. Раньше она не знала, что это такое. Вообще не знала. И даже родная мать ее бессовестной называла. Из-за пуфа. А тут на тебе. Грызет и грызет. На ровном, считай, месте. То есть, конечно, не совсем на ровном. Все-таки человека из-за нее посадили. Считай, ни за что. Вот это, видно, ее и мучило. Что из-за нее и ни за что.

И решила она идти на прием в тюрьму. Просить свидания. Пришла.

Ей говорят:

— Какое свидание, он понедельно наказание отбывает. В воскресенье выйдет, и свиданничайте сколько влезет.

А она говорит:

— Понимаете, мне очень надо.

Ей объясняют, что нету ни причин, ни оснований. А она: «Мне надо. Понимаете?»

Ну и в итоге тюремное начальство сказало:

— Дайте свидание этой сумасшедшей.

И ей дали свидание. Привели Густава.

Он смотрит — девка какая-то красивая. Красивее Наташи.

— Ты кто? — говорит.

А она:

— Я хочу спросить, может, нужно тебе чего?

А он:

— Да нет, я по неделе сижу. В счет отпуска на работе беру и прихожу сидеть.

— А когда кончится отпуск?

— Когда кончится, придумаю что-нибудь.

— Это хорошо, — она говорит.

А он:

— Тебя как зовут?

— Инна.

— Где-то я тебя, Инна, видел.

— Какая разница, — она говорит, — где.

— Никакой, — он соглашается. — Действительно.

Ну, так поговорили они ни о чем, и ей на душе полегчало. И отлегло вроде. Встала она, чтобы уходить.

— Будь здоров, — говорит, — увидимся.

А он:

— Да я здоров. И увидеться, — говорит, — совершенно не против.

Говорит, а сам ее разглядывает в упор мучительно. И:

— Где же, — говорит, — я тебя раньше видел? Ну где?

Так и не вспомнил.

Новокузнецкий холодильник

Пришел Петров с митинга, где за лучшую жизнь родной страны ногами голосовал и боролся, а будто и не ходил никуда. Никаких внутри Петрова не произошло тектонических сдвигов. И вне Петрова, в стране то есть, не произошло. Потому что в его, Петрова, стране что бы ни происходило — все равно ничего не происходит и не меняется никогда. А должно же. Меняться. Петров это хорошо понимает. Правда, что именно нужно менять в стране, он не знает. Но что нужно — уверен. Сколько же можно не менять? Вот он и ходил. К сожалению,

без толку. Потому что не только в стране, но даже и в квартире Петрова ничего от этого не изменилось. Те же стол и кровать, та же кухня Игренской мебельной фабрики грез, тот же холодильник. Петров, между прочим, и на митинге нес лозунг насчет естественной ротации холодильников в быту. Звучал этот несомый им лозунг приблизительно так: «Долой старый холодильник! Мы выбираем новый». Что-то вроде этого, в общем. Точнее смысла своего лозунга Петров не помнил. Он же его на память не учил. А какой попался, такой в массы и понес восторженно.

И взяла Петрова тоска. Ну прямо за живое взяла и за жабры. Хоть снова на митинг иди. Благо их на каждом шагу пока до хрена и больше. И на любой вкус. Хотя со временем, конечно, число митингов на душу населения решительно поубавится. Это все прогнозируют. Потому что это не глядя видно.

А тут вдруг друг Петрову звонит юных лет. Из глубины сибирских руд, в смысле из Новокузнецка.

— Холодильник, — говорит, — хочешь?

— Какой холодильник? — Петров не понимает и спрашивает.

— Белый, — говорит друг, — ненадеванный. Я, — говорит, — сыну его купил и невесте его долбаной для украшения дома и семейного очага. А они расходятся на все четыре стороны. Не дожив до торжественного бракосочетания три дня. Хотел вернуть его обратно продавцам — чуть не убили. А мне он без надобности, у меня их три. Вот я о тебе и вспомнил. И о юности нашей минувшей, как лето, тоже вспомнил.

«Холодильник, конечно, жалко. В Новокузнецке оставлять. Кому он там, в Новокузнецке, нужен? А нам бы, в южных широтах, зачем-нибудь пригодился, — Петров думает. — Но как же он ко мне попадет? Авиапочтой? Или в багажном вагоне возможно скорого поезда? И во что это обойдется моему одинокому семейному бюджету?»

— Я даже не знаю, — говорит Петров, — за морем, как говорится, телушка полушка, да рупь перевоз.

Друг говорит:

— Какой перевоз?

— Ну холодильника.

Друг задумался и говорит:

— Да это вот... — согласился, значит.

Вообще-то, честно говоря, холодильник был Петрову не то чтобы позарез. Он и на митинг ходил не холодильника ради, а за идею демократического централизма и счастье в личной жизни всего человечества России. Из принципа то есть и идейных побуждений. Холодильник у Петрова имелся в рабочем порядке и состоянии. Хороший холодильник, антикварный, можно сказать, «ЗИЛ». В смысле «Днепр». Ну, или, может быть, «Минск» — у него название отвалилось еще при Андропове. А дочке конечно да, дочке как женщине без холодильника противоестественно жить на свете. Петров это осознает. И дочкой своей заслуженно дорожит. А также гордится. Дочка Петрова при всем своем уме, красоте и трезвой памяти — человек легкий и веселый. И зовут ее Елена Викторовна. Образование — высшее. Это притом что и сам Петров отнюдь не лишен интеллигентности, а также и некоторых энциклопедических знаний. Но больше всего на свете он любит высокохудожественную литературу. Так что холодильник его вышеупомянутой дочке никак не повредил бы для полного в жизни счастья и домашнего тепла. Да и подарка ей Петров на этот Новый год никакого не дарил. И на прошлый тоже не дарил. И на позапрошлый. А холодильник, он бы к Восьмому марта все мог собой заслонить и с лихвой компенсировать. При удачном стечении обстоятельств.

— А сколько твоей дочке лет? — друг из Новокузнецка неожиданно спрашивает.

Петров ответ нашел не сразу. Поскольку был поставлен другом временно в тупик.

— Я так полагаю, двадцать три года ей. Если без подробностей, приблизительно. Никак не больше. А точно один бог знает и мать ее непутевая, с которой я лет двадцать живу в разных городах и весях. И отношений никаких не поддерживаю. Я с ней даже не ВКонтакте. У дочки тоже, конечно, можно уточнить, но ее что-то давно не видать. На горизонте.

— А сыну моему двадцать пять лет, — друг говорит. И продолжает свою речь долгим, продолжительным молчанием.

— Ты еще тут? — Петров у него после молчания спрашивает.

— Тут, — говорит друг и говорит: — Ну?

— Что — ну? — говорит Петров.

— Ничего, — говорит друг. И: — Можем, — говорит, — если их состыковать, породниться.

— А как же с холодильником?

— Так с холодильником. Я ж про это и говорю. Пускай сын мой берет холодильник под мышку и — к вам, с дочкой твоей серьезно знакомиться и в лучшем случае жениться. Вдруг на них любовь нечаянно нагрянет? А холодильник пускай будет свадебным подарком со стороны жениха невесте. От моего имени.

Перспектива стать не только другом, но и родственником своему новокузнецкому другу, Петрова, можно сказать, порадовала и взбодрила. Холодильник опять же для дочки нежданный-негаданный. Раз уж самому ему холодильник ни к чему. Подошел бы только ей сын новокузнецкого друга. И он, пытаясь выяснить хотя бы приблизительную степень духовности гипотетического родственника, спрашивает:

— А Доширака твой сын любит?

— Он всех любит, — говорит друг, — без разбору. Пол-Новокузнецка уже перелюбил, боюсь, как бы не прибили за грехи. А Доширак — это кто?

— Ты меня расстраиваешь, — говорит Петров. — Классику надо читать иногда.

— Ты же знаешь, — друг говорит, — я с молодых ногтей не по этому делу. Я музыку люблю, а не читать. Волшебную, например, флейту и Аллу, например, Пугачеву. Вот где классика так классика. Душа по швам трещит.

В общем, спорить Петров с другом и друг с Петровым про классику не стали. И вообще не стали. А договорились, что друг своего сына Петрову в самое ближайшее время как-либо вышлет. Само собой разумеется, вместе с холодильником. И он таки их выслал. Потому что новокузнецкий друг Петрова — человек слова. Как, впрочем, и дела.

А кончилось все это мероприятие немного печально. На минорной, можно сказать, ноте. Что и неудивительно. Потому что у нас все кончается печально и неудивительно. Особенно мероприятия.

Короче, как говорят в России, баб любят — щепки летят. Сын друга с холодильником приехал, дочку и пятерых ее знакомых подруг собой обаял и очаровал всех в порядке живой очереди до основанья. Но жениться на них на всех под благовидным предлогом отказался. Заявив тоном, не терпящим отлагательств, что вынужден их оставить и немедленно отбыть в неизвестном направлении, чтобы полюбить другую женщину. И отбыл. Возможно, что и в Новокузнецк. И холодильник увез туда же. После чего прекрасно до сих пор работавший антикварный «Минск» Петрова сразу и навсегда вышел из строя — сгорел. А дочка его, к счастью, так замуж никогда и не вышла. До конца своих дней.

Ольга Постникова

Тайна рождения

Рассказ

В армию Степан призван был с Украины, отслужил почти весь срок в танковых войсках, но перед самой его демобилизацией началась война. Стояли они тогда у западной границы, которая считалась справедливой границей между Советским Союзом и Польшей, когда немцы нам уступили территорию, входившую раньше в состав Российской империи.

Никаких укреплений на новой границе не было, и их не строили.

Осваивали новые легкие танки, а жили в казармах польских улан. В городке, где расположилась их часть, среди добротных домиков из серого камня росли аккуратно подпиленные, подстриженные деревья. Попадалось на улицах на удивление много католических священников в их странной одежде. Деревянные распятия и каплицы стояли по сторонам дорог. И когда они, солдаты, шли через весь город в баню, держа в руках свертки со сменой белья, девушки стояли вдоль улицы и смотрели, как они идут почти строем.

Для Степана не было вопроса, он знал, что в тридцать девятом мы никого не завоевывали, мы освобождали. Он уверен был, что население Западной Украины и Западной Белоруссии действительно было радо нашему приходу, хотело его. А если бы мы не вступили в те города и села, кто занял бы тогда эти территории, кто вошел бы и в сам Львов? Немцы! Степан считал, что все было правильно. Но в то же время, особенно после того, как от местных услышал впрямую, что под поляками было лучше, его вдруг смутило подозрение, что тут что-то не то, в этом договоре с Германией. Словно из страны, главной в борьбе с фашизмом, мы стали кем-то другим!

Как раз тут и застала его война. Развертывалась она так стремительно, что невозможно было ничего понять. Их часть попала в окружение. Командиры этих мест не знали где идем, куда идем, ни карты, ничего. И они шли небольшими

Постникова Ольга Николаевна (род. в 1943, д. Евдаково Воронежской области). Живет в Москве. Окончила МИТХТ им. Ломоносова, работала в Центральных научно-реставрационных проектных мастерских. Технолог-реставратор высшей категории. Участвовала в реставрации смоленских, тверских и московских храмов, памятников архитектуры Московского Кремля. Сейчас преподает на кафедре реставрации РГГУ. Стихи и рассказы публиковались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов», «Предлог», «Грани», «Вопросы литературы». Автор 5 книг стихотворений, а также прозы: «Роман на два голоса» («Континент», 2000) и «Радуйся!» (изд. «Новый хронограф», 2010). Удостоена литературной премии Фонда А.Тепфера, Германия.

группами. Но, отступая, думали: дойдем до старой границы и все! Будет другая война. Дадим бой, закрепимся и тогда ни шагу назад, вернее, ни шагу вперед немцам!

Самое неожиданное, что, когда они дошли до старой границы, то увидели, что она, старая эта граница, уничтожена. Раньше были огневые позиции и хода сообщения, а потом, после договора с Гитлером все было разрушено. Степан был страшно поражен, когда увидел дот высотой в полтора дома, который высился, выбитый из-под земли взрывом. Крепкий бетон и бойницы, каменная громадная кубатура... Что мы наделали! Если бы старая граница оставалась в прежнем виде, война по-другому началась бы! О чем мы думали? Это сколько надо было угробить взрывчатки, чтобы все это повзрывать!

Тогда, в окружении он и получил первое свое ранение. Ранило его в ногу. И пришлось остаться в деревеньке, в хате, без медицинской помощи, а рана уже гнила. И хозяйка-старуха, что приютила его, красноармейца, знавшая, что когда немцы придут, то ей несдобровать (а они уже стояли в соседнем местечке), ничего не могла сделать. Медикаментов никаких не было. И она приводила к его постели собаку, и Степанову ногу, черную его огромную язву, мазала сметаной, а собака — рыжий увалень-щенок — вылизывала ему рану. И в очередной раз внося в хату блюдце прокисших сливок, старуха грозила пальцем, мол, сам не ешь, это Пудику. И рана быстро очистилась и затянулась. Степан ушел из деревни и через некоторое время выбрался к своим. Стал повозничим, при лошадях, такая ему назначена была служба, потому что там, куда он попал, никаких танков не было. Танки на переднем крае не стоят, иначе бы их все побили.

А дома у него был уже сын, которого он никогда не видел, потому что тот родился после того, как отца забрали в армию. И это только в кино командир вдруг отпускает отличившегося бойца на побывку домой, а Степан за всю войну не знал ни одного такого случая.

А потом он стал ординарцем у полковника. Обычно ординарец, связной, как говорили тогда, — это мальчишка на побегушках, но тут оказался такой полковник, что выбрал себе на службу немолодого солдата, вернее, молодого еще годами, но более обстрелянного, бывалого уже. Вспоминая это время, Степан шутил потом, что всю войну проходил в начищенных сапогах...

И вот в сорок четвертом, когда выгрузились они в Мазовецке, Степан, из тощего чернявого парнишки превратившийся в высокого, с отличной выправкой бойца, оказался снова в Польше. Но много чего было уже у него за плечами, и годы, что пробыл он на войне, уже висели на нем пудами солдатского опыта.

Когда двигались они на запад и узнали от местных жителей, что рядом немецкий концлагерь, первой реакцией было — немедленно освобождать узников. Взламывали ворота, рубили кабель, питавший электричеством колючую проволоку. Но в этом деле столкнулись с запретом высшего командования. Эти операции были неплановые и тратить на них боеприпасы, горючее, технику запрещалось. Заключенные радовались спасению, их старались накормить, но они были так изможденны и оборваны, что и речи не могло идти о присоединении к нашим частям этих бывших военных, попавших в плен. И, прощаясь с узниками, остающимися опять в своем лагере, как тяжело было объяснить, что мы идем на запад, в тыл врага, и что отправить их в расположение основных сил Красной армии пока невозможно, потому что до нее сотни километров земли, еще занятой немцами...

Но с немцев уже сбили спесь, и они теперь держали себя совсем не так, как в начале войны, когда даже взятые в плен фашисты не скрывали своего превосходства и на русского солдата смотрели как на какое-то животное, на какое-то недоразвитое существо. Теперь они вели себя иначе. Как-то наши приволокли «языка» и стали его допрашивать. На беду, когда его брали, тот пытался бежать, пришлось в него стрелять, и он был ранен в ногу и в живот. Допрос его не дал толку, потому что на все вопросы немец отвечал одним словом «капут». И Степан описывал в письме домой эту анекдотическую историю: «Спрашивают: — Какой части? — Капут. — Какого полка? — Капут. А потом немец вдруг подох».

Когда вошли в Польшу, снега еще не было, так только, по лесочкам чуть-чуть. Здесь многое изменилось, и даже деревья на городских улицах теперь были другие — как метелки, с сучьями, торчащими вверх. Двигались по грязным разбитым дорогам. А перед самым Новым годом прибыли в большое село и очень спешили, чтобы не встречать Новый год на ходу, на марше. Полковник разместился в небольшом чистеньком доме, где хозяйничали две женщины. Хозяйка, пани Марина была красивая, статная полька, а ее сестра — помоложе, помельче.

Степана пригласили праздновать Новый год в батальоне, но полковник велел ему оставаться в доме, где собрались за столом старшие офицеры. Новый год встречали с хозяевами вместе, добыли две бутылки бимбара, были консервы и пирог от хозяйки. Она была очень хороша, настоящая польская панна, и Степан, вспомнив несколько польских слов, обращался к ней: «Проше пани».

В этот день, тридцать первого, на переднем крае было тихо, ночь светлая. Велась только редкая снайперская стрельба с обеих сторон. Ровно в двенадцать подняли стаканы, и тут наша артиллерия и минометы открыли огонь по намеченным ранее целям, а фрицы зажгли по всему фронту ракеты тревоги.

За столом заговорили о том, где встречали Новый год в сорок первом, в сорок втором, в сорок третьем, каждый вспомнил свой город, свою семью. Степан тоже думал о доме, в котором, получается, не был почти пять лет.

В два часа ночи, когда наступает новый год по берлинскому времени, в свою очередь, получили артиллерийское новогоднее «поздравление» от немцев. И чтобы отпраздновать Новый год и по берлинскому времени, ударили по немецким траншеям. «Катюша» наддавала, шипя, как паровоз, спускающий пары. Крепко прижало. Домик трясся от близких разрывов, с полок падала посуда, и подгулявшие уже офицеры повскакивали из-за стола. И вот во время обстрела, в какой-то момент Степана бросило к стене и на минуту они с пани Мариной оказались совсем близко, прижатые друг к другу. Он увидел устремленные на него испуганные ее глаза и грудь в вырезе праздничного платья.

Дом пострадал, но все обошлось. А Степан не мог прийти в себя от потрясения, от этого случайного прикосновения, от этих засиявших приязнью к нему голубых глаз, когда обдало всего его вдруг ароматом телесного женского тепла («Духи, что ли? Черт возьми!»)...

Наступило утро первого января, но он не мог больше оставаться в доме, вышел на улицу и в двенадцать тридцать пошел в костел слушать молебен. Дома, на Украине никогда в церковь не ходил, в Бога не верил, а в свое время,

будучи активным пионером, даже распространял среди школьников газету «Безбожник», стоившую одну копейку.

Старик-ксендз торжественно и спокойно отправлял службу. Прекрасно спевшийся хор — одни девушки — оглашал костел пением высоких голосов. Потом ксендз взошел на кафедру, похожую на большую птичью клетку, и стал читать проповедь. Степан ничего не понял из нее, но слова «русская армия» употреблялись достаточно часто, и разговор шел, видимо, о даровании победы. Потом был торжественный обед, с самогоном, с пивом.

Когда Степан только вселился при своем полковнике в дом на постой, с женщиной этой, с хозяйкой, он говорил лишь о необходимых вещах полковничьего быта. Замечал иногда на себе ее спокойный печальный взгляд, а сам только вздыхал, наглядеться не в силах на такую красоту. Но потом, после Нового года...

Мужа у нее не было, она была незамужней и, наверное, постарше его. Разговаривать было трудно, и она как-то уж очень часто говорила: «Не вэм» («Не знаю»). Он ей не рассказывал о жене и доме, а все о чем-то другом, невоенном. А ночью не надо было разговаривать, он только стонал: «Как же ты даешь!» и летал до потолка. И так всю неделю, что еще оставались они тут. Он словно переродился за то время, что был возле пани Марины. Не просто переспал, а серьезно, душевно привязался.

Но все задачи полка здесь уже были выполнены, их части отводили в резерв, надо было возвращаться в тыл. Горестно спрашивал Степан самого себя, мол, встретимся ли когда? Обычное на войне чувство, что прощаемся навсегда, было каким-то особенно острым. Пани Марина понимала по-русски, но не говорила ничего, а в последний день только и спросила: «Запомнишь мне?» И Степан подумал: «Еще как запомню!»

Когда отходили, пришлось пробираться через лес в полной темноте. Противник засек колонну и повел обстрел из пушек и шестиствольных минометов. Водитель у полковника был из нового пополнения. Чтобы легче было ориентироваться, Степан стоял на подножке и показывал водителю дорогу. Тот нервничал и при каждом разрыве снаряда или мины рвал руль, и машина летела напропалую.

Этот переход закончил Степан в медсанбате. Досталось ему так, что товарищи, дотащившие его, сначала даже не могли переложить его с носилок на топчан, Степан буквально разваливался на части, поврежден был позвоночник.

Потом его переправили в полевой госпиталь. Когда положили на операционный стол, Степан от боли весь выгибался. Вкололи что-то, ввели наркоз, а затем дали выпить сто граммов чистого спирта. И стало терпимо. И он словно отделился от своего тела, от этого своего мяса, которое сочилось желтоватой кровью. И перед тем как впасть в сон, сколько-то минут, будто бы со стороны и даже сверху, видел свою располосованную спину, видел, как врач копается в ране, а кто-то держит над столом масляную лампу. Операция длилась несколько часов, и он проспал все, а когда прокинулся, уже наложили гипс от пальцев ног до горла, и он уже стал целый. Целый, но в своем гипсовом футляре очень тяжелый, хотя движения теперь не вызывали боли, только если кашлянешь...

А через некоторое время госпиталь стали очищать от ранбольных перед новым наступлением. И повезли в тыл, в теплушках, то есть в тех же товарных

вагонах с двухэтажными нарами и печкой. Степан был комиссован и отправлен как инвалид второй группы по месту жительства. Отвоевался!

А в сорок девятом Степан был уже кормильцем большой семьи: два сына и дочка, и жена опять ждала ребенка. И когда родилась девочка, самая младшая, назвали ее Марина.

Девочка эта была странной, она была не похожа на других детей, не похожа даже и на своих братьев и сестру. В семье все были черноволосые, с большими руками и ступнями, а эта — светленькая, голубоглазая, с маленькими ножками и тонкими пальцами. И все думала о чем-то своем, задумчивая была. Когда начиналась по радио классическая музыка, репродуктор сразу выключали, но как-то мать заметила: Марина сидит и слушает, шейку вытянула. Мать ей: «Ты что, слушаешь, что ли? Да что ты понимаешь?!» — рассердилась даже. Но вообще Марину в семье очень любили и мать, и отец.

Училась Марина хорошо, но ни с кем в классе не дружила. Мариной, не Машей, не Маней, звали ее дома. И она призналась как-то, что ненавидит это свое имя, почему ее так назвали? Мать объясняла, что так звали ее бабушку — Мария, а отец отмалчивался.

И выросла такая красавица, что во всем городке не было ни одной девушки, с которой можно было бы ее сравнить. Семья простая, а эта — барышня и по виду, и по уму, и по манерам. Как же это могло произойти? Потом вышла замуж и жила уже на Урале, и у нее родились дети — девочка и мальчик, — но она была такая, что куда бы ни приехали они, где бы она ни работала, всегда была заметна и несравненна. И в Подмосковье, в районном центре, куда они перебрались позднее, ее даже называли «Мисс Красково», поскольку теперь и у нас вошло в обыкновение отмечать самых-самых.

А однажды, когда Марина давно уже была замужем и сыну ее исполнилось три года, они с мужем приехали туда, на Украину, к родителям. Отец был очень болен и как-то, когда остались они с Мариной один на один, рассказал ей, что с ним было в Польше. И она узнала и про пани Марину, и про это чудо, что она, его дочь, так похожа на ту польскую пани. Даже и волосы у нее такие же, как у той, даже и шрамик такой же над глазом!

Тут Марине и открылась тайна ее имени.

— Я знал, что так бывает, так бывает с лошадьми. Тот конь, что первым кобылу покроет, потом как-то остается во всех ее детях и от других отцов... Но то ясно — когда мать, а тут... — пытался Степан объяснить дочери природу вещей необъяснимых. Все старался он понять, каким образом та любовь отсветилась этой неизбывной красотой в его ребенке, в его девочке.

И тогда, от своего рассказа наполнившись вдруг какой-то бравой силой, какой-то мужской горделивостью, Степан позвал жену и стал требовать: «Дай мне сапоги, я их начищу!» Но уже не мог встать.

А потом Степан умер, умер скоро и легко, умер, так и не узнав, что означает на самом деле то слово, которое в селе под Мазовецком сказала ему на прощание пани Марина и которое он помнил всю жизнь. Ведь по-польски слово «запомнить» значит «забыть»!

Евгений Чигрин

Под старой лампой

* * *

...Мама кормила просто и вкусно:
Местная рыба, ещё картошка.
(Облако плыло. Было не грустно.)
В рот попадала каждая крошка.
Телик меха растягивал Геной
И пешеходы мчались по лужам...
И ни с какою музой-каменой
Я не общался... Скорее дружбам
Я доверялся! Бывало — дрался
На пустыре с дураком таким же,
Плакал-ругался, нервно смеялся,
Облако плыло всё выше, выше...
Точно кораблик облако плыло,
Что ему, белому, наш посёлок?
Всё это было? Конечно было...
Вечер сплетался в привычный морок.
Вот и сегодня облако это
Тихо плывёт над могилой мамы.
Мама кормила... К вечеру света
Как-то не густо от старой лампы.

* * *

Проснёшься: сколько Бога тут —
Церквушка, небеса
И мой зачуханный уют,
И эти голоса
Поющих ангелов и птиц...
И что ещё? Июль,
Лежащий до любых границ
В цвету: янтарь, лазурь.
Проснёшься: сколько тут Творца —
В листве и воробье
И жить захочешь до конца,
И что-то о судьбе
Проговоришь, так тихо, что,
Лишь ангелы поймут,
Да солнце (жёлтое шитво),
Что расплескалось тут.
И, может статься, души тех,
Которые ушли,
Оставив нам в наследство смех
И грусть всея земли.
Проснёшься: Знаменский собор,
Как родины цветок,
Который каменным расцвёл
И смотрит на восток.
И золотится всё вокруг...
В листве и воробье —
Творец... И в каждой букве звук,
И музыка везде.

Подмосковное

Занесено апрелем Подмосковье:
Сыпучий снег четвёртый день подряд.
Как холодов остатних послесловье —
Размах. Раскат.
Нахабино, Опалиха и вкупе
Всё Чернево забелено и как!
На Яндексе и в сводке на Ютубе
Такой же швах.

Чигрин Евгений Михайлович. Родился в 1961 г. Автор книги стихов «Погонщик» (М., 2012). Стихи переведены на арабский, английский, испанский и др. языки. Лауреат премии Сахалинского фонда культуры (1992), премии Константина Симонова (2011) и др. Живет в Красногорске.

Я тут хожу засыпанный стихами,
Обмолвился — снегами и ещё
Ловлю безмолвье, да шепчусь с ветрами
В какой-то счёт
Грядущего, которое за рощей?
В ту сторону, где Ангелово… Где?
Смотрю как свет, слабеющий и тощий
Еще везде,

Но будто обмирает в цепких дланях,
Валящейся на крыши полумглы,
И больше пустоты в моих карманах —
Пусты миры,
Где быть могли б созвездия, где Бога
Так много-много, что не угадать…
Прописан запах снега и хот-дога
И благодать

Жилья и лавок, лучшего собора
Успения, который визави
Сего стишка и автора, что скоро
Озябнет и
Зайдёт в подъезд, где граффити на стенах,
Салют тебе, сполна берущий ДЭЗ!
…Я тут брожу в химерах и в каменах
Снегам вразрез.

Снегам вразрез, в пальто из Поднебесной,
Да в сицилийской кепке набекрень —
Себе кажусь какой-то птицей местной…
Повсюду темь,
В которой — вот, затеплилась над Горкой,
Над Красной запоздалая звезда,
Подобно Той, которую так долго
Ждут завсегда.

Проснешься в пять

Проснёшься в пять, и пялишься как б*ы*?
Не разумея собственного мира,
В квадрате окон снеговой крупы
По самое нельзя! Растормошила

На письменность какая муза? Ты
С какого бодуна её приметил?
Бывал побит неробкой за труды,
За вспышки мозга! Оборзевший ветер

Вдруг присмирел и слышится едва…
Проснёшься в пять и — Господи, как хило,
Не стопроцентно выглядят слова,
Смеётся архаическая лира.

Проснёшься в пять и слушаешь себя,
Внимаешь ветру, тонущему в сумме
Зимы, что так пленительно груба
И выглядишь — по Дельвигу — угрюмей…

Проснёшься в пять — за окнами Эреб,
С какого бодуна? Эреб где надо!
Какой за мной гадесовый адепт
Приставлен преисподней для догляда?

Проснёшься в пять — пружится Третий Рим,
Внимаешь ветру, тонущему в сумме
Зимы, в которой дворник Никодим
Метёт метель в обыденном раздумье.

Проснёшься в пять — куда бежать, кенты?
Да и друзей давным-давно в помине…
Барон бы рифму выдохнул: «кранты»?
Нахмурился и — сжёг стишок в камине?

* * *

Я давно на себя не похож, я давно на себя
Не похож, — говорю, слышу голос настырного ветра,
Что взъерошил листву, и в негромкие трубы трубя,
Притащил на хвосте, как ворона, холодное лето.
Я давно на себя, я давно на себя, я давно...
Вот заела пластинка!.. И полночь виниловым цветом
Обросла хорошо, вот такое случилось кино...
Я меняюсь, старею, я вижу: проснувшийся летом,

Постучался в окно мотылёк, в постороннюю жизнь...
Может — это посланье под лампой настольной сумею
Переделать в стихи? Может, ангел кому-то: проснись, —
Говорит-говорит... И как будто бы ветер аллею,
Как младенца, качает, и бродят беспечные сны...
Беззаботное лето к светилу прижалось щекою,
От которого много в виниловой тьме белизны
И любые стихи обрастают Его тишиною...

Это Ангелово — рядом

Скажешь «Ангелово» — ангел
Возникает по привычке,
Как внимательно он смотрит,
Прямо в душу или нет?
Вечер пишет тёмным светом
Буквы, музыку, кавычки...
Над церквушкой старой-старой
Вечер вписывает след.

Скажешь «Ангелово» — ангел
Возникает? Умирает?
Возникает — улетает...
Строчку вышепнул — пропал.
Жизнь за этой тварью Бога
Не пчелиным мёдом тает —
Это действие с повтором,
Старый-старый ритуал.

Пишешь «Ангелово»... Вечер.
Лампа малого накала
Теплит жизнь и тянет лямку
Жизни крохотной такой.
Вечер в старые сюжеты
Смотрит просто и устало —
Тьма стоит в Ершалаиме,
В Третьем Риме, под Москвой.

Это Ангелово — рядом,
Захолустье, угол Бога,
В словаре не откопаешь,
В Википедии — строка.
Запустение и чудо...
Жизнь от музыки до вздоха,
Жизнь, которая сегодня
До небес — наверняка.

* * *

Наконец-то тепло, свет прозрачнее крылышек, тех,
О которых Творец знает больше, чем наши иконы.
Двор залит детворой: заливает ребяческий смех,
Облака-облака, как солдатики, сбились в колонны.
Наконец-то светлей, чем вчера, где пейзаж застывал,
Что типичней в России, белеющей больше, чем надо...
Поднимается солнце, не солнце, а — нежный коралл,
И лучами скамья на какое-то время распята.
Наконец-то тепло, полюбить бы... Кого мне любить?
Кроме этой отчизны, которой поэты до фени.
Как рентгеном себя на последнюю жизнь просветить,
Замечая впопад: хорошеют цветами сирени.
Наконец-то теплей... Почему же в груди холодней,
Чем в библейском аду? — холоднее, ещё холоднее...
Кто-то смотрит в глаза, кто-то главный из царства теней?
И темнеет окрест. Всё темнее, темнее, темнее...
Помогай мне, Творец, я ослаб в захолустье Твоём,
Никого не люблю, кроме этой тревожной отчизны.
Опалившей меня крепким холодом, будто огнём...
Кто-то смотрит в лицо пробирающей крохотной жизни.

* * *

...Не в первый раз — огромная зима, в которой холод с Колыму размером.
Вся местность — ступор, снежная чума, губерния, в которой я гомером,
Конечно, с буквы маленькой! Не зря поставил восклицательный... Светило —
Товарный знак? Вокруг сплошная мгла. Большого Пса мерцающая сила.
Вглядись, гомер, меж дальних сопок, тут, в ладонях Смерти тянется могильник,
Да ветры шизанутое несут... И всё-таки: сознания светильник,
Да полный мир, сложившийся во мне, сугубыми виденьями текущий,
Нестёртый мир, насыщенный вполне, по капельке сбегающий в грядущий.
...Не в первый раз — огромная зима, звезда на скотч приляпана халтурно,
Над старым портом в изворотах тьма, как будто после демонского штурма.
Закончить чем? Я успокоюсь тут?.. Хлебну вина и выйду в сновиденье,
Чтоб видеть — рай по облакам везут... Какое, нахрен, чудное мгновенье!

Праздник, который всегда с тобой

В этом городе, цвета испуганной мыши, с проститутками русскими из Барселоны,
Я глушу кальвадос, я тут, кажется, лишний: слишком праздничен город, его автохтоны.
Пахнет яблоком это крестьянское пойло, запиваю водичкой и воздухом этим...
Что мне шепчет незримая, верная Мойра? Не врубаюсь, поскольку не числюсь поэтом.
Машет крыльями в небо — и машет, и машет — кумачовая мельница, муза Лотрека,
Фантастический опыт вращения нажит сновидения ради, холста ли, успеха?
В этом месте, где праздник шуршит по-французски, подымите мне веки,
я видеть желаю,
Как включаются выше весёлые люстры (я стихи золотые тихонько читаю),
Как молчат проститутки в объятьях таланта, и сентябрь зажигает свои зажигалки,
И фонарик зелёный от негоцианта накрывает лучом кальвадосные чарки.
В сером городе, где расписался Утрилло и неловкий Сутин всё вышёптывал что-то,
Что-то было... что было? Ну всё-таки было? Мостовая и та — говорливая нота...
В жирном крае парижской испуганной мыши, я цежу кальвадос, обнимаю каштаны,
Никчемушный, ненужный? Конечно — излишний, накативший полбанки,
и нежный, и пьяный,
И бубнящий простое под занавес рифмы, не дошедший до точки, но знающий — близко...
Это праздник, Эрнест? Это старые мифы. За углом по-французски мяукает киска...

Восточная Фландрия: Гент
Иероним Босх: несение креста

В городе Генте, равно в киноленте, равно
В сильном кино, от иллюзий, конечно, не деться,
В мороке башен мне башню срывает кино
Местного плана и хочется спрятаться в детство
То ли от силы, от бдения тутошних муз,
То ли от Босха — смятенного ангела Бога.
С мастером встреча — впритык — невещественный груз,
В городе Генте высокого-низкого много...
В городе Генте пергаментный ангел в окне,
Может быть выше и, может быть, ангел небесный.
В старом музее Спаситель безропотен... Вне —
Рынок цветочный и день, очевидно, чудесный.
Всё очевидно! И Божьему сыну никто,
Кроме святой Вероники, конечно, не в помощь...
Ветер кусает моё рядовое пальто,
Смирных каналов проворный и грустный знакомыш.
Всё очевидно. И Божьему Сыну никто...
Иероним! — этот город из камешков счастья,
С коим сейчас ощущаю скорей не родство,
Но — наважденье, которому хочется сдаться.

[1] Церковь Святого Николая.

Да облакам, что затронул Святой Николай[1],
Я — побратим в архаическом месте Европы.
Слышу кругом на своём языке мастера
Всё говорят, чтобы ангелы слышали, чтобы...
Вдоль цеховых обиталищ плывёт катерок,
Обок спешит разноцветная барка к причалу,
Флюгер-дракон на готическом шпиле продрог,
В колере неба скрывает дозорную харю.
Всё откровенно и призрачно вкупе. Зане
Замок фламандских вельмож выпускает химеры,
Что собираются в братство вечернее... Мне
Видится: призрак сошёл с монастырской капеллы.
Всё очевидно! XV век на плече
Божьего Сына, кругом ощетинились монстры:
В старом музее видения в этом ключе,
Этим затёрты вчерашние мысли и контры,
Наскоро смыты... Как в люльке качается мгла
В тёртой Европе, в намоленном городе Генте.
...Квасят фламандцы не меньше, чем наши. Пора
Выпить и нам за каким-нибудь столиком в центре.

Поезд в Амстердам

Боялся умереть не в родине моей!
Константин Батюшков

Не в родине сробел —
Схватило так...
От снадобья белел,
Как мел. Чердак
Варил паршиво и
Глумилась смерть,
Смыкалися слои
Её... Комедь
Не в родине... Хана —
Совсем? Почти.
Тут в феврале весна —
Зима в груди...
Шёл поезд в Амстердам,
Где шмаль и секс
По всяким берегам —
Таков контекст.
Не Shocking Blue поют —
Потомки их,
Да кружева плетут —
Старинный бзик.
Да рыбы что?.. Забыл.
Детали не
Важны сейчас. Схватил
Мотор. Зане
Вчера-позавчера
Так пилось, что,
Казалось, жизнь игра —
По сто! По сто!
Пейзаж голландский плыл
В большом окне,
За EURO взятый кир
Стихал во мне.
...Я родину люблю
Сильнее во...
Я мчусь по февралю,
В душе мертво...
Но — Батюшкова стиш —
Во мне, во мне,
Сказал костлявой — кыш!
Подмог? Вполне...

Ирга

...Подарю тебе веточку — это ирга,
Что едва не замёрзла в такую
Разжиревшую зиму, большие снега
Скрыли местность глухую.

Подарю тебе веточку — эта игра
Так серьёзна, как быстрое счастье,
От которого в сердце как будто игла
Пробирающей страсти.

Наталья Арбузова

Торжество Афродиты

Повесть

Вставайте, граф, рассвет уже полощется — поздний и серый. Питерский день в ноябре — это нена*д*олго. Впору лечь и терпеливо ждать, чтоб пронеслось над тобой темное время. А там снова грести из последних сил к индивидуальному светлому будущему. Грести пятерней, распластавшись в лодке, не зная толком, куда тебя несет, выбросив з*а* борт дающий осадку балласт. Даня на цыпочках вышел из комнаты, держа в обеих руках свое шмотье. Не умываясь, закрыл входную дверь с той стороны. На тупо кружащейся лестнице опустил ключи в почтовый ящик с фамилией. Во дворе-колодце поднял глаза к окну на четвертом этаже, ставшему было привычным. Там ветер трепал укрепленную изменой веревочную лестницу, однако ж до земли она не доставала.

За углом офис Билайн. Даня купил новую SIM-карту и растворился в насквозь продуваемом городе. Хочет быть счастливым, не хочет, чтоб наоборот. Да, ровно двенадцать, Зоя пришла около четырех. Пора ее будить — снова на работу, в кафе. Набрал номер и поскорей отключился, пока не ответила. Только что-то дрогнуло, должно быть, рука. А может, ошибка сет*и*... словом, попал не туда. Не того разбудили, как в одном анекдоте... не ту... решительным образом. Оттого и произошел сбой, где — поди знай. В чем именно проявился глюк — об этом пойдет речь. Но вообще говоря, человек всего лишь номер. Номер, пришитый на тряпочке к бушлату, номер паспорта, где зашифровано то, что раньше было в пятом пункте, номер машины, переехавшей твою жизнь. Переменчивый сотовый номер. Недаром плакат на троллейбусной остановке гласит: знай каждый номер в лицо. Даже с прежним номером абонент может стать для тебя недоступен. Свобода от привязанностей обходится ежедневно в одиннадцать центов. Хмурое утро глядит, как Даня уходит по просеке проспекта. Уйдет далек*о*, и от него уйдут в прекрасное далеко. Эффект произошедшего был двусторонним — действие равно противодействию.

Уж сколько раз твердили миру — не надобно писать того, в чем не силен, но только все не впрок. И заплетается венок сюжетов, что сняты скрытой камерой — МОТОР!

Арбузова Наталья Ильинична — родилась 11 ноября 1939 г. в Москве, закончила мехмат Университета, доктор математических наук, профессор по кафедре прикладной математики. Член Союза писателей Москвы. Автор книг «Пока дают сказать», «Город с названьем Ковров-Самолетов».

Золотоволосая Зоя, подкидыш тороватых эллинских богов, проснулась на той же постели, куда восемь с натяжкой часов назад свалилась от усталости щуплая девочка-женщина, спрятав в подушку невзрачное лицо инородческого типа. Золотая Зоя открыла глаза бездонной адриатической лазури, повела ими по углам комнаты. Углами комната была не красна, ох, не красна! В эту самую минуту где-то светло и глубоко неба открылся клочок. Быстрым движением туч открывшееся небесное окно переместили, поместили над доходным домом, в котором установлена наша кинокамера. Низкое солнце встало на цыпочки и, посрамив науку астрономию, достало прямыми лучами асфальт внутреннего двора, взломанный ростками какой-то нетребовательной флоры. Грязные пятна раннего снега немного подтянулись, на них высветились окурки, пачки от сигарет с тусклой серебряной фольгой и пустые зажигалки. В общем, все возможное в таких обстоятельствах было сделано. Встреча посланницы состоялась.

Чьей посланницы? верно ли прочтен адрес отправителя? кто пришел? чудовище с лазурным мозгом и рыбьей чешуей на сердце? сирена, еще не открывшая рта? Ладно, не будем торопить событий, уж как-нибудь себя да проявит. Приподнялась, осыпала золотым руном плечи, разглядывает многочисленные снимки узкоглазой пацанки. Фотографии строят рожицы и вновь вытягивают физиономию, веки с монголоидными уголками смежаются от нежданного солнца. Губы, дрогнув быстрой улыбкой, опять как ни в чем не бывало складываются тонкой нитью. Коротко обрубленный нос, фыркнув, замирает промеж плоских щек. Незримо присутствующая в комнате девчонка радуется, как Сампо-лопаренок, временному избавленью от мрака Северной Пальмиры. В маленькой чернявой Зое-лопарке тоже жизнь, вымученная, бледная, неправильная, как росток, пробившийся сквозь асфальт, но и столь же упрямая. Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит.

А почему Зоя с греческим профилем не удивляется? фотографии гримасничают, а ей хоть бы хны. Быть может, она вообще никогда не видела фотографий? видела живой, движущийся мир, когда он еще только складывался из хаоса? кто ее поймет. Тут позвонили на мобильный, и золоторунная Зоя довольно толково ответила какому-то Егору, что только продрала глаза, а про ночной скандал не помнит, хоть убей. Забей, Егор. Добрая девушка... не держит зла. Уже немного спокойней, а то красота — большая сила.

Одеваться эллинка Зоя не спешила, и хорошо, что не спешила. В шкафу было полнейшее месиво из тряпок, а она лучше всего смотрелась без одежды. Ну и глюки были, не без этого. На пеплосе цвета морской воды — сердечко с надписью «I love you». По городскому телефону дважды звонили без толку — вроде бы Зое, да не той. Но солнце уж спряталось, и в позднее утро — астрономический полдень — действительность представлялась мутной. Мутные друзья чернавки Зои сами собой отвалили, без лишних разговоров. Взамен быстро утомившегося солнца во двор пришел шарманщик с Ленфильма, сыграл веселенькое. Обезьянка неведомо как попала на куцую веревочную лестницу и приклеила снаружи к стеклу еще одно сердечко, которое любило красотку Зою. Комната понемногу преобразилась. На туалетном столике появились корзинки, доверху набитые дорогой косметикой, и пустая побольше — для сбора сердец. Она идет и сердца собирает... отдайте сердце — любое сердце. Однако время тянулось, начало смеркаться, выдохся и шарманщик, обезьянка перестала маячить в окне детской своей мордашкой. Тогда прилетел сильный южный ветер,

разорвал начисто тучи, распахнул рывком рамы, в комнате запахло морем. В Турции началось внезапное наводнение, и турки основательно подмокли. На Кипре в этот день крестьянам из прибрежного селенья запросто явилась Афродита, что не больно-то понравилось местному священнику. Так буйствовали силы природы, а блистательная Зоя все не спешила покинуть постель, смятую еще ее непритязательной тезкой. Соседки неопределенного возраста в стоптанных тапочках — нищие наследницы петербургских цирцей серебряного века — почувствовали смутное беспокойство. Переминались в коридоре, заглядывали в замочную скважину, но постучать боялись. Какая-то жизнь там, за дверью, чувствовалась, только уж больно необузданная, даже в своей лености. Привыкшие к суровому самоотречению женщины шумно вздыхали — до глубины отравленных смогом и куревом легких — а занавески на окне разлетались аж до середины комнаты от вздохов влюбленного Посейдона. Йодистый воздух, продавливаясь в любую щель, гулял по натруженным-настуженным ногам жительниц квартиры, вдруг облюбованной стихиями.

Вы не ошиблись — начало смеркаться. Часа три прошло с начала нашего повествования, немногим более того. Даня было исчез с экрана, теперь опять появился — не в спальне сирены, нет. Идет мимо Летнего сада, ежится. Оголтелый юго-западный ветер перелетает через решетку, единственно ради которой стоило приплыть к этим берегам. Ворота з*а*перты, и не зажжен фонарь, но в ранней мгле неясное движение. Он пригляделся — статуи танцуют, то флейта слышится, то будто тамбурин. А Даня идет передать от имени фирмы проект реставрации особняка его новой владелице. Галантная формальность — все завизировано, все уплачено человеком, купившим дом в подарок даме. Дама еще не встала. Встает, должно быть, к ночи — женщина, что получает такие подарки. Нет, вышла-таки в халате с цаплями, маленькая, скуластая, со жгуче-черной челкой. Гейша. «Доброе утро, Зоя Алексанна», — сказал Даня не своим от подобострастия голосом, хотя с таким же успехом мог бы сказать и «добрый вечер» в четвертом часу пополудни. Взяла альбом, не глядя, удалилась. Ничто, ничто не шевельнулось в Дане. Хотел уйти — ушел, теперь не дозовешься. Хотел забыть — забыл, забил и не узнал.

Наконец-то златокудрая Зоя закрыла окно и милостиво впустила соседок. У тех еще при советской власти установилась жесткая связь между слуховым и зрительным восприятием, то есть, попросту говоря, они видели что им скажут. Поэтому, когда пышноволосая гетера проворковала: «Милые мои, извините... я всегда бессовестно поздно прихожу, а вчера вернулась и вовсе под утро», он**е** отвечали: «Ничего, ничего... какой красивый парик, Зоя!» Очень скоро их сомнения были окончательно развеяны. Подвалил на «мерседесе» таинственный загорелый Егор, ворвался в комнату, точно средиземноморский ветер, и поставил все на свои места: «Кончай тормозить, поехали... я тебе хату купил... здесь кто хошь закашляет». Зоя кашлянула пару раз для порядка, будто роза маленького принца, и позволила себя увести. Соседки же посвятили часы меж волка и собаки обсуждению вечной темы: как меняется женщина, когда начинает следить за собой. В их словах сквозил подтекст: когда находит себе достойную пару. А тучи все летели обратно к себе на север, и сквозь тонкое руно облачных барашков светила голубая Венера.

Особняк был препорядочный. Две Зои встретились лишь на другой день, когда уж било шесть — шесть вечера, разумеется. Гетера Зоя в аквамариновой тун*и*ке с правильным ионическим узором-бегунком по краю, гейша Зоя в кимоно из натурального шелка с блеклыми ткаными пионами. Златовласка с бронзо-

вым шандалом, в коем оплывала свеча, брюнетка с плеером в ушах. Весь вечер в сапфическом восторге любовались друг другом, не грузя себя проблемой собственности на дом и выяснением мотивов самого дарителя. Неужто лопарка Зоя стала так хороша? ну, в русле моды на все японское... японский бог ее знает. Может быть, суши тоже не так уж и вкусно. Да, не дурна. За сутки в тепле прошел насморк — болезнь бедняков, щеки кажутся совсем не одутловатыми, нос не короток, просто миниатюрен. Прическа с дециметровыми шпильками вообще делает чудеса. Темно-фиолетовая помада очень в тон оливковому цвету лица, и вообще с какой стороны посмотреть. Вечерняя звезда смотрела с запада, кто-то запретил облакам, и ленфильмовская шарманка шаталась, точно одинокая гармонь, вокруг да около. Тут шофер привез Егора, у которого все равно в глазах двоилось, так что в этот день обошлось без выяснений. Утром две Зои на пороге поцеловали в обе щеки растерянного благодетеля — только они его и видели. По сотовому ответили: номер не используется. Дарственная оказалась оформленной на имя карей Зоиньки, Зои Алексанны Савелкиной. Даритель же был подставным и уж покинул пределы страны. Искать его через Интерпол было бессмысленно — он не обязан содержать подаренный особняк и двух его прелестных обитательниц. Но у светлоокой Зои Алексанны Киприди нашлись одесские корни. Ей быстро помогли довести до конца формальности со вступлением ближайшей подруги в права собственности, произвести уже оплаченную реставрацию и евроремонт, а также сдать левое крыло дома одной из многочисленных фирм по продаже недвижимости. Посоветовали сделать двум дамам единую фамилию. Сход-развал, брак-развод. Найти какого-нибудь Савелкина. Но девушки поленились.

Черноморские ветры дули до самого Рождества. Лишь в сочельник притихло, необычно яркая Венера окончательно признала себя вечерней Веспер-звездой, а Егор неохотно признал себя лохом. Перед тем как сделать за рождественским столом такое заявление, он долго и безрезультатно ломал себе голову. Что его Зоя в кафе нечаянно поменялась мобильниками с официанткой — он с трудом, но вспомнил. «Еще не повод, чтоб менять ориентацию», — заметили относительно трезвые друзья. Сбиваясь, потерпевший выкладывал: нашел свою Заиньку бог знает в какой дыре, четвертый этаж... там стояли фотки той же японочки и парня, приносившего ему, Егору, на подпись договор о реставрации особняка... вот кто подослал гейшу... а фирма, за всем этим стоявшая, исчезла с концами. Но товарищи уж не слушали. Что у тебя, один особняк? или одна девчонка? забей. И Егор забил, или сделал вид, что забил.

Стекла одесских лоджий, обращенных на юг, наконец-то перестали дребезжать. Наступило затишье в делах — рождественские бизнес-каникулы. Адвокат Каминский приехал в Питер с двумя девушками-сестрами, именовавшими себя Жюли и Катрин. Хотелось думать, они происходили по женской линии от дюка де Ришелье, фамилию же носили русскую — Переляевы. Адресуясь к инкрустированному столику, разделявшему двух Зой, Каминский сказал убедительным тоном: «Зоя, пусть поживут... у них был общий покровитель, обанкротился... на суде фигурировали их имена... надо переждать. Не бойся, они на тебя всей тяжестью не лягут». Зои промолчали — каждая имела право счесть, что обращаются не к ней — но беженок приняли. Тех никак нельзя было назвать грузными. Если слегка облокотились на хозяек, то это было вполне терпимо. Да, и еще: в сестрах Переляевых наблюдалось неуловимое сходство с Зоей Киприди — слабые копии с великого оригинала. Каминский погостил до старого Нового года, играл с Кипридою в нарды. С плеч ее, склоненных к доске, кудри сбегали стада-

ми, настольная лампа зажглась над гурьбою овец. Казалось, пастушье солнце их видит, едва лишь встав из-за гор. Должно быть, свет таился в руне. Каминский уезжал заново влюбленный, оставив двум новым компаньонкам Киприды подробные инструкции по управлению домом. Не Киприда же, черт возьми, с ее боготворимой подругой станут всем этим заниматься — даже подумать кощунственно. Вот так подскочили акции маленькой двужильной официантки Зои Савелкиной. В коммунальной квартире на четвертом этаже терпеливые соседки стригли друг друга тупыми ножницами, усадив на колченогую табуретку, а монголоидный силуэт золушки Зои не сходил со стены.

Мело весь месяц в феврале за сплошными стеклами особняка, устоявшего даже против залпа Авроры. Мелькали в фонаре окна женские тени, летели на огонь мотыльки в «мерседесах». Прилетели Антон Балдин и Борис Острогин, давние консультанты и компаньоны Егора Парыгина по контрабандным операциям с антиквариатом. Все трое заложили основы своего состояния еще при советской власти, а в период инфляции не сплоховали. Сейчас господа консультанты сидят за инкрустированным столиком, мысленно его оценивая. Сестры-одесситки уж превратились на вьюжном севере в Юленьку и Катю, подкрасились и причесали густые волосы «под Киприду». Гадают гостям — Юленька по руке, Катя раскинула карты — все выходит успех, в делах и у женщин. Чеки нескупые кавалеры отнесли Киприде, что прилегла на угловом диванчике. Но та на чеки не взглянула и к ним не притронулась, сказала — возьми, Заинька. Отдала свое имя, устоявшееся в этой среде, сидящей тут же в ногах паршивке с длинными шпильками. Вот как дело обернулось. Надо намекнуть Егору: наверняка Киприда тогда в кафе положила глаз на гейшу и сама устроила весь цирк. Не забыть бы спросить его, откуда в овальной зале взялась мраморная античная Венера стоимостью поболе отреставрированного особняка. В Эрмитаже такой крупной пропажи не замечено, в Лувре вроде тоже. А вино из Греции, крепкое. Чуть пожелтевшее мраморное изваяние, которого прежде тут не стояло, в течение вечера несколько раз меняло позу. Киприда же неотлучно провела ночь в комнатах обоих гостей, чего, согласитесь, никак не могло быть. Утром, садясь каждый в свой «мерседес», кавалеры неохотно сознались, что и они лохи, не одному Егору срамиться. Им явно подсунули кудлатых крашеных сестер Переляевых, не стоивших таких денег, но требовать чеки назад вроде как стыдно. Зато теперь понятно, почему хозяйки смирились с обществом еще двух милашек. Тьфу, да и только... плюнули, поехали. Подлинная Венера белела в овальной зале, зябко поводила плечами, разворачивалась профилем к медленно светлеющему окну. В саду отряхивались туи, и на решетчатых деревянных скамьях лежали пухлые пирожки снега.

Реставрационная фирма разорилась на Кипридином особняке. Непонятным образом в текст договора, не раз выверенный, затесалась настоящая Афродита, баснословной цены, согласно каталогу аукциона Кристи. Не с Милоса (Мелоса), но с Родоса, зато с обеими руками, живыми и гибкими в камне. Ее покупка, доставка и передача Зое Александровне Савелкиной осуществилась мистическим образом. На всех документах обнаружилась неоспоримая подпись хозяина фирмы, после чего он продал собственный дом и лег на дно, предварительно поставив Дане фонарь под глазом. В Данином мозгу прояснилось от встряски, он вспомнил маленькую японку в драгоценном кимоно, что взяла из его рук бумаги, не взглянув ни в них, ни на Даню. Вспомнил и побежал выковыривать из почтового ящика Зои Савелкиной им же самим брошенные туда ключи. Шел март месяц. По всем законам божеским и человеческим дол-

жен садить с Финского залива отрывающий голову ветер. Но нет — едва прошелестело в воздухе еще лишенное смысла слово «весна», в имперскую столицу немедленно вторглись массы средиземноморского воздуха. Именно вторглись, как войска Александра Македонского, сметая все на своем пути. Даня плыл, расстегнувши куртку, будто корабль в Трою.

Было позднее утро бездельников и безработных. Ключи Даня легко достал, немного погнув дверцу почтового ящика. Открыл входную дверь, проскользнул по коридору, не замеченный соседками. Зоина дверь не на замке. Женщины уж протянули через комнату веревку, сушили такое белье, что лучше не глядеть. Даня внедрился и заперся изнутри. Но прежде бросил на чей попало кухонный стол предметы туалета, позорные в рассуждении дизайна, и самою веревку — не вешаться же на ней.

Лишь только Даня рухнул затылком на слежавшуюся подушку, Морфей узнал его, стал шевелить тонкие потрескивающие волосы. Приснилось, как над эллинским над теплым-тесным морем среди дня теснятся облака. Под утро, умчавшись на нереальной скорости с загибающимся потоком воздуха, они уж теснились где-то над Южными Курилами, бесконечно прекрасны собой. Европа окликала Азию звучными голосами богов. Стихии, взяв в коробочку Данину жизнь, несли ее в открытое море — утащили и бросили там. Ветер стих, перелетев через протяженный материк. Посейдон, который и в Африке Посейдон, напустил туману. Сова не хотела прошуметь крылами к берегу, где Даню никто не ждал. А ежели б появилась, чтоб хотя б пролететь над ним, даже с точностью до наоборот — от берега, он все равно не услышит, слишком слаб в нем голос крови и рода. Тут в девятом сне как дьявол встал девятый вал. Накрыл Даню с головой, и он проснулся в холодном поту. За дверью слышалось тихое шарканье тапочек, тех неизбывных клетчатых больничных тапочек, что носятся по пятнадцать лет кряду, с картонной стелькой, размокающей при стирке. Дане слишком неуютно было после таких сновидений, чтоб чураться общества людей, каких угодно. Неверной рукой он ткнул ключ в дверную скважину и там три раза повернул. Через полминуты наконец-то узнал имена соседок Зои Савелкиной. Заодно услыхал, что сама она по отцу происходит из малого народа Дальнего Востока, вовсе не от ближних лопарей. Сон в руку. А фамилия? Должно быть, материна.

Очень скоро явился завтрак — яичница, остатки винегрета. Пока обласканный Даня жадно ел, ему пересказывали всю историю Зоинькиного преображенья и бегства. В этой сказке чемодан с оторванной ручкой, пылившийся в передней, обращался в «мерседес», а водопроводчик Юра становился преуспевающим бизнесменом. Было ясно, что его, Даню, считают потерпевшей стороной. Это заблуждение Даниных собеседниц прямо сейчас давало ему некоторые выгоды, а в будущем сулило еще бо́льшие. Женщин было всего три, и Даня сдался на сладкий голос их любви. Вскоре три грации — Алла, Людмила и Серафима — уж перебирали в шкафу пеплосы и кимоно, надевали за дверью, потом робко прохаживались по комнате. Порода в них была хороша — при всем желании не скажешь, что им шло как корове седло. Внучки генералов и сенаторов омочили дорогими духами испорченные артритом пальцы, перемывшие в холодной воде тонны картошки, удивленно нюхали свои тонкие персты. Красивый, но грустный спектакль — три непризнанные актрисы, один невнимательный зритель. Как, неужто там, в Питере, еще что-то осталось? вроде бы чистили, чистили. Значит, осталось. Искривленные стебли травы вылезли из-под камня.

Весна наступала по всему фронту. Телевидение то и дело предупреждало: на лед водоемов ни ногой. Каких-то двоих уж унесло, бездонное небо разверз-

лось над их хмельными головами, и южный ветер пел в ушах. Наконец настал галантный день восьмого марта — мраморной Венере в особняке повязали газовый шарф. На живую Киприду, ее подругу и двух жриц подарки посыпались как из рога изобилия. Все завалено — спасу нет. Заинька Зоя — темная шкурка собрала три корзины и отправила с сестрами Переляевыми в свою оставленную, но не забытую коммуналку. Девушки вернулись удивленные. Да, Заинька, мы застали их всех — Аллу, Людмилу и Серафиму. Ты говорила: скромные немолодые женщины... подарки мы подбирали не вызывающие. Видим — красавицы с во такими прическами и в натуральном шелку наводят блеск в твоей комнате. Кто-то моет окно в развевающихся по ветру одеждах.

Да, мыли окно, над двором-колодцем синел квадрат неба. Туда с утра пораньше улетел голубой шарик и не думал возвращаться. Оттуда, сложив крылья, падал адриатический ветер, слизывал со двора черный снег. Птицы летели к северу, подхваченные попутным потоком воздуха. Властелина дум трех нетребовательных одалисок не было дома, у него какая-то встреча, и речи о нем не заходило. Юленька и Катя велели хлопотуньям закрыть глаза и разыграли корзинки: кому? кому? В этой маленькой корзинке есть помада и духи, ленты, бусы и ботинки — что угодно для души. Заинька и денег подсунула порядком, незаметно от сестриц Переляевых. Чему быть, того не миновать — Даня снова оказался на содержании у прежней своей подружки. А на кой же ляд он уходил? Ну, ему тогда показалось, что подвернувшаяся работа в реставрационной фирме на всю жизнь. Показалось, что пора линять из паршивой норы на четвертом этаже. Показалось, что рядом со своей чукчей он все на свете проморгает. Показалось, что светит вариант получше. В общем, когда кажется, надо креститься.

Средиземноморская весна послала в эти дни Питеру уйму мимозы, такой свежей, будто она прилетела из Ниццы по ветру или же расцвела тут рядом, где-то в Павловске. На вербе лопнули почки задолго до Вербного воскресенья, и она распушилась, северная мимоза. Лес стал розоветь и дорозовелся до зелени. В овальной зале особняка кудрявились благоуханные гиацинты, сравнимые со священными волосами Зои Киприди. Пасха была ранней, как и весна. Появился друг Каминский. Сидя с Кипридою за нефритовой шахматной доской, сказал: пора закрывать сезон и переезжать в Павловск. Как и откуда взялся павловский особняк, чтоб не сказать дворец, хоть и следовало бы — покрыто мраком неизвестности. Похоже, Каминский устроил подписку среди двух десятков друзей дома, хлопоты взял на себя. Каково же было его удивление, когда документы в дипломате, час назад оформленные самым дотошным образом, оказались на имя Зои Савелкиной. В таком виде он довез их до питерского особняка и вручил Зоям. Зои приняли с рассеянной благодарностью. Все трое, кажется, поняли, что на богинь дарственных не оформляют, это бестактно. Девицы Переляевы уж хотели шить сарафаны и легкие платья из ситца. Но Каминский сказал: фи! на то есть каталог. Сели смотреть картинки и делать заказы — платил гость.

Сезон удалось закрыть без скандалов — на все свои причины. Таинственным образом Катя с Юленькой стали похожи на Киприду уже почти что один к одному. Какие дары они получили в придачу, история умалчивает, но завороженные гости особняка молча брали что дают. Ложа самой богини удостоился разве что Каминский, но он об этом не звонил. Вся расстановка фигур на доске изменилась. Гетеры Зои Киприди больше не существовало, была лишь пенорожденная Афродита. Две незадачливые одесские содержанки волею бессмертной богини превратились в блестящих гетер. Одна Заинька так и осталась тем-

ной лошадкой — вещью в себе. Сколько в ней было этого своего, откуда что берется! Напротив, новоявленные гетеры отличий друг от друга не подчеркивали — ситуация к тому обязывала. Разве что Юленька была чуть постарше, а Катя немного повыше ростом, отчего многие гости почитали старшей именно ее. Что до Заиньки, то в момент заявления прав собственности на первый особняк ей только что исполнилось двадцать три. На будущее день ее рождения — нача*л*о питерских черных ночей — Киприда повелела выбить под мраморным барельефом с изображением флейтистки у дверей овальной залы. Должно быть, это волшебная флейта, а Заинька — дочка царицы ночи.

В общем, платья по почте пришли очень быстро. Сезон закрыли и переехали в Павловск. Вот у ограды парка Каминский Киприде дверцу машины открыл. На клумбе средь гиацинтов, ею любимых, стояла мраморная Венера и улыбалась лукаво: а я уже здесь. Несколько обескураженный Каминский позвонил своим людям в Питер. Те развели руками по видеотелефону: «Иосиф, брось. Если у твоей Киприды украдут одно-другое с нее изваяние, назавтра появится третье». И не поехали проверять, как там, в овальной зале, пуст пьедестал или нет. Иосиф Каминский покачал головой и вернулся к галантным обязанностям. Они переехали рано — хотели видеть весну. У каждой лужи и каждой даме он должен руку подать. Юбки мелькают в лужах с мокрыми облаками, и летят во все стороны грязные воробьи. Мраморная Венера, вся освещенная солнцем, мраморными ноздрями вдыхает запах цветов.

Алла, Людмила и Серафима, они друг от друга хоть чем-нибудь отличаются? или на одно лицо, как девушки Переляевы? Ну да, немного разнятся. Всех их только что отправили на пенсию. Двух в пятьдесят пять лет, одну в пятьдесят, не важно кого. Одна из них незамужняя, одна разведенная без детей и одна разведенная с дочерью — дочь вышла замуж и здесь не живет. Опять не важно, какую кому придать судьбу, лишь знаю — она не сахар. У Серафимы глаза серафима, у Аллы крыло волос надо лбом, Людмила же людям мила, затем что лицом бела.

Пришли оплаченные посылки Алле, Людмиле и Серафиме с летними платьями по катало*г*у из Вены в Санкт-Петербург. Они их надели, помолодели, и обирали цветы с подолов, и напевали венские вальсы, когда зазвонил телефон. Заинька приглашала соседок погостить в Павловск. Те подхватились и полетели, охваченные божественным легкомыслием. Электричка мчалась, гудя как сумасшедшая, к музыкальному вокзалу в Павловске, и в небесах играли Штрауса. Забытый Даня, проснувшись, ждал три часа омлета, пока наконец не понял, что кончилась эта лафа. А три газели уж стояли у ограды павловского особняка, и мраморная Венера любезно кивнула им войти.

Первая же ночь, проведенная гостьями в Павловске, была куда как светла. Небо казалось морем, месяц белел как парус, и облака с зюйд-веста все неслись и неслись. Видно, с ладони Кипра их отпускали боги, как голубей, посланцев в дальний Санкт-Петербург. В саду по дорожкам гуляли тени прежних владельцев, в фижмах и кринолинах, в мундирах и сюртуках. После устрашающего двора-колодца перемена была столь разительной, что три дамы не могли уснуть. Не сговариваясь, каждая в своей особливой комнате, они вновь надели воздушные платья и спустились в залу. Киприда сидела с Каминским — он уезжал наутро. Она говорила редко, но тут разверзла уста. Сказала: возьмите шали, и дамы те шали взяли. С этого са*м*ого мига и начались чудеса. В денежных кругах Питера скоро распространилась весть: Киприда выписала из Парижа трех немолодых, но чрезвычайно дорогих куртизанок из русских эмигрантских семей. Им немного з*а* сорок, но какая благородная красота! и, главное, какая искушенность!

Неужто самой Киприде пришла в голову такая удачная мысль? наверное, Каминский подсказал... шельма. Надо, господа попечители, подкинуть в Павловск деньжат на реставрацию и обслуживание особняка. Что и было сделано.

Неприкаянный Даня весь день шатался по питерской ранней жаре, но работа от него ускользала. Те, кто ему обещали, вдруг становились уклончивы. Даня внимательно погляделся в первое же попавшееся зеркало. Так и есть — маска неудачника прочно прилипла к его лицу, приклеилась к корням волос. Волосы он долго ерошил, но те стоять не желали — полегли, будто рожь, побитая градом. Вышел на улицу, нечаянно вдохнул полной грудью некондиционированный воздух. Совершил посадку на какую-то лавочку, тупо уставясь на мраморную Афродиту. О классический город, как много в тебе Афродит! Заиграл мобильник, Даня открыл крышечку. Неизвестно от чьего имени ему предлагали место привратника и садовника в загородном имении. И поспешил он в Павловск, объятый смутным предчувствием. Вновь электричка лихо неслась к вокзалу мечты. Успел, получил эту должность, но не узнал своих женщин — так они изменились в поле Кипридиных чар. Они его, изменившись, тоже не узнавали. Он приступил к работе — другая жизнь начал*а*сь.

Итак, Людмила гуляет в волшебных садах Черномора, а к ней в коммуналку приехала ее несчастная дочь. Зам*о*к стал звонить под ключом таким мелодичным звоном, что молодая женщина невольно диву далась. Женщину звали Лидией, она была сильно заезжена. В квартире пустой застала, конечно, полный разгром. Сколько ей было лет — мы от читателя скроем, ведь мать ее стала женщиной без возраста с этих пор. Теперь, утирая слезы о недостойном муже, на жесткое ложе матери Лидия улеглась. Т*о*тчас же загнанной Лидии явилась во сне Афродита и так сказала: о Лидия! спеши к вокзалу мечты. Вдобавок к своим словам оставила точный адрес и положила на стул для ней офигенный прикид: здесь вот такая баска, здесь вот немного *у*же, очень открытый вырез — ну, в общем, полный отпад.

В парке вяз прилаживает листья свои друг к другу, у водоема прогуливаются три прекрасные дамы. Будто Борисов-Мусатов их написал нам маслом: профили, шали, локоны и благородство манер. У Афродиты нынче пятеро жриц прилежных, Зоя — ее подруга, Зоя в счет не идет. Смеется во внутреннем дворике, играя в серсо с Кипридой... гляди, в фонтан улетело... и моет в фонтане лицо. Но уже едет Лидия в полупустой электричке, Амур завивает ей волосы, чтоб времени не терять. Она явилась по адресу, указанному в бумажке, и молодой садовник ей врата отворил. Учтиво взял ее вещи и проводил к Киприде — в саду уж цвели пионы с Зоиных кимоно.

Объявился Каминский проездом после вояжа на Кипр. Успел там купить для своей богини какую-то недвижимость, однако, из осторожности, на собственное имя. Он был прав в такой осмотрительности — к моменту его приезда питерский особняк еще числился за Зоей Савелкиной, а павловский самопереоформился на имя Лидии Павловны Осельцевой. Каминский стал было по сотовому советоваться с умными людьми, сидя среди поникших пионов. Умные люди сказали: «Иосиф, оставь попеченье. Ты еще разве не понял? Твою Киприду можно глубокой ночью бросить на улице — поутр*у* она проснется во дворце. Этот финт можно проделывать многократно. Ни одна из ее фавориток без крова не останется, даже очень неплохого». Каминский принял сказанное к сведению и *о*тбыл по делам в Тюмень.

Покинутая тремя дамами неубранная квартира глазами немытых *о*кон глядела в призрачный двор. В квартиру проникли в*о*ры, и им был голос: о в*о*ры!

идите честно работать в загородный бордель. Воры не стали слушать, воры искали сокровищ — у них уж была привычка к подобного рода делам. Перерыли три комнаты, после явились к Зое, и здесь их настиг Афродиты неотвратимый гнев. Они обратились оба в мраморные изваяния, и так недвижно стояли по захламленным углам. Не лучше ли было в Павловске, танцуя, тереть паркеты, чистить тазы для варенья и подстригать газон? Вселился муж Лидии — Игорь, он пиджаки и шляпы на хладные манекены повесил в первый же день. Но дня через три просох и задал вопрос — где Лидия? они ничего не сказали, да и сказать не могли. Тогда стены ванной разверзлись, и Афродита явилась, точно живая реклама пенно-моющих средств. Она промолвила: «Игорь! ты уж теперь не Игорь... забудь свое имя, Игорь... зовись теперь Менелай».

Когда Менелай приплыл под стены проклятой Трои, в саду отцвели пионы и зацветал жасмин. Долго хулил Афродиту возле чугунной ограды, но молодой садовник в парк его не впустил. Спал Менелай на упругих кустах, подстриженных Даней, пил принесенное Даней разбавленное вино. Дули все те же южные иступленные ветры, и Афродита с клумбы гневный метала взгляд. Позже его допустили в дом натирать паркеты. Гейша играла на флейте, грустно и хорошо. Он прекратил богохульствовать и не спросил о Лидии — ветер унес о ней память к финским немым валунам.

Прослышав о махинациях с документами на павловский особняк, приехал Егор — рвал и метал. Для равновесия позвал с собой Антона и Бориса. Десант бизнесменов с охраной имел целью вывести на чистую воду реставрационную фирму, что изобрела неслыханный доселе способ переоформления недвижимости. Кортеж, гудя, въехал во двор. «Ба, знакомые все лица», — мрачно буркнул Егор отпрянувшему от тачки Дане (в школе у трудолюбивого Егора по литературе была пятерка). Вышли, оставив охрану в машинах. С солнечной стороны ветер вдувал занавески в открытые двери балконов. Из нависших ящиков с цветами капала после поливки вода. Сестры Переляевы выглянули — кого там Бог дает? — но почли за лучшее спрятаться, не от Егора, а от Антона с Борисом. Удалились на кухню, которая сама была надежно запрятана на задах. Здесь в окна ломился прохладный белый жасмин. Надели белые фартучки и чепцы, под коими скрыли основную улику — теперь уж и без краски золотые кудри. Сделались вдруг похожи сразу на двух шоколадниц Лиотара. Принялись учить молодую кухарку Мадину готовить блинчики с вареньем, любимые всемогущей Лидией. Мадина дерзила с акцентом, уклоняясь от наставлений. Наконец заявила, что не хочет быть прислугой, но желает стать девушкой по вызову. Юленька Переляева схватилась за свою красивую головку, говоря: «Фи, Мадина! надо же кому-то и у плиты стоять! смотри, Афродита тебя накажет за такие речи». В подтверждение Юленькиных слов у Мадины тут же вздулся ячмень на глазу. Она гордо зыркнула одним здоровым глазом из-под неприбранных черных прядей, продолжая с демонической силой мешать тесто и шепотом противопоставляя Аллаха всем языческим богам, вместе взятым. Катенька той порой искала в шкафу клубничное варенье — Лидия так заказывала — нашла и успокоилась.

Три бизнесмена сидели в зале, вошли три дамы в шелковых шалях и сделали их шелковыми, как мягкая бахрома. Мужчины забыли о цели визита, и сколько шампанского было выпито, забыли курс доллара и курс евро, забыли английский язык. Катя скоро отнесла блинчики и йогурт во внутренний дворик, где Киприда с Лидией играли в мяч, поставила на плетеный столик и поскорей ушла. Она была тактичной девушкой и еще со времен своего одесского содержанства выучилась изящно помалкивать, покуда не спросят. Мадина на кухне

тушила молодого козленка с травами, Менелай разбавлял выписанное из Афин вино. Трое бизнесменов в парке старательно лепили стодолларовые бумажки, вымоченные в шампанском, на мраморную Афродиту. Три дамы смеялись, сама же Афродита была подчеркнуто безразлична. Июль согрел ее белизну, пассионарный ветер быстро сушил купюры — они отлетали, топорщась, Людмила их собирала в полиэтиленовый пакет. Охранники спали в тачках с кондиционерами. Зоя Савелкина, изгнанная из рая, учила Даню играть на флейте. Неузнающие и неузнанные, оба ловили кайф, прижимаясь поочередно губами к теплому лакированному дереву.

Узкоглазая Зоинька не шарит в вопросах собственности. Для нее этот сон начался в ноябре и все длится. Зоинька бродит под вязом, повесив флейту-свирель на шелковой ленте поверх голубого хитона. А Лидия любит порядок, совсем как царь Петр Алексеич. Недолго она затворялась во внутреннем дворике — вышла при полном параде, с лицом голливудской актрисы, и повелела трем дамам заняться подбором кадров. Поставим бордель на широкую ногу, мама, Алла и Серафима! возьмем шикарных девиц. Привычные к повиновению дамы резкие указания Лидии подхватывали на лету, однако низложенной Зои Савелкиной тронуть никто не смел. Когда же вернется Каминский? все без него так скверно. И вот наконец приехал Каминский, да только не тот. Прибыл сын его Леонид, эллинист, только что окончивший Оксфордский университет — решил провести несколько дней в Эрмитаже. Отец передал ему ключи от пустующего питерского особняка.

Иосиф Каминский предупредил сына: Венера Родосская, которую тот стремится увидеть, сейчас не в Питере, а в Павловске. Но прямо с порога Леонид узрел ее в центре залы. Сомнений быть не могло — это подлинник, вот такой ракурс был в каталоге. Значит, в Павловске копия? неужто отец так ошибся? Молодой человек обошел те покои, что не были сданы фирме, нашел пару интересных бюстов. Когда же вернулся в залу, челюсть его отвалилась: подле Венеры стояли Афина при шлеме и копье, а также Диана с луком, в короткой тунике. Леонид недаром был поэт неоклассического толка. Он радостно покорился воле Зевса и прилег на любимую кушетку Киприды под сень трех богинь. Полночная синева текла от Эгейского моря, мыла настриженные с горных стад облака. Возле ограды одна за другой осторожно притормозили три машины, послышался лязг снимаемого замка. Леонид приподнял голову — по двору, не пригибаясь, бежали парни в черных шапочках, закрывающих лицо. Леонид хватился мобильника и не нашел его рядом, вскочил включить свет — не нашел выключателя. В дверь уж ломились, она подалась легко, как гетера. Коротко вспыхнула молния и озарила такую картину: некто лежит на пороге с копьем Афины в груди. Объятый священным ужасом, рухнул и Леонид. Когда же очнулся, в зале никого не было, кроме него и мраморной Афродиты. Но дверь была настежь, стрела Дианы торчала, вонзившаяся в паркет, а перед домом Зевс-громовержец оставил свой след: опаленную молнией ветку столетнего дуба.

Не зная, как рассказать отцу о случившемся, Леонид заложил парадную дверь изнутри длиннющим медным крюком и с черного хода ушел в Эрмитаж. С отключенным мобильником там бродил до закрытия по залам, а выйдя, сразу увидел зарево в небе. Тут позвонил отец из Тюмени: горим! От особняка остались одни угольки — как же надо было готовить пожар, чтоб так чисто средь белого дня сгорело. Но Афродита успела здание покинуть. Нашли два бюста, покрытые сажей, один расколотый барельеф — ее пьедестал был пуст. Леонид поискал в записной книжке адрес — и поспешил в Павловск.

Егору Парыгину надоело быть лохом, как-никак он человек с высшим образованием, уже во втором колене. То, глядишь, его подпоили три немолодые дамочки, и он лепил на Афродиту, непонятно какую, то ли подлинную, то ли нет, стодолларовые бумажки. Теперь перед ним, в одном из двух его собственных особняков, стоит долгожданная Афродита — и что же? гипсовый муляж... кукла. Ради нее, Венеры Родосской, что стоила дороже Зойкиного сгоревшего особняка, была тщательно спланирована операция захвата, нарушена недиагностируемым образом сигнализация и все такое. Так нет же, какой-то парень там ночевал... сторожил... никогда еще не было. Должно быть, новая крутая хозяйка павловского борделя распорядилась. Надо ж было так нарваться! Спросонья гаденыш метнул в Петьку антикварное копье, еле вытащили в клинике... надо будет этот дрын продать. Еще и гроза началась не вовремя, ребята струсили. Ну, Егор им дал разгон. Дежурили, пока ночной сторож не ушел задами, потом, дураки, осторожно вынесли легонькую подделку, хорошенько облили здание бензином и подожгли. Деревянные перекрытия... паркет... мебель красного дерева... хорошо горело. С утра Егор собственноручно дал на лапу пожарным — вместе с рыбой заключения... и поспешил в Павловск.

Зоя Савелкина кружит под вязом, и плечи ее осыпаны пеплом, и обгорел по подолу ее хитон, будто это она стояла вчера босая на пьедестале в своем горящем свечкой особняке. Осталась дата ее рождения на мраморном барельефе с флейтисткой, только сгорела рама дверная, и упал барельеф. Даня проснулся от запаха дыма, неведомо как долетевшего в Павловск, и на столе обнаружил пачку горелых бумаг. К вечеру Иосиф Каминский успел добраться к ним из Тюмени, сказал — страховка, в полном порядке, можно завтра подать. Этого хватит, сказал, на квартиру, двухкомнатную, в новом районе. Но Зоя Савелкина все кружила, с флейтой на ленте, в саду.

Эй, безумная босая Зоя! не кружи там, точно слепая лошадь на водокачке! поди к гостям, поиграй на флейте, а новенькие девушки пройдутся в купальниках. И Зоя играла, и ходили по кругу длинноногие девушки, как лошадки на манеже. Ходил и Егор Парыгин большими кругами по парку, вблизи Венеры Родосской сужались эти круги. «Точно, Егор, она самая, — сказали Антон с Борисом, — и не лепи, будь добр, на нее своих ценных бумаг».

Ночью Даня стучал в старинную колотушку, чтоб воры доподлинно знали, куда не надо идти. Против ночного страха вешал Зоину флейту на растрепанной ленте под свой холщовый хитон. Они незаметно с Зоей сделались тут рабами, пока Иосиф Каминский квартиру им покупал. А южные ветры дули, и выдували душу, и в небе последних дней августа звездный ярился пес. Поэт Леонид Каминский тоже кружил по саду, роились в мозгу его строфы про древний недремлющий мир. Порой в водоем долетали пенные брызги с Кипра, и мрамор своей белизною боролся с полночной тьмой.

Когда три машины остановились у решетки, Даня пошел посмотреть, что там за полуночники. Получил грамотный удар по голове и в последующие двадцать минут отлеживался на газоне, безучастный ко всему происходящему. Леониду для разнообразия врезали по ногам, да так, что он долго не мог подняться, мобильник же его отлетел за версту. На его глазах разбивали ломом постамент Афродиты и как бревно волокли белое чудо к машине. Когда же он дополз на четвереньках до клумбы, постамент блестел, ровный и чистый, точно богиня сама ушла легкими стопами. Душистый табак кругом не был затоптан и расточительно благоухал, почти все звезды уцелели на бархатном августовском небе. Спартанец Леонид обнял обеими руками постамент, подтянулся, встал и

захромал к Дане, тот кой-как открыл глаза. С Даниного мобильника Леонид позвонил в дом отцу. Осмотрев место происшествия, Иосиф Каминский дал команду милицию не звать. Он на полном серьезе утверждал, и слова его были приняты всерьез: Афродита не у них в руках, она где-то еще. И послал сына проведать питерскую коммуналку — доходный дом на Литейном.

Эти лохи в камуфляже опять притащили трухлявую дрянь. Егор Парыгин у себя в гостиной остервенело крушил хрупкий гипс, соря мелом на персидский ковер. «Где оригинал, гады?» — «Уймись, Егорушка, — успокаивали его друзья, — в павловском особняке его нет, мы все углы облазили. Но ведь у этой честной компании еще стоит пустая коммуналка на Литейном... оттуда ты тогда свою Заиньку забирал». — «Верно, братцы. А ну-ка, дармоеды, живо на Литейный!»

На Литейном столбом стояла остывшая за ночь пыль. Леонид шагнул под давящую своими неправильными пропорциями арку — во двор. Там беспокойный вихрь поднял вверх бумажки, будто записки к Господу Богу. Души квартировавших здесь пасынков судьбы привычно безмолвствовали в воздухе. Леонид пробился сквозь их спрессованную печаль, поднялся по стертым ступеням лестницы, отпер замок, издавший неожиданно радостный звук. Потыкался во все двери — одна из них сама отворилась. Венера Родосская ждала его промеж-ду двух мраморных скульптур в духе соцреализма. Взвинченный после бессонной и разбойной ночи Леонид Венере не удивился, удивился лишь тому, в каком дурном обществе ее застал. Это что — строители метрополитена или сталелитейщики? а где же узнаваемые атрибуты? мифология не терпит отклонений от стандарта... ежели ты Афина — предъяви копье. Отец ничего не говорил об этих двоих строителях социализма... как только пол выдерживает. Леонид позвонил в Павловск: «Слава Богу — здесь, она, собственной персоной, об остальном потом». Повалился на ложе обеих Зой, и Морфей унес его в Элладу.

Покуда Леонид, подобно Тезею, бродил в недрах критского лабиринта, мраморные воры сошли со своих мест и хорошенько обшарили карманы грезера. Наружную дверь коммуналки той порой открывали отмычкою — одно к одному. Братва Егора Парыгина внимательно разглядела спящего Леонида, на сей раз попавшегося ей при свете дня. Затем парни получше ощупали холодные плечи Афродиты, чтоб снова не обдернуться. Руководитель операции показал знаками — опустите, пожалуйста, синие шторы — окно выходило во двор и, следовательно, смотрело на чужие окна. Когда штора скрыла сердечко, прилепленное снаружи к стеклу, живые и тепленькие воры в камуфляже накинули заранее приготовленное одеялко на статую, белеющую посреди комнаты. Сдерживая сопение, подняли. Пошли, стараясь полегче ступать.

Леонид проснулся от шума торопливо выезжающей со двора машины, вскочил как ошпаренный, отдернул шторы, коих сам не задергивал. Афродиты в комнате не было, отсутствовал также один из ее мраморных ухажеров. Другой, будто желая дать ключ к разгадке, стоял на месте дамы, покинувшей помещение, и лыбился щербатым ртом.

Примчался Иосиф Каминский, поневоле заделавшийся из адвокатов в криминалисты. Ничего не смог сказать о каменном джентльмене, неизвестно как очутившемся на месте чужого преступления. Одно лишь новоявленный следователь констатировал с уверенностью: Афродита и на сей раз пленения избегла. Он пожал руку статуе вора, не думая вовсе о статуе командора, затем опечатал комнату Зои Савелкиной бумажкой со своей подписью. Забрал сына, немного сдвинувшегося на почве мистики и эллинистики, увез в Павловск. А что он еще мог сделать в этой ситуации?

Егор Парыгин в сердцах наносил побои мраморному изваянию с какого-то безобразного бомжа. Иной раз удары приходились по охранникам, они же при необходимости группа захвата. Ему, Егору, обрыдла хуже горькой редьки эта чертовщина. Умаявшись, он позвал своего духовника — у него таковой имелся — чтоб пожертвовать широкой рукой на церковь. Намерение само по себе благое, однако действия были предприняты не по той епархии. Мягко говоря, затруднения исходили с совсем другой стороны. Пожалуй, имело бы больше смысла обратиться непосредственно к олимпийским богам. Пока Егор беседовал с припожаловавшим батюшкой, каменный гость накинул камуфляжную куртку, натянул черную шапочку и ушел. Пошел к себе на окраину, пропил с себя камуфляж, встал на клумбу возле кинотеатра, переоборудованного под склад соседней мебельной фабрики, и уснул до поры. В непробужденном состоянии ему мнился остров посреди вкрадчиво спокойного моря, полуразрушенный грот, скрывающий мраморную белизну плеч богини, и влажный ветер оттоль целовал его грубо изваянное Творцом лицо. Так он и дремлет, качаясь, по сей день? нет, седьмого ноября его видели на Дворцовой во главе колонны с красными знаменами. Ошибочно приняли за сошедшего с пьедестала Ленина, отчего произошло сугубое волнение и наметился беспорядок в рядах демонстрантов.

Небывалая осень построила купол высокий, был приказ облакам этот купол собой не темнить. Оба Каминские не спешили покинуть Павловск. Старшему уж стало ясно, что молодой займет его место, Киприда же этот срок оттягивала, неизвестно почему. Они оттягивались втроем во внутреннем дворике, раз и навсегда турнув оттуда утомляющую своей жесткой энергетикой Лидию. Та продолжала набирать девочек в бордель, измеряя их сантиметром по талии и бедрам, а для Богом убитой Зои Савелкиной ввела эксклюзивную должность флейтистки. В Лидии все же текла сильно разбавленная — седьмая вода на киселе — благородная кровь, и вдобавок к греческому носу она получила филологическое образование. Триумвират дам — мать свою, Аллу и Серафиму — отстранила от исполнения прямых обязанностей, спасая фамильную честь, но возложила на них административные тяготы. Сестер Переляевых перевела в сестры-хозяйки, отчего бедняжки потускнели, будто синие птицы на свету, без устали считая простыни и махровые халаты. Киприда ни во что не мешалась — она ела с милыми голубой виноград, пила золотое вино, сидя в плетеном кресле, и золотилась, золотилась средь желтеющей листвы.

Клены выкрасили город колдовским каким-то цветом. Иосиф Каминский сказал, обращаясь непосредственно к Киприде: «Зоя! не будем ждать, пока отполыхает этот пожар.. уедем в разгар его...» — и взял авиабилеты на Кипр, не на всех, но на многих. На себя, и сына, и Киприду, неразлучных пока что Зоиньку с Даней, и еще сестричек Переляевых. Объясняться с Лидией по всем этим вопросам не счел нужным. Еще прихватили Менелая в качестве физической силы — по документам он проходил как Менелай Пападакис. Откуда взялись такие документы, лучше не спрашивать, но заявить его как Игоря не представлялось возможным, поскольку он на прежнее имя не отзывался.

До отъезда оставалась неделя, Зойкина квартира уж существовала в природе. Взяли машину, поехали смотреть — двое Каминских и Зоинька с Даней. Завернули на Литейный забрать кой-какое барахлишко. На постели Зой спал оживший бомж в Даниной пижаме — доброму вору все впору. Решили не трогать, нехай дрыхнет. Эти двое — один из них тут присутствовал — отныне пользуются покровительством бессмертной богини. Пока добрались до спального

района, повидали и второго — стоял возле типового здания кинотеатра, таящего в стен*а*х своих мебельный склад. Скованный по рукам и ногам, рванулся было вслед машине, но успел лишь поставить каменную пяту на ноготки, не то б*а*рхатки, не то петунии — и навек затих. А может — не навек? о город Медного всадника, ответь мне!

Штунде-отель «Эллада». Кафель в ванных, вазы на столиках — все сообразно названию. Вместо отсутствующей Афродиты на клумбе кой-как установлен расколотый барельеф с флейтисткой, надгробная плита ушедшим временам. Не слышно боле несмелой Зоиной игры. К простой продольной флейте аккуратистка Юленька привязала новую ленту, и темно-вишневая дудочка греется на груди Зоиньки, едущей в аэропорт. С нею в такси, помимо водителя, Даня и девушки Переляевы. В другом авто Киприда с Каминскими, подле шофера там Менелай с картонками на коленях. Шляпы Киприды — особь статья, скоро им трепетать под ласкою бриза. Алла же той порой разбирает уныло белье, а Серафима вяло дает указания на кухне, да неохотно Людмила деньги считает в саду, и Лидия дует губы, что не взяли на Кипр. Мад*и*на стучит посудой — ей новые девушки чистят картошку в защитных перчатках и тихо романсы поют. Неспешные будни борделя… а самолет взлетел.

Стоило лишь Киприде воздушными путями покинуть брега Невы, как на них немедля обрушил свою силу атлантический циклон, и целый год аномально хорошей погоды ушел в прошлое. Жители северной столицы, застигнутые кто где ненастьем, схватили в тот день жесточайшую простуду. Если она и не оказалась смертельной подобно горячке Акакия Акакьевича Башмачкина, то, во всяком случае, посещаемость павловского особняка снизилась существенно и надолго. Холодный ливень хлестал много дней на мраморные плечи бомжа возле бывшего кинотеатра, на фасаде коего поверх названия было теперь натянуто мокрое полотнище с надписью: шкафчик and диванчик. Беспричинные слезы, невидимые миру при столь неблагоприятных атмосферных условиях, струились из пустых глазниц изваяния. Нехитрые городские цветы вкруг его забредшей на клумбу левой ноги сникли и почернели. Другой бомж, пребывающий во плот*и* человеческой, единственный пока обитатель коммуналки на Литейном, проснулся поздним утром после дождичка в четверг. За стеклами на карнизе белел снег. Ленивец пошарил под кроватью, достал бутылку, отхлебнул, пощупал батареи — ура, затопили! — и уснул крепким сном неправедных. Кажется, судьба опять взыскала не того кого надо. Ведь истинным рыцарем красоты явил себя ТОТ, КТО СТОЯЛ ПОСРЕДИ КЛУМБЫ.

Три богатыря — Егор, Антон и Борис — гриппом не переболели, будучи своевременно привиты патентованной сывороткой. По первой пороше прикатили в заведение «Эллада». Птички от шин легли тремя разными узорами на холст ранней зимы — выбирайте, красавицы, какой вам больше нравится. Туи притихли, будто усомнились в том, что они вечнозеленые. Стоял ноябрь, с него же все тогда и началось. Скоро тьма придет, темень темная, темень темная, непроглядная. В борделе богатырям не показалось. Не то, не то… девушки вроде как девушки… ноги, каблуки… магии не хватает. От разочарования ущипнули Мад*и*ну — она одна была на человека похожа — но Лидия такой вольности не одобрила. Сволочь эта Лидия… из гр*я*зи да в князи. Лидия была вовсе не из гр*я*зи, скорей, может, Егор… Антон с Борисом — те вряд ли. В общем, друг друга не поняли. То есть Лидия-то отлично поняла, что надо менять девочек, но кавалеры уж заказывали по сотовому авиабилеты на Кипр. Прочь от этой тьмы… пусть растет без них слоеный сугроб на треснутой мраморной плите с флейтист-

кой. Мороз... оттепель... снова мороз. Где-то еще звучит волшебная флейта желания — в том краю, куда отлетела Киприда. Туда спешат последние птицы, зазевавшиеся было под куполом необычной осени, туда дует спохватившийся Борей, ворочая тяжкие тучи. Туда, туда... все, у кого есть такая возможность.

Зоя Савелкина ходит босыми ступнями по осыпающимся ступеням лестницы, ведущей к вилле «Киприда», что куплена Иосифом Каминским явно за название. Дудит в свою бедную флейту, как Джельсомина в трубу. Нижние плиты уходят в море, верхние возносятся к вершине холма, там античный портик щемит душу совершенством пропорций. К нему пристроена вилла, ей всего лет двести. Пересчитав в который раз ступени, Зоинька спешит в глубь миртовой рощи — уже нашла там древнее капище. Венера Родосская, записанная как ее, Зоинькина, собственность, стоит в ребристой раковине. Стоит, наверное, с того самого дня, как исчезла с Литейного. Безумная Зоинька не догадывается, что об этом следовало бы сообщить своим спутникам. Носит богине венки из бессмертников, играет мелодии сапфических времен, слетевшие к ней из ноосферы. Священная роща чутко внимает, и некому нарушить полноту гармонии.

Иосиф Каминский такой же хозяин виллы, как Зоинька владелица почитаемого издревле изваяния. Киприда проводит время с младшим Каминским, почти не замечая старшего. Им, Леониду и его несравненной подруге, принадлежат терраса на плоской кровле, тайные внутренние покои с мозаичным полом, каменная скамья на вершине холма, конусы кипарисов внизу и пальмы у берега, — все без изъятия, согласно неписаной дарственной. Каминскому-отцу, однако, осталось не так уж и мало. Кроме своих достоинств и своих воспоминаний, он сохранил все то, что запросто может отнять не только темница, но и просто нужда. Неотнятое поднималось из моря, клубилось в воздухе, так что все было терпимо. Девушки Переляевы нежно улыбались с обеих сторон другу своему стоику — видно, им было на роду написано принадлежать одному человеку. Сходство же их с Кипридой заметно возросло в этих располагающих к тому краях. Тут до Иосифа Каминского доползли слухи, отнюдь его не обрадовавшие: три толстяка — Егор, Антон и Борис — сняли на троих виллу «Крест» в часе езды от «Киприды». Однако визитов наносить не спешили, наблюдали издали. Следовало взять какие-то меры.

Антон и Борис, бывшие дотоле персонажами почти что склеенными, здесь, на Кипре, явили некоторое различие характеров. Антон уделял больше внимания древностям, Борис — женской половине местного населения. Должно быть, Афродита была не против обоих сих увлечений, поскольку вскоре явилась упомянутым господам во время их совместной прогулки. Егор накануне перебрал и в променаде не участвовал. Двое постояльцев виллы «Крест» увидали грот и в нем украшенную Зоинькиными венками беломраморную беглянку из Питера. Хотели было шагнуть под своды, но хладный камень затрепетал, и богиня удалилась в сумрак рощи, напустив на дерзновенных нарушителей ее уединения форменный столбняк. Ускользающая красота мелькнула на фоне темной зелени и пропала.

Катя Переляева, несшая через нижнюю залу поднос с чашками, вскрикнула и уронила его. Шоколад разлился, дополнив подтеками узор из коричневых прожилок на каменном полу. Было с чего вскрикнуть — мраморная Афродита стояла середь залы, держа в обеих руках по венку. На крик прибежали еще пятеро домочадцев Зои Киприди. Сама она, находясь в обществе Каминского-сына, не снизошла узнать, что случилось. Но каменная гостья, казалось, рада была и обществу Зои Савелкиной, что весь вечер просидела у ног ее, наигрывая

все тот же архаичный мотив. Сестры Переляевы плавно танцевали, обвевая платья около щиколоток, а Иосиф Каминский и Даня с Менелаем отбивали такт. Время бездумно летело. Казалось, и предпринимать ничего не надо, раз богиня изволила сама собой распорядиться. Это было очередное заблуждение. К тому времени уж прибыла так называемая охрана Егора Парыгина, и было их, этих псевдоохранников, человек двенадцать.

Простите, Егор что — шизанулся? Неужто он мог охотиться за статуей, какая бы начальная цена ей ни была назначена на аукционе Кристи и сколь бы дорого ее в конце концов ни продали, если на глазах двоих его друзей эта чертовка своими ногами ушла из грота? То-то и оно, что в состоянии аффекта человек не склонен доверять не только глазам друзей своих, а даже собственным.

Шел декабрь месяц, но море молчало — это была любезность Посейдона. Ветер легко перелетал из Африки, и в пении его слышалось: Александрия! Небо по ночам было ясно, Селена окружена ореолом. Из пены морской по лунной дорожке на лестницу виллы «Киприда» вышли четверо аквалангистов. Поднялись по ступеням, перешагнули порог залы, распахнувшей двери пустынному морю. Опутали крепкой сетью беломраморное сокровище и погрузились в воду, таща за собой тяжелую добычу. Подтягивая ее на борт яхты, увидали в лунном свете чудо морское с зеленым хвостом. От шока выпустили из рук веревку, и тритонище ушло в пучину, на прощание двинув хвостом под днище судна, да так, что бедное едва не кильнулось, Егор же Парыгин вцепился в медные поручни, изрыгая изысканные проклятия.

Зоя Савелкина проснулась раньше других обитателей виллы «Киприда» на подушке, мокрой от слез. Спустилась в залу, охваченная чуткой тревогой безумицы. Подняла с полу затоптанные вечнозеленые венки — сама плела их из цветов с жесткими лепестками. Не пошла никого будить, но сыграла свою излюбленную мелодию, твердившую: едва лишь красота ускользает от смертных, любовь их покидает. Звуки обошли по кругу, и прочиталось так, что первой уходит любовь. А в дверях уж стояли все, кроме Зои Киприди с Леонидом — не для них, не про них.

Менелай захандрил. Приступ тоски разрешился катарсисом, во время коего он вспомнил прежнее имя свое — Игорь — и стал не без оснований утверждать, что в Питере его ждет жена Лидия. Насчет ждет — это, конечно, преувеличение, но в остальном с подлинным верно. Ему немедленно предоставили сотовую связь с Лидией. Та плакала в трубку, умоляя: возвращайтесь все, без вас дела не идут. Деловая... хоть бы словечко мне... и пил с отвращением разбавленное вино, и с не меньшим отвращением смотрелся в зеркало. Позадь помятого мужского лица отражались вечнозеленые кипарисы.

В борделе царил полнейший бардак. Олигархи в отсутствие Зои Киприди носа не казали. Девушки, все как одна приезжие, обзавелись мобильниками и, превратив заведение в общежитие, работали по вызову. Исполнилась давнишняя мечта Мадины: она влилась в ряды и была востребована. На вновь постаревших Аллу с Серафимой легли готовка, уборка и все такое прочее, а вконец подурневшая Людмила тряслась над каждой копейкой. По счастью Лидии, хоть и не вдруг, но удалось сдать большую часть помещений. Выселенные девушки улетали, как стая птичек, на глазах удивленных жильцов павловских пятиэтажек. Решено было не прогонять лишь Мадину, служившую живым напоминанием о потерянном рае. Четверо дам ежевечерне провожали ее — она уходила, ставя

большие ноги в глубокий снег нечищенного двора. Тьма и антимусульманские настроения сгущались вкруг нее.

Итак, бордель раскрутить не удалось. Лидия давненько не заглядывала в дарственную на павловский особняк, а там давно уж значилось: Мад*и*не Рустамбековой. Сделав неприятное для себя открытие, хорошо воспитанная Лидия вздохнула: il n' y pas de bonneur que dans les viex communes — и положила о своем открытии никому не сообщать, документ же хорошенько припрятать. Как пришло, так и ушло — боги Олимпа прихотливы и изменчивы. Лидия была крепкая тетка. Накрасиво и твердо сжав тонкие губы, сделалась похожа на Ханну Шигулу — немецкая кровь у нее, потомственной петербуржанки, имелась в наличии. Валькирия полетела проведать коммуналку на Литейном. В ее с Игорем-Менелаем двухкомнатной квартире проживала т*а* еще свекровь, и Лидия попасть к ней в лапы вовсе не стремилась. Если Мад*и*на ненароком узнает о своем эфемерном праве собственности — так на Литейном четыре комнаты на четырех стойких дам благородной внешности. У юродивой Зои Савелкиной теперь есть своя квартира в новостройке, и на Литейный она, недееспособная, верней всего, заглядывать не станет. Лидия приладилась подбирать за отрешенной Зоинькой, не осматривающей как следует ветвей маслины.

На Литейном нашу валькирию ждали сюрпризы. Кое-что она уж слышала от отца и сына Каминских, но с тех пор ситуация изменилась. Прежде всего, ТОТ, КТО СТОЯЛ ПОСРЕДИ КЛУМБЫ, явно получил прощение Афродиты. Водворился, полный жизненных сил, под бок к товарищу своему, имеющему куда менее заслуг, чем нежели он сам. Снег лег на опустевший постамент, мебельная фабрика разорилась, однако ветер продолжал остервенело рвать холст с надписью «шкафчик and диванчик», как некогда кумачовый плакат, призывающий отдать всю власть советам. Ум хорошо, а два лучше — двое бомжей не стали пропивать чужих подушек и одеял, но додумались открыть на Литейном ночлежку для гастарбайтеров. Раскручивать и рекламировать не было нужд*ы,* да и опасно: по объявлению живо приперлись бы менты. Горемыки сами набились как сельди в бочку, спасаясь от холодов, и квартира заговорила на всех яз*ы*ках. Бравая Лидия этот хор перекричала и неукоснительно собрала дань, впредь назначив первое число месяца для внесения платы. По первое число она им и вс*ы*пала. Бомжам-учредителям сделала скидку, но велела мыть и драить. Заметим, что сама Лидия никаких юридических прав на контролируемую ею питерскую жилплощадь не имела. Тем не менее второе ее предприятие пошл*о* успешней первого. Сам север был ей здесь союзник: стоило ему дохнуть, завыть — и рыба шла косяком в расставленные сети.

Сеть, притащившая тритона вместо родосской Афродиты, вовсе не была порвана, так что Егор Парыгин в порыве досады и брезгливости совершенно напрасно приказал выбросить чудо-юдо обратно. Оно, чудо, беломраморное и прекрасное, в тот же день оказалось добычей молодого рыбака-грека. Парень вытащил тяжелый улов сильными руками, горланя песню о том, как трудно поймать в сети красавицу. Но это была не единственная Венера, угодившая в его невод. С*и*не море род*и*л*о* ему на радость еще одну, одетую пеной золотых волос. Когда он вместе с младшим братом своим приволок статую на виллу «Киприда», золотая Зоя на брата не взглян*у*ла, не взглян*у*ла больше и на Леонида Каминского. Отец с сыном подолгу сидели вдвоем на лестнице, у подножия которой плескалось усмиренное море. Поговорив о странностях любви, замолкали, глядя в одну и ту же жемчужную даль.

Какие-то арендаторы помещений павловского особняка съехали, пришлось

искать других. При оформлении нового договора понадобилась Мадина. Она пришла в клетчатом платье, предъявила российский паспорт, вывела крупными буквами свою фамилию и не стала дознаваться, почему ее позвали. Лидия сказала спасибо, перестала взыскивать с нее квартирную плату и успокоилась. Разве способен качать права человек, еле выучившийся ставить подпись. Скоро накрылся и ночной заработок Мадины. Однажды она явилась под утро сильно побитая. Пока разъезжались во все стороны фиолетово-желтые синяки, Лидия нашла потерпевшей место в цеху по пошиву багажных сумок, что разместился под крышей знаменитого вокзала. Мадина к месту привыкла, и респектабельность восторжествовала. Новый год встретили по-семейному. Лидия внесла остатки от арендных денежек на срочный вклад, послала поздравительные СМС Киприде и Каминскому-отцу. Алла, Людмила и Серафима спели трио. Живая елка в старинных бусах, колющихся хрупкими осколками, пахла петербургскими мифами.

Три товарища — Егор, Антон и Борис — надумали идти с повинной. Явились в Новый год на виллу «Киприда» с тремя ювелирными подношениями — своей богине и двум ее подобиям. Зою Савелкину они в упор не видели. Застали во главе стола юношу — расстегнутая холщовая рубашка, весь будто сошел с картин старых мастеров. Зоя Киприди именной, наиценнейший Егоров подарок отклонила. Отдала Заиньке, вновь обретшей прежнее ласкательное прозвище благодаря симпатии председателя пиршества. Девушкам Переляевым золотая Зоя чуть приметным кивком разрешила принять предназначенное им. Одаренные надели свои драгоценности, Киприда распустила драгоценные волосы и беспечно пила из одного стакана с новым фаворитом.

Возле вкрадчивого моря шли без снега и холодов январские дни. Иосиф Каминский после Рождества улетел в Испанию. Вел там дела каких-то олигархов, связанные с недвижимостью. Три мушкетера — двадцать лет спустя — переселились на виллу «Киприда», взяв ее пока что на содержание, поскольку у старшего Каминского от самоотвержения оголился банковский счет. Антон с Борисом, все еще слабо различимые, занялись по старой памяти сестричками Переляевыми, уже несколько заметнее обозначившими свои характеры, в общем, довольно ребячливые. У Егора поехала крыша — он влюбился в мраморную Афродиту. Сидел день-деньской в нижней зале, лихорадочно уставясь на предмет своего вожделения. Родосская Венера строила пустые глазки поклоннику, столько раз безуспешно пытавшемуся ее похитить. Леонид Каминский принялся писать неоклассические оды. Менелай, которого теперь уж другие-прочие люди не хотели звать Игорем, содержал в порядке сад — от чистеньких дорожек, от жесткой неувядающей листвы веяло грустью. Как всегда, из обоймы выпадала сама Киприда и тот, кто при ней сейчас состоял. Целыми днями в лодке, не жизнь, а сплошная баркарола. Дама кутает плечи в невесомый мех, гребец в суконной матроске, и хоть бы облачко в небе — зимы не будет, время остановилось. Вторая Зоя тоже бессрочно выпала из обоймы, и Даня надолго заделался ассистентом ее безумия — видно, такова была воля бессмертных богов. Заинька мастерила лавровые венки на чело Леонида Каминского. Подле ее колен Даня щипал лавровый лист для девушек Переляевых, отлично готовивших мясо. Вкусный запах несся, оседая на выступах скалы, худая лисица принюхивалась, неосторожно покинув нору. Морской орел присматривался сверху к ее яркой шкурке.

Питерская зима завьюжила, сводя с ума несчастных, успевших пропить все вырученное от продажи приватизированных хрущевок. В общежитии гастар-

байтеров ТОТ, КТО СТОЯЛ ПОСРЕДИ КЛУМБЫ, теперь возлежал на самом просторном ложе — Заинькином. Убрав мусор после снятия торговых палаток, запасясь питьем и закускою, в сотый раз повествовал товарищам о сошествии мраморного чуда в убогую питерскую коммуналку. О подвиге своем и великом стоянии перед нефункционирующим кинотеатром. О бархатках, ноготках и петуниях. О шкафчиках and диванчиках, в сыром тумане ожидавших погрузки, о покупателях, сидевших с отсутствующим видом на холодных тахтах меж равнодушных пешеходов. Надо бы сказать о красоте и рыцарстве, да не было в языке таких слов. Для понятности рассказчик подбавлял побольше брани, и действительно было понятно, еще как.

Мадина шьет на машинке с электроприводом клетчатые дорожные сумки. Под соседними лампами склонились головы ее новых подруг-мусульманок. Здесь, на севере, им хватает работы, но не хватает заботы. Давно ли цвел душистый куст под кухонным окном... какие добрые глаза были у Юленьки Переляевой... до чего охотно повиновалась бы ей Мадина там, на длинном острове Кипре, где лестница тонет в море. Мадина, к телефону! и милый голос Юленьки: «Приезжай, Киприда зовет... все договорено... Лидия купит тебе билет... тут сейчас много мужчин, много денег и много готовки... Даня встретит... ты нужна нам, девочка... мы тебя любим». Сразу изгладились из памяти ночные вызовы и побои. Вот уж она в воздухе... храни, всемилостивый Аллах, кругом виноватую Мадину! В Питер тоже летела и тоже тряслась. О прекрасный остров! дождись, не уйди под воду, подобно спине кита, доколе не сядет самолет! дай ступить ногой на твою каменистую почву, а там хоть и потони вместе с восхищенной Мадиной! Накренилось крыло, чертя над землею и морем. Лайнер соединился со своей желанной тенью, бегущей по плоскогорью в сдержанном свете зимнего солнца. Милый, милый Даня несет клетчатую сумку Мадины... такси не похоже на питерское. Дорога к своим... по обеим сторонам отдыхают от жары субтропические деревца — игрушечные пирамидки. Снова море, как тогда, в полете. Высокий холм, на нем дом с колоннадой — она не игрушечная, древняя и потому настоящая. Катя Переляева бежит к машине, развевая юбку.

Вернулся Иосиф Каминский, отстояв права крутых клиентов и заработав на независимую жизнь своим подопечным — на полгода хватит. Привез кой-какие подарки всем пятерым женщинам, будучи осведомлен о прибытии Мадины. Ей гранатовые четки да черную кружевную мантилью, Юле и Кате золотые цепочки с медальонами, Заиньке старинное зеркало в серебряной оправе, а Киприде неизвестно что. Она это неведомое и невидимое поцеловала, никому не показав. Неужто вернулись прежние времена? с нее станется. Жизнь обошла по кругу? на земле так мало людей? смотря каких. Но только темноволосая Заинька, поглядевшись в дареное зеркало, похорошела, почти как во дни питерского особняка. Ее теперь катает в лодке писаный красавец-рыбак, и неотделимые от Заиньки звуки флейты доносятся с моря. Морю это очень идет, оно охорашивается в неярких лучах, расчесывая кудри прибрежной пены.

Даня, встретивши Мадину в аэропорту, не оставляет ее надолго одну. По-прежнему щиплет лаврушку, чистит лимоны тонкой лентой, как на голландских натюрмортах. С приездом Мадины на кухне стало веселей, на столе живописней. Ее тяжеловатая фигура утвердилась у плиты, то есть все-таки на своем месте. Будь одна из вас ткачихой, а другая поварихой — не йди супротив предопределенья.

Февраль. Достать чернил и плакать. Уже неделю в Питере оттепель, в ограде павловского особняка сплошная каша. Барельеф с флейтисткой обтаял, на-

поминая о кроткой Заиньке. Опять свалил какой-то арендатор, а Мади*н*ы нет, Лидия в растерянности. Достала дарственную — там черным по белому написано: коллективная собственность Аллы, Людмилы и Серафимы. У Лидии даже не хватило сил обрадоваться. Небесные власти играют с ней, как кошка с мышью. Пока что проскочили, но впереди черт знает что. Содержание усадьбы съедает львиную долю доходов, четверо дам довольствуются остатками прежней роскоши. Червонная Лидия носит Заинькину оранжевую дубленку, на нее капает с крыши всякая грязь. Бубновая Людмила ходит в Кипридином манто из рыжих лис, которые в отсутствие хозяйки хиреют, лезут, попросту линяют. Трефовая Серафима достала из сундука черную атласную шубку столетней давности на серебристом беличьем меху серебряного века — шубка распахивается на ангелоподобной Серафиме самым поэтическим образом. Пиковая Алла влезла в черную цигейку сталинских времен со вздернутыми плечами. По вечерам вчетвером раскладывают пасьянсы, но те что-то не сходятся. Без Киприды у Лидии в любви сплошная непруха, а троица дам старшего поколения кубарем катится в старость.

Поговорим и мы о странностях любви. Оказывается, для того, чтоб повисла в воздухе необнаружимая, но всеми ощущаемая любовная субстанция, недостаточно старинного здания гармоничных пропорций. Она может зародиться, задышать и в коммуналке на Литейном. Стены не столь важны, важней присутствие Афродиты хотя бы в одном из ее воплощений — золотоволосой Зои Киприди или родосской Венеры. Годится и та, на которой покоится отблеск бессмертной богини, скажем, Зоя Савелкина во дни ее недолгого возвышения. Довольно бывает и тени счастливой избранницы, буддийского профиля на стене оставленной комнаты с высоким потолком, с окном, выходящим во двор-колодец. Бывает довольно и малости, бывает — ничего не хватит, хоть всю вселенную переверни вверх дном. Все ухнет в бездонную прорву, и гулко отзовется пустота. Где оно, это непостижимое, сейчас пребывает — там долго ясны небеса, там сокровенны сакральные сцены, самозабвенны участники их. Все обитатели виллы «Киприда» забыли, от чего танцевали, в гроте Венеры часты перемены. Февраль — ранняя весна на Кипре. В одно пронизанное светом утро родосская Афродита покинула стены жилья, вновь облюбовав священную рощу. Дама съехала на дачу, не опасаясь больше нападения со стороны окончательно прирученного кавалера. Заинька накануне дважды увенчала Леонида Каминского сплетенными в лодке венками и поутру спустилась богиню венчать. Не найдя ее середь залы, неуверенно направила стопы в рощу и в конце концов увенчала.

Покуда заинька Зоинька в роще блуждает, Игорь-Менелай прокрался к ней в комнату, пропахшую лавровым листом. Нашел волшебное зеркало, привезенное из Венеции еще во времена мавританской Испании — как темна глубина его, как ценна амальгама! Бородатое незнакомое лицо глядит из бездонного зазеркалья. Сидящий перед зеркалом испускает глубокий вздох и соглашается отождествить себя с отражением. Несколько раз произносит: Игорь... Игорь. И, вроде бы окончательно отрешась от имени Менелай, спешит к Иосифу Каминскому проситься домой в Россию. Черт с ней, с февральской весной, пусть ему отдадут причитающееся — березы, грачей, талый снег и жену, коли будет на то ее прихоть. Иосиф Каминский не стал спорить, заказал билет на имя Менелая Пападакиса. Даня отвез Игоря Заверяева в аэропорт, провожали Мадина и Зоинька. Передали подарки четырем карточным дамам — как весело их получать! Только взять в руки подарок Киприды, и все вернется назад. Летит самолет, прошивая тучи, жаждет его пассажир, сам не знает чего. Холода и туманов,

не на брегу Альбиона, а здесь, обязательно здесь. О, пробивайся, мое желание, сквозь плотную стену мглы, опереди, обгони судьбу, немилостивую ко мне. Только бы мне застать в живых придурочную страну, что разметалась ровнем-гладнем под накрененным крылом. Сели, подпрыгнули, значит, земля цела, дождалась меня. Ну, а жена — это как выйдет, хоть бы и не ждала.

В Павловске тянется бесконечный февраль, в сумерках близкой весны нахохлились вязы парка. Некто обросший и дикий стоит у ворот. Лидия, выйди, я Одиссей, объехавший целый свет — новенький мир, от острова к острову заманивающий вдаль. Лидия вышла со свитой из дам и приняла дары, милость Киприды почила на ней и блудном муже ее. Нет, он не Одиссей, Одиссеем зовут рыбака, что красоту поймал ненадолго в сети. Тот без труда научился на флейте играть — Зоинька отдыхает. Вчера увенчала в саду карликовый кипарис, такова картина болезни.

Присланные Кипридой перстни, запястья, драгоценные масла не могли не оказать воздействия на обитательниц павловского особняка и окрестную природу. Весна опрометью примчалась с Кипра и воцарилась в Питере со всеми извечными приметами. Потеют дворники, струится с крыш капель, зардели на лотках лимоны, апельсины, пригрело солнышко и высохла панель. Дальнейший текст дает основание предполагать, что повествование относится к обманному дню первого апреля по старому стилю. Однако в данный момент на дворе был лишь конец февраля. Нет нужды — обласканный погожими денечками Игорь Заверяев беспечно радовался благорасположению своей Пенелопы. Старшие дамы той порой кокетливо повязали волшебные шали Киприды поверх зимней одежды. Во второй раз необъяснимо помолодев, прогуливались в ограде, бросая вовне долгие взгляды. Наконец прилетела раньше времени первая ласточка — черный автомобиль встал у ворот, раскинувши крылья дверей. Ласточка подстать той, что сгубила крыловского мота. Кто-то из отцов-учредителей решил проведать заведение, на открытие коего опрометчиво отвалил кишку денег. Три дамы, мня себя хозяйками дома оттого лишь, что давненько, бедняжки, не заглядывали в чертову дарственную, величественно беседовали с гостем. Но гость решительно стряхнул лапшу с ушей и спросил Лидию. Та, прежде нежели спуститься, с замиранием сердца посмотрела в бумаги. Там ясно читалось: Игорю Заверяеву. Фамилии у супругов, заметьте, были разные, равно как и происхождение. Тем не менее Игорь Заверяев, будучи человеком восприимчивым, вернулся в Россию с изрядным грузом благородства в клетчатом саквояже, собственноручно пошитом и подаренном ему Мадиною. Как бы то ни было, Лидия явилась на ковер в полном самообладании. Визитер взял с места в карьер: «Я насчет документов на особняк. Прошел слух... что-то с ними неладно». Но Лидия легла грудью на амбразуру. На тонкой руке ее, кроме линии, известной хиромантам как кольцо Венеры, было еще пять Кипридиных колец. Запавший предприниматель дал себя увести на антресоли. Его тачка все еще стояла во дворе ночью, когда загорелось здание. Игорь, сделавшись опять Менелаем, с руками в бензине, дарственной на особняк и ключами от Зойкиной квартиры за пазухой, шел навстречу пожарным машинам — никто его не задержал. На клумбу летели горящие балки, и погоревшая дважды флейтистка встала в дыму с барельефа. Шагнула к чугунной решетке и, повторяя Зоинькин наигрыш, с ним удалилась вслед Менелаю. Ей посветили фарами в спину, напрасно — спины у ней не было. Только бессмертным пристало бесстрастие, смертные все обгорели на том же огне. Так прошли эти двое ночью по Павловску и уехали в Питер. Менелай Пападакис вез тяжелый кусок барельефа, треснувшего

на сей раз по контуру женской фигуры. Вез не к матушке своей Маргарите Петровне Заверяевой, где был прописан вместе с женою Лидией. Вез в пустую и поэтичную Зойкину квартиру — там звуки флейты еще стояли столбом. Дважды погореть — все равно что заново родиться. Флейтистка в проходе пустого вагона медленно танцевала, а Менелай отстукивал ритм на деревянной скамье, постепенно отходя и становясь Игорем.

Иосиф Каминский принял известие о пожаре на редкость спокойно: с огнем ведь не шутят. Кто знается с Афродитой, когда-нибудь да погорит. Егор Парыгин купил кусок земли со священной рощей, приказал выстроить павильон возле грота Венеры и пришел туда навеки поселиться — с подушками и перинами. Всяк безумствовал как мог, и девицы Переляевы, столь рассудительные благодаря французским генам, вдруг сошли с катушек. Явились вдвоем к Киприде. Воззвали к благородству последней, действительно имевшему место. Просили приложить руку к их замужеству, имея в виду, несомненно, Антона с Борисом — эк куда хватили. Зоя Киприди не любила ломать голову, она просто уделила им от своего очарования еще столько и полстолька. Как это делалось — одето сиянием неизвестности, подобно фокусу иллюзиониста. Тайны белой магии. В тоже время самое ее ни на дюйм не убыло — подпитывалась из вечного источника жизни, заключенного непосредственно в имени. Так что в течение нескольких дней кто-то из живущих на вилле даже окликал издали Катю и Юленьку то Зоей, то Кипридой. После присмотрелись, попривыкли и снова стали различать, или Киприда опять ушла в отрыв — за нею не угнаться, с нею не равняться. Но и копии с нее были хороши. Еще стояла вся в пыльце мимоза — уж стало ясно: Юленька и Катя заслуживают чеков покрупнее. Они их и получат, без проблем. Борис Острогин, сам в молодости похожий на актера Кадочникова и больший поклонник женской красоты, чем нежели Антон Балдин, охотно раскошеливался. Но чтоб он стал особо разбираться, которая из сестер Переляевых сейчас с ним — увольте. Забрать обеих с собой в Россию он бы не отказался. Над ванильными шоколадницами с одесских времен тяготел рок, сшивший их воедино суровой ниткой. Что такое рок — спросите у Леонида Каминского. Он грустно улыбнется, знаток древнегреческого, и Антон Балдин, наделенный классическим профилем, ценитель античности, охотно выслушает его объяснения, но жениться не подумает.

Четыре дамы из одной колоды прибыли в четырехкомнатную квартиру на Литейный с узелками погорелиц. Жилище имело вид гоголевской церкви, в коей поп не отважился более служить, поскольку нечисть при третьем крике петуха застряла в окнах и дверях ее. На всех кроватях спали немытые бомжи и безработные гастарбайтеры. Обычная самоуверенность покинула Лидию, и дамы сидели на кухне, не решаясь позвонить в милицию. Слишком много пришлось бы объяснять. Однако сильная аура Зои Киприди держалась в коммуналке. Диспозиция сражения еще не была выработана, когда раздался звонок на мобильник Лидии. Последний посетитель антресолей павловского особняка, в ту же ночь охваченного мстительным пламенем, звал госпожу Осельцеву-младшую приехать в подаренный ей дом. Раздача слонов продолжалась. Не у всякой дамы на руке прочерчено кольцо Венеры — дуга под пальцами Сатурна и Аполлона. Лидия прихватила с собой своих трех матерей и отправилась на Васильевский остров — жить, а не умирать. Проснувшись, бомжи в недоумении водили носами: благоухало дорогими духами.

Ну, а ТОТ, КТО СТОЯЛ ПОСРЕДИ КЛУМБЫ? у него, наверное, было имя? а как же — Анатолий. Будучи от природы наделен нежными чувствами, он нюхал

воздух, как хорошая собака. Взял след, ведомый одним лишь инстинктом, и помчался, как Белый Бим Черное Ухо, по недавнему маршруту таксомотора — на Васильевский. Напрасно клаксонили машины, пуская ему в нос выхлопные газы. Прекрасная особь, оставившая тонкий запах близ его лежбища на Литейном, скрывалась где-то за завесой смога. К вечеру Анатолий уж помогал дамам обустраиваться на новом месте. Двигал мебель, подбирал ключи к замкам и наконец-то чувствовал, что сердце его на месте. Сама Великая Лидия, властительница ароматов, разрешила ему остаться. И Великий Даритель, у которого, наверное, тоже было имя, но которого все называли по фамилии — Прохоров — утвердил ее решение милостивым «пусть находится». Жизнь пошла на новый виток.

Обжились, хоть это был отнюдь не дворец. Двухэтажный кирпичный домик, обреченный на слом и чудом отсуженный наследником — этим самым Прохоровым, чудом же сохранившим на него документы. Первые плоды реституции. Деревянные лестницы, хозяйские кованые сундуки и пузатые буфеты, брошенные выселившимися гражданами. Каких только неожиданных пристанищ не найдется в Питере для женщины из свиты Зои Киприди, да еще с таким редкостным знаком на ладони. Во всяком случае, это было лучше, веселей и свекровкиной квартиры, и той, на Литейном, даже если поднапрячься и выкинуть из материной коммуналки всех, кто ее оккупировал. В низенькие окна заглядывал любопытный по молодости март, вдоль улицы тек разливанный ручей, подмывая острые льдинки — домылся до треснувшего асфальта и до песка. Кипрская группировка поздравила дам с новосельем. Те спрашивали: «Возвращаться не думаете?» — «Пока еще нет...» — «Ну, во всяком случае, у вас есть куда вернуться... les voies de la Providence sont incomprehensibles»[1].

Словоохотливый домовой явился сначала Алле. Сидел белым днем на сундуке, сосал заднюю лапу, мохнатую, как у хоббита. Алла выронила банку с клубничным вареньем, домовой внятно произнес — увы, затем спустил вниз ногу, если это можно назвать ногой. Покачал ею, подобно одному из медведей, сидевших на золотой ветке, и произнес жаркую речь в защиту реституции. Алла примостилась рядом и стала очень живо рассказывать, какой домина был у прадеда ее — адмирала на Морской. Обещала показать фотографии. Домовой прервал ее излияния: «Лучше покажите документы, милочка». Тут уж Алла сказала — увы. Домовому было порядком за сто, и он навидался всяких сцен. Спросил участливо: уничтожили? Алла отвечала: «Ну да... все, документы, ордена и даже орденские ленты. А дом цел, там в советские времена размещалось учрежденье». Домовой почесал пятерней за ухом, потом достал из-под мышки, будто градусник, свернутые трубочкой бумаги, не на вверенное его заботам скромное здание — на адмиральский домище. Должно быть, у старых питерских домовых существовал своего рода профсоюз, и они общались непосредственно через печные трубы. Алла, развязав пыльную ленточку на свитке и едва прочитав, бросилась стремглав звонить Иосифу Каминскому. Споткнулась об осколки банки, поскользнулась на варенье, измазала разлетевшиеся сильные волосы, темные с проседью. На крик ее подоспела Лидия с мобильником, и Каминский был информирован о положении вещей непосредственно домовым — тот представился как «домоправитель с Васильевского». Раз начавшись, многоплановый роман Зои Киприди и дам из ее окружения с питерской недвижимостью не

[1] «Неисповедимы пути Провидения».

только продолжался, но и получил неожиданное юридически безупречное развитие. Не откладывая в долгий ящик, Каминский-старший звонил питерским коллегам, чтоб сию минуту возбудили дело о возврате собственности. Той порой по скрипучей лестнице дома Прохоровых на глазах у одной лишь остолбеневшей Серафимы поднялась вместо мраморной Венеры Елена Прекрасная в кокошнике. Серафима, по иронии судьбы в недавнем прошлом высоко ценимая куртизанка, на поверку вышла робка. Шлепнулась с размаху в длинных своих юбках на нижнюю ступеньку, основательно истоптанную купцами-большеногами. Прислонилась к перилам худеньким плечом, в каковом положении ее и застала «крошка Лидия». Та дала указание не искать по дому румяного привидения. Да и сама русская Афродита, будучи при всей красе застенчива, долго не показывалась. Однако дом, похоже, находился под Елениным покровительством. Когда какая-нибудь из дам терла глаза у старого медного крана, тотчас хорошела, словно умылась с серебряной посуды. Домовой же, в отличие от Елены Прекрасной, отнюдь не прятался, лицом же был отменно дурен, если вам угодно считать его образину именно лицом. Частенько сидел на сундуке под лестницей, нежно обняв за плечи не менее безобразного Анатолия, оба весьма складно пели в унисон «среди долины ровныя». От толстого зеркала в прихожей на крышку сундука падал радужный зайчик. Весна сияла, ровно сама умылась с серебра. Тут приехал Каминский-отец, и дело пошло семимильными шагами.

Прохоров приходил редко. Как хотел, так и приходил, его полное право. Квадратным лицом был красен как рак, в плечах отменно широк, станом вот уж не гибок. Кто советскую власть сумел переждать не кланяясь, тот, видать, силен. Иосиф Каминский знал его давно и держал за умного человека, который если и давал пенки, то лишь по женской части — седина в бороду, а бес в ребро. Усевшись за именным прадедовским самоваром, Прохоров неспешно перечислял Каминскому лазейки в сыром реституционном законе и слабые звенья стоящего намертво чиновнического оцепления. Ежели требовалось сказать о ком-то «он еврей», долго откашливался и формулировал следующим образом: этот не хуже ваших. Так, не хуже ваших, родили они вдвоем план операции, а родивши — держались его крепко. Приходится признать: оба были один другого не хуже.

Итак, Иосиф Каминский с увлечением осваивал новую игру под названием «реституция», а на вилле «Киприда» ему той порой подложили свинью. Прилетел в конце марта к такой вот петрушке: Зоя Киприди переселилась в павильон напротив грота Венеры, составив на сей раз по старой памяти компанию Егору Парыгину — к тому живо вернулся рассудок. Отшельник постригся, снял хламиду, надел джинсы и айда покупать виллу «Крест». Купил, а зря — Киприда ехать туда не пожелала. Смолчал, велел спешно благоустраивать павильон. Наутро по окончании работ, вновь обезумевши, позвонил Каминскому-старшему: сюда... на помощь! Призываемый подрулил к павильону. Нашел в Егоровой постели мраморную Венеру, Зоя же Киприди сидела в гроте на опустевшем постаменте и чесала волосы mit goldenem Kamme. Егору с Каминским в руки не далась, но позволила выманить себя рыбаку Одиссею, пришедшему с флейтой, ни дать ни взять заклинатель змей или гаммельнский крысолов. Лорелея вышла на звуки. Золотые волосы ее, столь долго чесанные, змеями лежали по плечам, лицо же напоминало лик Медузы. Созерцать любовь в ее страшном обличье Иосифу Каминскому небось не привыкать. Как-никак он вел громкие бракоразводные процессы олигархов. В верхних покоях его виллы снова воцарился Одиссей Ставриди. Однако юный временщик, казалось, вовсе не радовался, опять попав

в случай — прислуживавшая наверху Мадина видела его печальным и похудевшим. Остальные домочадцы старались туда не заглядывать — кто знает, что взбредет в змееволосую голову повелительницы. Однако недавно подружившиеся Леонид Каминский с Зоинькой не брали в голову. До спартанца дошел черед играть на продольной флейте, и получалось — музы ему благоволили. Умиротворяющую учебную игру Зоя Савелкина любила, в ней даже прорезался поэтический дар, ранее не наблюдавшийся. Даня, подстригавший вместо Менелая кусты, провожал равнодушным взором двоих чокнутых — те махали руками, читая друг другу стихи. Мадина с кухни подавала Дане в окно взбитые сливки с шоколадными стружками, и все четверо были довольны.

Гром грянул с ясного неба в апреле: Катя Переляева заявила, что собирается родить, и никаких гвоздей. В царстве Афродиты это было что-то новое, непонятно откуда взявшееся. Долго обсуждали и не могли выдать на-гора ничего умнее коллективного заявления: «Надеемся, что это будет девочка». Помолчали, потом добавили, совсем как в фильме Бунюэля: «Прежде чем попасть в бордель, ей придется окончить школу». Катю отправили с оторопевшим Иосифом Каминским на Васильевский, а заодно и Юленьку. Но дитя почему-то не состоялось, ни в том ни в другом варианте, впрочем, никто его особо и не ждал. Антон с Борисом, поскучав, вернулись в Питер к своему бизнесу, делу время — потехе час... зиму переждали, и ладно. Егор Парыгин без них протянул всего неделю и полетел следом вместе с запоздалыми стаями птиц. Птицы кричали в голубом просторе, борясь с северным ветром. Глобальное потепление планеты уравновешивалось всеобщим охлаждением чувств.

Дом на Васильевском вместил уже шестерых дам, а привычные черты борделя пока не просматривались — крепко пахло русским духом. Домовой с Толиком истово пели на сундуке: «Ухарь купец, стой, не балуй, дочку мою не позорь, не целуй». Прохоров топтался в сенях, спрашивал Каминского с порога о деле — дело так и летело. В конце мая дом на Морской был передан Алле Владимировне Славолюбовой без суда, по одним лишь административным каналам, исключительно благодаря связям Каминского. На Васильевском остались Лидия, домовой да приходящий Прохоров. Прочие под предводительством Каминского сплавились на Морскую. Тамошний домовой был одет голландским шкипером, курил крепкий кнастер и лазал в каминную трубу. Прижились и тут. Одесса скучала у Черного моря. Разведенная жена Иосифа Каминского, не мать Леонида, вторая — уехала в Израиль. Благодетель сестер Переляевых, в обозримом прошлом видный чиновник, досрочно вышел из тюрьмы и взял в дом сестер Котиковых. Его превосходительство любил домашних птиц и брал под покровительство хорошеньких девиц. Кто пожелал Юле с Катенькой, чтоб им было пусто, неизвестно, но что им было пусто, так это точно. Правда, пару раз Толик покупал сестричкам ландыши, предварительно пошарив в карманах Каминского-отца.

Затишье было недолгим. Однажды в большой гостиной дома на Морской воздвиглась Венера Родосская, а в вестибюле послышались знакомые голоса. Толик таскал плетеные корзины Киприды, средь коих затесалась клетчатая сумка Мадины. Одиссея не было видно — его оставили сторожить обе виллы. Зоя Савелкина и Леонид с Даней сами внесли свои легкие пожитки. Благосклонно настроенная Киприда возлегла на кушетку в позе мадам Рекамье, так что к вечеру и посетителей, и денег было хоть пруд пруди. Не протолкнуться, все мобильники в состоянии крайнего возбуждения. Зоинька с Леонидом поехали ночевать на свою квартиру в сопровождении увязавшегося Толика. Их встретил

Игорь Пападакис, или Менелай Заверяев, или как вам больше нравится. В любом случае он был пьян. Облапив обгорелую мраморную флейтистку, н*е* дал уложить себя в постель, но долго и сбивчиво толковал с Толиком. Зоя с Леонидом конца беседы не дождал*и*сь, и напрасно, а то узнали бы, что Прохоров стал человеком-мишенью. Быть или не быть, мстить или не мстить — не обсуждалось. Вопрос был в том, как и когда. Через пару дней против Прохорова составился блок из двоих алкашей и двоих домовых. Васильевский сухопутный домовой, принадлежащий к семье Прохоровых, вступил в тайную организацию за компанию, по пьяному делу и слабости характера. Против Прохорова-нынешнего он имел один лишь зуб: зачем разбазаривает наследное. Потому крутился и двурушничал, поспевая н*а* два фронта, и нашим и вашим. Зато протестантский домовой, что приплыл на шхуне (ему давным-давно стукнуло полтораста), оказался отчаянным малым и вдобавок оголтелым моралистом. Тут Толику с Менелаем подфартило, так что каша заварилась.

Постепенно выяснилось, что дееспособность Толика весьма ограниченная. Менелай же, по натуре мягкий, душегубства сторонился. Ему трудно было пристукнуть молотком живого, пахнущего тиною сом*а*. Бывало, Лидия засовывала скользкую, рвущуюся из рук рыбину, свернувши ее кольцом, в тесную морозилку советского холодильника. Пусть, дескать, «заснет». После Менелай, тогда еще Игорь, с трудом и сердечным сокрушением отрез*а*л мерзлую голову. Лидия варила из нее суп — как давно это было. Ничего, кроме уже освоенной тактики поджога, господин Пападакис предложить не мог. Православный же домовой — это не оговорка, шерстистый «домоправитель с Васильевского» носил здоровенный крест и откликался на имя Антип — он был против любого вандализма в отношении недвижимости. Питер же — так звали старого шкипера — напротив, рвался в бой. Потребовал было шлюпку к подъезду, потом удовлетворился обычным транспортом питерских домовых. Вылез через каминную трубу и на половичке, как на ковре-самолете, пустился посмотреть все на месте. Вернувшись, посчитал что-то на пальцах и начал запасать керосин.

Будучи не в силах сдержать натиск экстремистов, Антип разбрасывал по всей поднадзорной и находящейся в опасности территории малограмотные записки с предупреждением: вас прид*у*т жечь. Прохоров подбирал, бранил Лидию, что с утра не мел*а*. Когда захлопал крыльями красный петух, Прохорова в доме не случилось Лидия сама была не промах, да на беду увеялась к соседке — злоумышленники подгадали и подгадили. На высоте оказалась васильевская пожарная часть. Лидия прибежала — почитай уж потушили, и урону было мало. На Лидииных глазах выходила из дома в неопаленной душегрейке статная, прекрасная лицом женщина. Прошла по улице, не качнув плечом, ровно несла на коромысле грехи хозяев, не взвешивая и не судя. Пропала в отлетающем облаке пара — держательница мира. Мокрая, из пожарного рукава обл*и*тая Лидия сидела у растопленного камина на Морской. Антип плакал на рундуке в плечо Питеру. Менелай, после очередного отмщения становившийся Игорем — до очередного позора, пил с Толиком в Зойкиной квартире. Зойка готовила какую-то неудобоваримую еду, ожидая Леонида. Его только что взяли на работу в Эрмитаж, по совокупности оксфордского диплома и ходатайств двух крупнейших питерских антикваров — Антона Б*а*лдина с Борисом Острогиным, — вышедших из тени. Следователь, назначенный по делу о поджоге, хотел было вызвать повесткой сильно пахнущего керосином домового Питера, но Иосиф Камин-ский отсоветовал. За спиной «шкипера» благополучно укрылись питухи, подпустившие петуха. Прохоров затеялся престраивать слегка обгоревший дом,

посмотрел в документы — те успели переделаться на имя Антипа Иваныча Домовитого. Удивительное дело, но право Менелая на мщение свято признавалось читателями Гомера. За дом на Морской почему-то не опасались, он попал в руки владелицы иным путем, чем нежели все погоревшие. Или просто по беспечности, возведенной в абсолют.

По мощеной дороге между виллами «Киприда» и «Крест» ездят тени в призрачных экипажах. Шуршат платья дам, ступающих на подножку. Деревянная флейта выводит коленца в священной роще, принадлежащей Егору Парыгину. Играет Одиссей — нашел игрушку возле грота. Зоинька одновременно увезла и оставила дудочку, раздвоившуюся, как ее, Зоинькина, личность. Теперь один и тот же наигрыш звучит синхронно на Кипре и в Питере. Одиссей не знает толком, кого любил — Зою Киприди или Зою Савелкину. Леонид тоже не знает, кого любит. Вся оксфордская премудрость тут не поможет. На ветвях возле грота Венеры висит эолова арфа, получился прелестный ансамбль — юноша и ветер. Одиссей возвращается берегом на ту или иную виллу, бросив предварительно монетку, ветер ему сопутствует. Посейдон поднимает из пены морской кучерявую голову, громко кричит — Киприда! — и дует, дует во всю мочь, заваливая на воду паруса серферов. В море тайно ходит крупная рыба. Высохшая сеть Одиссея, не порванная Венерой Родосской, трепещет на ограде виллы «Киприда». Тщится поймать ветер, но это удел парусов. Рыбацкий парус иной раз нарисуется на горизонте и растворится в синеве. Что ищет — вряд ли просто рыбу, что кинул — поглотила даль.

Бомжатник на Литейном всех достал, соседи по площадке начали проявлять русское национальное единство. Что, был повод? Да, был. Помните ли Толиного товарища? Их обоих гнев Афродиты остановил в самый разгар квартирного воровства... как его звали-то? Величали, простите, по тюремной кликухе — Гнидою. В отсутствие Толика Гнида вел дела неплохо, но с явным креном в мусульманскую сторону. Эти не пили, и Гниде больше доставалось. Сейчас, в начале июня, у чурок была работа. Зиму пересидели в страшной тесноте, перебиваясь с хлеба на квас. Вели себя смирно, из последних грошей приносили Гниде жизненно необходимое. Гнида спрятал на полатях телефонный аппарат, чтоб за его спиной не звонили по междугороднему. Приметливая Людмила вскоре поняла, что связи нет, подхватилась и поехала навести порядок. Зеркальные очки в хорошей оправе глядели сурово. Нарочно отправилась вечером, чтоб ни один таракан не уполз под мойку. Жизнь распорядилась иначе — соседи настучали еще с утра. Людмиле пришлось наблюдать издали, как менты запихивают свой улов в два микроавтобуса. Насчитала шестнадцать человек черных и троих не пойми не разбери. Переночевала в предлагаемых обстоятельствах, предварительно позвонив на Морскую по сотовому. Ночью какие-то скреблись в дверь, но Людмила затаилась. Утром съела Гнидину колбасу, напрягла отдохнувшие мозги и отыскала телефонный аппарат. Машинально набрала номер бывшего мужа — его голос прозвучал печально — и сразу положила трубку. Посмотрела на себя в зеркало. Зеркальные очеса лежали на подзеркальнике, серые глаза глядели не менее сурово. Постучался сосед по площадке — водопроводчик Юра, воинствующий патриот, спросил, не нужна ли помощь. Нет, спасибо. Ушел. Лично для Людмилы феерия закончилась. Она решила пока что сдать три комнаты порядочным людям, и если Серафима надумает к ней присоединиться, взять ее к себе на раскладное кресло — девическое ложе Лидии. Серафима надумала — привыкла быть ведомой. Она-то и была младшей из трех

дам, в замужестве не состоявшей. Трамвайчик с прицепом, названивая, отправился по рельсам приличий прямехонько в тупик.

Бомжи загадили все, что можно было загадить. Приехали выручательные Толик с Менелаем, снесли запакощенное на помойку. Поехали на мебельную фабрику «шкафчик and диванчик», не то живую, не то издохшую, возле которой Толик некогда стоял посреди клумбы. Выяснилось — Прохоров выкупил ее с долгами и реанимировал. В результате меблирашки Людмилы были меблированы за счет фирмы. Нашлись и жильцы, а контингент Гниды затерялся средь огней большого города. Сам же Гнида пришвартовался на Морской. Пренебрегши прежде, единственно по неразумию, трудоустройством в павловском борделе, теперь с гордостью служил переживающему подъем делу Аллы и Лидии. Бегать от предначертания бесполезно. Лидия взяла бразды правления твердо, без дураков — цель была ясна, средства сподручны. Гниде выдали чистую тельняшку, произведя сразу в дворники, кухонные мужики и вышибалы.

Антон Балдин какую-никакую невесту себе нарыл. Не Катю Переляеву, нет. Взял за женой не золотые прииски, а пятизвездочный отель на Кипре — зимнее каникулярное время было потрачено недаром. Избранница оказалась дочерью нового русского, с присадкой одесской греческой и одесской еврейской крови, по материнской линии. Жених констатировал, что тут все сошлось: привязанность к Зое Киприди, уважение к Иосифу Каминскому, интерес к феномену греческой цивилизации. Во всяком случае, из борделя на Морской он пока исчез. Брачный контракт сам же Каминский и составил — обошлось недешево. Борис Острогин теперь курировал обеих сестер Переляевых, такой вариант давно напрашивался. Соответствовал как собственной его натуре, так и устоявшимся привычкам двух девушек. Катя с Юленькой были отлично вышколены и в такой — фи! — мерзости как ревность не замечены.

Что, у Зои Савелкиной в последнее время действительно наблюдалось раздвоение личности? Да, вы правильно расслышали. Перед отъездом в Питер она временами принималась говорить величественно-ленивым тоном. А то укладывала свои простенькие и со вкусом вещички в стильные корзины Киприды. Флейту бросила на пороге грота и бросила через плечо Леониду: Заинька заберет. Леонид дудочку поднял, убрал от греха подальше в свой рюкзак. Но едва отвернулся — на камнях лежала точная копия презренного Зоинькой инструмента. Леонид и сам был человек спорной адекватности. Одним закидоном больше, одним меньше, его это не пугало.

Когда Киприда сияет в гостиной заслуживающими драгоценного гребня волосами, сойдет любая девица, взятая Лидией по протекции. Белые ночи сменяли друг друга, и, не пуская тьму ночную на золотые небеса, светили ВОЛОСЫ, и белела Венера Родосская, просветляя сумерки.

Прохоров долго не чикался, дом на Васильевском отремонтировал за полтора месяца. В июле на Морскую дул свежий ветер с Невы, перелетая через невысокие здания. Прохоров пришел говорить с Лидией о будущем, считал — оно у них есть. Большая честь. И тут Лидия впервые сказала что-то путное о Менелае: он не уступит, я его немножко знаю. Устранять физически кого бы то ни было Прохорову и в голову не приходило, как-никак он был человек крещеный. Поехал бить челом вдове Заверяевой, та взяла подарки и сказала: «По мне так забирайте со всеми потрохами. Баба с возу — кобыле легче. Такого-то добра! Гулена». Но дело не сдвинулось ни на йоту. Поспешил светлым еще вечером к Зоиньке в спальный район, остановил возле дешевой новостройки основательную тачку, долго вытирал ноги о турецкий коврик. Толик с Менелаем, надрав-

шись, храпели. Леонид выслушал гостя внимательно, Зойка отрешенно. Нет, все что надо услыхала. Посоветовала серьезнейшим образом: «К Антипу... Антип поможет». И Прохоров отправился перевозить Антипа Иваныча Домовитого после ремонта в принадлежащий ему дом.

Небывалое, несбыточное дело: Прохоров финансировал наглое новоселье. Четверо заговорщиков-поджигателей собрал*и*сь на Васильевском за новым дощатым столом от фирмы «шкафчик and диванчик» — он был покрыт по светлому дереву бесцветным лаком. Прохоров вежливенько умотал, предоставив действовать теперь уже верному прихвостню своему Антипу. Питья — залейся, еды завались. Селедка кусочками в баночках... маринованные огурчики с мизинчик... фаршированные оливки — фу-ты ну-ты... нарезка такая и сякая. Разовые вилки и стаканы, кради — не хочу. Водка четырех сортов, по числу присутствующих персон. Антип: «Отведайте этой, голубчики». Анатолий: «Теперь, братцы, тяпните вон той». Нежданно подвалил Гнида — его как раз не хватало. Расторопный Антипушка и вовсе отпер бар — душа нараспашку. Глаза разбежались, но выбрали виски, а содовой никто не спросил. Антип все же продемонстрировал сифон, окатив корешей с ног до головы. Еще не видано такого новоселья — жечь бы да жечь, праздновать да праздновать. Вдруг пошло не по сценарию, но хорошо пошло, удачно. Гнида стукнул по фирменному столу: «Гнида эта Лидия! Даешь развод!» Зуб у него был на дамочку, собиравшую дань с его постояльцев. Гнида на воле как-то неприметно вырос в авторитеты, и четверо слушали, глядя ему в рот. Наконец прор*е*зался хозяин дома — Антип: «Гони ее в шею, Петруша, с Морской. А ты, Игорек, завтра же... какой у нас завтра день? понедельник? завтра же подай на развод. Станет у меня полы мыть, задравши подол... лба перекрестить будет некогда». Т*о*тчас стащили у Прохорова лист хорошей бумаги формата А4. Написали: «КЛЯТВА. Игорю с Лидией развестись и никому из нас на ней не жениться». Подписались впятером. Отныне Лидию ожидало незавидное будущее. Правда, наутро муж ее вновь проснулся Менелаем и вчерашнего не помнил, но Антип молча ткнул в его подпись. Будто нечаянно подвалил Иосиф Каминский со всем необходимым для ведения дела, в том числе и деньгами. Положил в дипломат также и КЛЯТВУ ПЯТЕРЫХ. Посадил Менелая к себе в машину: назвался гр*у*здем — полезай в кузов. Гр*у*здя ждали грустные хлопоты.

Все, за что ни брался старший Каминский, получалось шутя. У его клиентов бывали неудачные браки, но не было неудачных разводов. Дело катилось к свадьбе, как под горку. В начале осени Антип по собственной инициативе пошел сватом к Питеру на Морскую. Бояре, а мы к вам пришли... у вас товар — у нас купец. Осень опять стояла подарочная, для Киприды, а может, и для Лидии. Конечно, Лидия изрядная стерва, но раз жениху это п*о* фигу, то остальным и подавно. Я давно искал такую, и не больше, и не меньше. Уж очень *я*рки были парки, даже слишком. Лучи как мечи проламывались сквозь ветви. Стоял ноябрь уж у двора — светит, да не греет — третий ноябрь в нашем призрачном повествовании. Еще горели клены, как волосы Киприды, а свадьба зашумела. Сама Киприда на нее не явилась, не удостоила. Явилась та, другая, в собольей душегрейке. Но сидела неулыбой, чуть приг*у*била вина. Слишком много всего требовалось забыть.

Ну конечно, это для Лидии — синева ноябрьского дня. Ведь она сегодня княгиня, многая л*е*та пелися ей. Киприды за столом не было, Елена Прекрасная голов*ы* не подымала, а Лидия, казалось, просветилась торжеством. И не сводил с нее глаз снова сдвинувшийся Егор Парыгин. Считал про себя, во сколько крат его бешеные деньги превосходят работающий капитал Прохорова. Насчитал

такой коэффициент, что добра не сулил. Иосиф Каминский ерзал на стуле. Кабы было и всей беды. Вернувшись на Морскую, увидал пугающую маску горгоны на лице Зои Киприди и змей заместо волос. Киприда с Егором Парыгиным хромали на одну ногу. Таки вспомнила летние дни во внутреннем дворике павловского особняка, тонкогубую улыбку Лидии. Каминский приступал к своей царице с осторожкой: «Не пора ли, друг мой, заказать билеты на Кипр?» Не внемлет… не преклонит слуха. С северо-запада шквал налетел и снял урожай листвы.

Прохоров теперь жил на Васильевском. Антип Иваныч Домовитый, сам себя произведя в дворецкие, подавал тем не менее ему тапочки. С любовью что-то не клеилось, туго прощалось, мало верилось. Тещу Прохоров не приваживал, помня ее в двусмысленной роли. Немного веселей стало, когда Киприда отпустила Мадину на Васильевский кухарить — не без умысла. Кухарочка моталась туда-сюда, не вызывая подозрений Прохорова. Сновала как иголка, сшивая нынешнюю жизнь Лидии с прошлой. Киприда затаилась подобно камышовой кошке. Ждала, чтоб волна неуправляемой тоски накрыла Лидию с головой, и дождалась.

Там, на Кипре, зимы не бывает. Пятизвездочный отель приносил доходы, и Антон Балдин отправился в Париж наладить связи с турбизнесом. Жена его прокатилась по хорошему шоссе навестить стража двух вилл Одиссея. Языческие божества, всюду плотно населяющие округу, враги венчаний и обетов, с того дня покровительствовали их встречам в павильоне близ грота Венеры. Наследник балдинского капитала будет кудряв и беспечен — ох, промотает! Немного тише в священной роще, немного короче день. На постамент теперь встала другая мраморная Афродита, в позе немного иной. И та, Венера Родосская, благополучно цела в теперешнем обиталище Зои Киприди. Вблизи его подо льдом мчит воды короткая своенравная река, воплощенное стремление и прорыв к морю.

Лидия подъехала в такси к строгому зданию на Морской утром, часов в одиннадцать. Снежок мерцал под фонарем — фонарь еще горел. Сапожки оставляли узкие следы. Гнида встретил с парадного, а Фатима, взятая взамен отъехавшей Мадины, сняла с гостьи шубку. Сверху слышался гортанный смех Киприды, и Лидия поднялась по лестнице навстречу этому смеху.

Толик теперь проживал на Морской. От гостей отбою не было, Гнида в одиночку не справлялся. Менелай после развода переехал к матери, Маргарите Петровне, которая сильно сдала, как, впрочем, и он сам. Леонид Каминский по окончании испытательного срока получил постоянную работу в Эрмитаже. Зоинька пошла натурщицей в Академию художеств — от ее тонкой мимики и нестандартной пластики все тащились. Даня сделался толковым администратором в борделе на Морской — Алла Владимировна явно не тянула. Легко сменил смешливую Мадину на молчаливую Фатиму. Пустяк по сравнению с основной новостью. Всегда равнодушная к деньгам Киприда уступила Лидию Егору Парыгину за баснословную сумму и затворилась в одиночестве. Деньги до копейки сдала Алле Владимировне на обустройство обалденного заведения — храм есть храм. Куда юный Марсель Пруст снес китайские вазы тетушки Леонии? Про Прохорова никто не заикался, ровно его и на свете не было. Вспомнили, когда тот выгнал Мадину с Васильевского. Здравствуйте, я ваша тетя! И Толик внес в вестибюль дома на Морской порядком потрепанную клетчатую сумку кухарочки. Никто никого не убил, никто не пошел этапом по Владимирке. Только домовой Антип удавился на балке, свесив мохнатые ноги — так допекла беднягу тоска хозяина и его отвращение к жизни.

В борделе — простите, оговорка — в отеле на Кипре благодаря организационным способностям Антона Балдина процвела довольно своеобразная разновидность туризма, основанная на культе Афродиты. Рыбак, поймавший мраморную богиню в сети, стал гвоздем и талисманом тура, к гроту Венеры водили экскурсии. Правда, изваяние было уже не то, но Одиссея научили держать язык за зубами. Для рекламного буклета сфотографировали именно эту безымянную Венеру, а не ту, Родосскую. Зима обошлась без десанта Зои Киприди, следовательно и без эксцессов. Все происходило если не в рамках благопристойности, то хоть в каких-то привычных рамках. Но стоило Киприде передислоцировать свой штаб в какой-то населенный пункт, там стихии начинали бесчинствовать. Покуда на Кипре Дуня Балдина вынашивала дитя Одиссея Ставриди, в Питер пришла весна. Такая весна, какой не упомнят не то что старожилы, но и контуженные, не имеющие возраста домовые с горем пополам восстановленных загородных дворцов. Как шумели облитые молоком сады! Как летела ольховая пыльца в недвижную зелень прудов! Как некстати, не ко времени, не ко двору были одиночество, презрение, отчаяние!

Катя с Юленькой заявились на Васильевский в Духов день, упали в ноги Прохорову. От волнения мешая русский язык с французским, поведали, что им в борделе не живется. Не по ним, слишком весело. Прохоров немного помедлил с ответом и позволил прибегшим под его защиту остаться. Однако, верный себе, разделил их сросшиеся судьбы. Старшую, Юлию, вскоре возвел в метрессы, а меньшую, Катю, приютил «просто так», называя про себя свояченицей. На чем это невинное «просто так» будет держаться — не подумал, всего не додумаешь. Затевать развод побрезговал, вторично беспокоить батюшку, того или иного, постеснялся. Дом без домового уже к концу зимы почитай перемогся. Теперь, когда и весна доцвела, в самый разгар путины отчалил вместе с низкими островами в новое плавание, будто не было ни революции, ни реституции, ни проституции — и жить нам вечно, и плыть нам вечно. Не Лидию, так хоть Юлию простить, а все в Антипкину петлю не лезть. Чего там у Ваньки-встаньки внутри припаяно? не распотрошишь — не дознаешься.

Да, в борделе было куда как весело. Киприда, положив гнев на милость, возлегла в гостиной. Придите поклониться. И кошка может смотреть на короля, на королеву тоже. Иосиф Каминский выиграл крупное дело по иску одного из олигархов к швейцарскому банку — разглашение тайны вклада без достаточных на то санкций. Успел вернуться к началу белых ночей. Егор Парыгин разочаровался в Лидии и махнул на Кипр. Спешил оприходовать неизвестное изваяние Афродиты, объявившееся на территории рощи — роща принадлежала ему со всеми муравьями. Алла Владимировна к делу охладела, оговорила с Лидией денежные вопросы, сняла хорошую дачу в Павловске. Лидия пока что самозабвенно вербовала в бордель классных девочек — не путать с классными дамами. Матушка ее Людмила Сергевна Осельцева, собрав квартплату со скучных и скученных жильцов на Литейном, отправилась в компании Серафимы за город — к Алле погостить. Подруги поставили в ряд три шезлонга и вспоминали необычные свои павловские приключения, волнуя вздохами листву.

Борис Острогин увязался на Кипр вместе с Егором Парыгиным — счел необходимым. Прежде всего, он, антиквар, должен подтвердить или опровергнуть суждение Антона Балдина о находке. Кроме того — кто по жизни не без основания слывет жрецом Афродиты, того, конечно, заинтригуют нововведения в пятизвездочном отеле. Одиссей встретил прилетевших в аэропорту и повез прямехонько к гроту, но грот был пуст. Постамент как облизанный, безо всяких

следов изъятия скульптуры. Еще утром Венера была здесь. Уклонилась от встречи. Осталось разглядывать рекламный буклет, там были фотки сбежавшей. На одной из них — инсценировка, якобы Одиссей вытаскивает ее сетями. Вытаскивал он совсем другую, и никто его в тот момент не фотографировал. Теперь все это из буклета исчезло, взамен появились ослепительные снимки Зои Киприди в различных позах и минимальных одеяниях. Постояльцы отеля уж спрашивали, где ее можно увидеть, портье крутился как уж. Антону Балдину пришлось ткнуть пальцем в подоспевшего Егора, тому в свою очередь ничего не оставалось, как пригласить желающих приехать в Питер. К предложению отнеслись суперсерьезно, зафиксировали электронный адрес борделя на Морской. В тот же день вечером Даня, сидючи за компьютером, принял заявки от двоих бельгийцев. Комнат для них на самом деле не было, Дане пришлось пока что взять к себе обеих своих подружек — Мадину и Фатиму. А там умная Лидия разберется, решит, что делать. Поскольку Киприда наотрез отказалась участвовать в игре, с Васильевского срочно вызвали Катю Переляеву. Вот и пришел конец ее высоконравственному существованию в качестве свояченицы Прохорова. Все на свете когда-нибудь да кончается. Может окончиться едва начавшись, может и вовсе не начаться. Идея была мертворожденная. Теперь оставалось ждать, чтоб вслед за Катей на Морскую притащилась Юленька. Прохоровский дом снова оказался сообщающимся с борделем сосудом. Нависло, притихло. У Каминского-отца шевелились на голове наэлектризованные волосы.

Осенью родился Константин Антоныч Балдин — в нем греческой крови было более половины. Никакими разоблачениями счастливое событие не сопровождалось, только Одиссей тайком проскользнул взглянуть на дитя. Семя трагедии проросло на развалинах античного театра. На Васильевском она уж вопила во весь голос. Греческая трагедия никогда попусту не вопиет, кто-то должен был сойти в Аид, перевозчик ждал.

Юленька приехала на Морскую — шел четвертый по тексту ноябрь. Скоро засобиралась домой, но Киприда подала знак остаться. Где-то в смежных мирах катастрофическая энергетика Зои Киприди сшиблась с недюжинной силой Прохорова. Погремело и смолкло. Такси для Юленьки Даня вызывал на другой день к вечеру. Через час Катя позвонила сестре на мобильный — как доехала? Ответил Прохоров: «Нет ее... нигде... не ищите». Иосиф Каминский рвался защищать его на суде, но тот от защиты отказался. Сам нес невнятицу: «Коли отдал Юлии то, что принадлежало Лидии, так и взыскал с нее за обеих. Первый раз прощается, второй запрещается. Прощать до семижды семидесяти раз не обучен... может, на каторге поучусь». Туда и пошел, не сообщив читателю даже имени своего. Документы на прохоровский дом Каминский обнаружил у себя в дипломате. Вместо имени-фамилии безвременно ушедшего из жизни Антипа Иваныча Домовитого там было пропечатано: Екатерине Александровне Переляевой. Но поехать в проклятый дом решился только рационалистически настроенный домовой Питер. Потом за ним туда перебрались die drei Damen — Алла, Людмила и Серафима. Катя прочно осела на Морской как единственная теперь дублерша золотой Зои. Народ все ехал и ехал, не на Кипр, а в Питер.

По всей Ленинградской области, включая город Санкт-Петербург, бесшабашилась весна, уже четвертая в нашем повествовании. Спешно сушила дачу, нанимаемую Аллой Владимировной Славолюбовой. Трепала южным ветром белье на веревках, превращала простыни в пузатые паруса. Надувала мешком пододеяльники, забрасывала в них пригоршнями сережки с цветущих деревьев. Антон Балдин всякий день звонил Киприде, умоляя приехать. Он трижды пере-

издавал буклет, но вылезали те же фотки. Борис Острогин ошивался у него с зимы и не знал чем помочь — назревал бунт туристов. Киприда прибыла со свитой: обоими Каминскими, Зоинькой, Егором Парыгиным, Катей Переляевой, Даней и Мадиной. Поцеловала полугодовалого Константина и подарила ему лук с безопасными стрелами, после чего все стали звать его Купидоном. Оставила Катю вместо себя в отеле и удалилась на виллу. Следом туда явились обе мраморные Афродиты — одну через час обнаружили в зале, другую наутро в гроте. Расколотый барельеф с флейтисткой прирос снаружи к стене. Тень от высоко стоящего портика ложилась на маленький пляж. Двигаясь вместе с тенью, в плетеных креслах за легким столиком там подолгу сидели Зоя, Зоинька, двое Каминских. Море рождало несовременные звуки, словно тритоны трубили в раковины или пели сирены вдали. Одиссей Ставриди, отрекшийся быть талисманом отеля, вновь ловил рыбу и пропадал целый день. Катя Переляева поначалу фотографировалась с туристами, потом получила предложение руки и сердца от немца, уехала с ним в Гарц. На буклете быстро появилась свадебная фотография, легенда обрастала подробностями, бизнес процветал. Одиссей, причаливая, пел бесконечную песню — слова понимал лишь один Леонид. Сначала о сыне, который не знает отца, после о злой красоте, принявшей облик горгоны, дальше о рыбе, ушедшей к чужим берегам, или о солнце, давно уставшем светить. Когда в один прекрасный день к берегу он не вернулся, песня еще неделю слышна была из воды, будто бы пели рыбы. Стихло. Тогда золотая Зоя запела по-гречески. Помнила с детства от бабки, Софии Киприди. Пела о том, что у смерти губа не дура, любит она выбирать молодых и красивых. Голос Киприды похож оказался на голос Марии Каллас — Егор Парыгин послушал и побежал безумствовать к гроту Венеры. Киприда же без него устроила показательное купание. Присутствовали Каминские, Зоинька, Даня с Мадиной. В прозрачной тунике вошла она в море, волосы распустила в воде и дала одеждам уплыть. Чтоб не мешать ей выйти на берег, друзья удалились. Когда вернулись — нигде ее не было, только море пело точно Мария Каллас.

В отеле дела шли отлично, в борделе дела шли отлично — жизнь научилась теперь обходиться без Зои Киприди. Иосиф Каминский насовсем уехал в Испанию, сын его в Англию, делят друг с другом пиратскую славу морей. Прохоров сгинул в тюрьме — не поладил с ворами, не научился прощать. Игорь сидит в психушке — тоже не ладит с жизнью. Катя прислала снимки дочурки, смешной, белобрысой. Два изваяния Венеры исчезли в тот день, когда Зоя Киприди купалась, но барельеф сохранился на вилле, там часто флейта слышна. Зоя Савелкина учится в консерватории, ей уж под тридцать, но голос открылся только теперь. Как говорят педагоги, по тембру — Мария Каллас. Даня живет у Зоиньки, где-то нашел работу. Там, на Морской, они никогда не бывают. Лидия в штате оставила Толика, Гниду, Мадину. А на Васильевском Питер вяжет чулок, три дамы тихо стареют. Дарственная перекроилась на имя Питера Боома. Катя приедет в гости этой зимой. Будет зима обычной — долгой, темной и талой. Будет Санкт-Петербург плыть, как корабль по волнам.

Лидия Латьева

Моя война

Записки рогатой девочки

Когда моя бабушка Ефимия Даниловна — величественная, как королева — получила похоронку на старшего сына Леню, того самого Ленечку, который, имея троих детей, к бабушке относился с такой нежностью, будто она была его четвертым ребенком — и когда на него пришла похоронка, бабушка закричала нечеловеческим голосом, рухнула в землю лицом, выла и корчилась, а моя мама отливала ее водой из ведра.

А когда моя тетушка Таня получила похоронку на сына Вячеслава — того самого Славчика, который всегда улыбался такой белозубой улыбкой, что на эту улыбку, хочешь не хочешь, а улыбнешься, и который всем малышам в округе из дерева мастерил машинки, из бумаги планеры, а из металла отливал белочек-зайцев — она, не издав ни звука, захлопнулась в своей комнате. А мы — бесшумные, как фантомы — потерянно передвигались по дому, боясь текущей из-за закрытой двери боли.

На младшего брата мамы — Володьку — пришло три похоронки, из разных мест.

Но как ни старалась эта сволочь война, Володька ей оказался не по зубам и в самом конце войны отыскался в киевском госпитале. Раненый-перераненный, резаный-перерезанный, он умирал, истекая гноем. И даже мы, дети, знали, что для спасения Вовчика надо: клюквенный сок, смалец, яички, куриный бульон. Поэтому мамочка через каждые три недели — аккуратная, как часы — нагружала корзину с крутыми боками и, оглянув нас, строго предупреждала: «Смотрите мне тут!.. А я пошла в Киев». И — шла. Именно шла, ногами. В то время ни о каких поездах не могло быть и речи, поезда служили войне. Она уходила так буднично — как на базар — и я была совершенно уверена, что Киев — это какой-то дальний район нашего Вознесенска, где-то за плавнями или Бугом. И только в школе — к моему величайшему удивлению — открылось, что от нашего Вознесенска до Киева 600 немереных километров. И на всю жизнь в душе застрял безответный

Латьева Лидия Васильевна родилась в г. Вознесенске (Украина), закончила Ленинградский университет, отделение журналистики. Живет в Кишиневе. Работала в газетах «Советская Молдавия», «Вечерний Кишинев», в репертуарно-редакционной коллегии министерства культуры МССР. Член Союза писателей СССР (1963). Прозаик. Автор ряда повестей, пьес, либретто, эссе, книг о театре, радиоцикла «Семейный альбом» (1986–2002), романа «Развод». В «ДН» печатается впервые.

вопрос: «И как же она могла?!». Но и в войну, и после войны эти хрупкие женщины-мамочки так много могли, что уже никакими вопросами, да и ответами их безразмерную мочь нам, сегодняшним, — не постичь.

Ну а мамочка старалась не зря: Володька вернулся домой!

И вернулся — как праздник! Подарок небес всему Вознесенску. Веселый, находчивый, бездонный кладезь юмора, он знал все шутки, все байки, все анекдоты, все песни и частушки. Он играл на всех инструментах и даже без инструментов, на расческе, листочке, сорванном с дерева, и просто на сложенных в дудочку пальцах. Он был тамадой, украшением, сердцем всех наших праздников, свадеб, крестин. И когда однажды ему пришлось отбыть в Николаев, а у дочки кума Таиски ладилась свадьба, невеста, услышав, что дяди Володи не будет, яростно крикнула: «Так и свадьбы не будет!» И этим — невзрачная серая мышка — сделалась знаменитостью всей округи. Так как чуткостью сердца своего угадала, что свадьба начнется, кончится и забудется. А шутка дяди Володи не просто украсит ее, а навечно запечатлеет в восхищенной памяти нашего городка, такого падкого до всякого юмора.

И над чем только он не шутил!

И над чем только мы не смеялись!

И только одно-единственное событие — ни разу и никогда — не затронул ни словом, ни звуком — война!

О войне, боях, атаках, сражениях, о своих личных подвигах, за которые, кстати сказать, ему вручались награды, трижды убитый войной Володька молчал. И таким было его молчание, что мы боялись его. И боялись тем более, так как знали, что, несмотря на славу непревзойденного жизнелюба, Володька больше всего желал и искал покой. Любил рыбалку. Охоту. Но с рыбалки, бывало, придет без рыбы, с охоты — без дичи. Бывало, неделями нет его дома. Его жена Любочка, как бы зовя его своим ожиданием, напечет и наварит всевозможных любимых блюд, а Володька ушел — как пропал. И Любаша, бывало, сорвется, разрыдается, раскричится и прямо с порога давай швырять эти блюда собакам, проклиная долю свою: ни жены, ни вдовы.

А бабушке — с ее безразмерным сердцем — горе невестки невыносимо. И вот возьмет меня за руку, пойдем на край сада, на самый обрыв. Дом на горе, и отсюда — как на ладони — виден земной простор: и сады, и речка, и плавни, и высокое небо, и текучие облака, и парящая в небе птица. И мы смотрим, ищем глазами Володьку. И я наконец увижу: да вот она его лодка, уперлась носом в камыш, в самую гущу, будто хочет зарыться, забиться, не быть! И Володька в лодке даже не шелохнется. И все это вместе — речка, лодка, камыш, неподвижный Володька — словно картина, нарисованная художником. И такая тоска, такое лютое одиночество, такая неизъяснимая неприкаянность в этой картине, что помню, как я разрыдалась, воткнулась в бабушкины колени и заклинала ее, содрогаясь всем телом: «Не зови его, не ругай и не мучь! Пусть сидит!»

И вот прошла уже целая жизнь.

Бежит-бежит быстрое время, делает свое дело... И много чего в этой жизни происходило, и многое из того, что считалось значительным, стерлось и позабылось, не стоя и ломаного гроша. Но вот эти мгновенья жалости и состра-

дания, эти прозрения детского сердца навсегда остались во мне. Открывая высшие смыслы человеческих душ и событий.

И среди прочего мне открылось, что война — жесточайшее, беспощадное дело. И что, случившись однажды, она не кончается никогда, пожирая живую силу души человека. И еще мне открылось, что у каждого человека — у бабушки, Ленечки, тетушки Тани, Славчика, мамы, Володьки, Любочки, у каждого дома и сердца — своя война.

У меня тоже — *моя война.*

И такая она живучая, так въелась в каждую клеточку памяти, что, бывает, закрою глаза и — как в кино — ярко, всеми чувствами, вижу и чувствую картины войны. Будто сама Природа нарочно, пока мои детские чувства не потеряли свою восприимчивость, опустила меня в ядовитый раствор народного горя. Чтоб я познала ее, эту жизнь и уже навсегда ощутила ту высшую точку отсчета, с которой буду судить абсолютно все, что происходит в человеческой жизни, в ее беспощадной схватке зла и добра.

Борька, Славчик, Володька

Война уже началась. Но она началась еще где-то там, далеко. И оттуда, из этого далеко, до нас катились черные волны слухов, ужаса, горя. Они ударялись о наши сердца. И сердца вскипали духом отмщения.

Для меня этот дух воплотился в Борьке, Володьке, Славчике.

Борька и Славчик — мамины племянники, Володька — ее младший брат. Они одногодки, мальчишки, каждому не было и семнадцати. У Борьки — косая черная челка на белый лоб. У Славчика — ослепительная улыбка и отборные, как в кукурузном початке, зубы. У Володьки — бедовость и бесконечное шутовство, и звонкий, летящий куда-то в самое небо голос.

Война началась. И Борька, Славчик, Володька превратились в одно существо, в настоящий вулкан, дышащий общей страстью — защитить свою землю и Родину! И, бывало, куда ни ткнешься — к кустам смородины, в сарай к дедовым стружкам, с ведерком к колодцу — везде наткнешься на них: присели друг перед другом на корточки, три головы сомкнулись одна к другой и намертво замерли, разрешая самую жгучую из задач.

Конечно, никто мне об этой задаче не говорил, но я знала без слов, что таких, как они — неполных семнадцать — на войну не берут, военкомат не пускает. И вот, сомкнув голову к голове, они бурно шептались, как сломать упорство вредного военкомата. И каждый раз, дошептавшись до мысли, что пора, давно пора уже сделать, как делают все пацаны — приписать себе годы, они исчезали, чтоб вечером появиться ни с чем. Но чем чаще они возвращались ни с чем, тем яростней разгорался их взгляд, и даже я, напоровшись на эту ярость в глазах то Володьки, то Борьки, то Славчика, обжигаясь и трепеща, всей собой понимала, о чем она говорит: ничего, ничего, наше дело правое, мы — победим!

И вот помню, палево лета сорок первого года, в мареве зноя весь мир расплывается и дрожит, как нереальный, и я под тенью акации, от зноя спасаясь в корыте с водой, обмахиваюсь панамкой. Ее белизна, мелькая туда и сюда, действует как гипноз, всю меня растворяя в блаженном покое зноя.

И вдруг...

Именно *вдруг,* от ничего, будто весь мир в каком-то мгновенном испуге вздрогнул, обрел реальность и потрясенно замер, а от его толчка во мне ударилось сердце и распахнулись глаза.

Наш двор находился в низине. Справа — гора, а впереди, до самого горизонта, возвышаясь над нашим двором, раскинулась земля огородов. И вот по простору этой зеленой, как изумруд, земли — будто выросли из нее или даже будто упали с неба — шли Борька, Славчик, Володька.

Они шли «по-под ручки», сцепившись руками, они словно впаялись один в другого и даже не шли, а шагали, общим напористым шагом, цельные, как скульптура, в ослепительном вареве зноя отливающая серебром.

В этом сцеплении рук и чувств, в напоре их общего шага было такое беспрекословное торжество победы, что я догадалась: военкомат сломался! И тем более догадалась, что всю меня окатило горячим стыдом. Боже, как стыдно быть маленькой и болтаться в корыте с водой, когда такая Победа сияет перед тобой! Я шлепнулась пузом в корыто, ужалась, скомкалась вместе с панамкой, я готова была утопиться и захлебнуться, только б не обнаружить себя!

Но победа слепа.

Они, дойдя до конца огородов — не размыкая сцепленных рук — прыгнули к нам во двор, прошагали к крыльцу, вошли в дом. Не обратив на меня никакого внимания.

Сейчас моя память не может выстроить точное время военных событий, и мне уже трудно сказать, как они развивались. Но помню, что скоро, удивительно скоро после этого знойного дня мы уже знали, что Борьку убило в самом первом бою, Славчик погиб на Днепре, а на Володьку одна за другой, из самых разных точек планеты, шли похоронки.

А потом, далеко-далеко потом, покатилась наша мирная жизнь. И много чего эта жизнь и писала, и говорила о войне и ее героях. И многое было правдой. И многое было ложью. И многое утаилось. И многое, очень многое, чудовищно оболгалось. Но как бы эта жизнь ни крутилась, как бы она ни старалась выкупать нас во лжи и беспамятстве, в моей душе при одном только слове *война* неизменно вспыхнет картина: знойное лето, изумрудный простор огородов, трое мальчишек в сцеплении рук и сердец.

Мальчики светлые.

Бессмертная совесть народа.

Тишина

И даже понять не могу, что откуда берется.

А если представить, что дом наш был на отшибе, в яме, почти у окраины города, дальше уже огороды, речка Мертвые воды и плавни. Бесконечные плавни, плавни до горизонта, до самой-пресамой точки, где кончалась земля и начиналось небо. А сам дом уперся в подножье горы, двор врезался в гору, гора облицована камнем, над этой каменной цитаделью вилась узенькая дорожка, она уходила все выше и выше, и надо было довольно много всего пройти — дорожек и переулков и улочек, чтоб выйти на улицу Клары Цеткин, главную улицу Вознесенска. Впрочем, не главную. До главной идти и идти. А этот широкий

шлях, улица Клары Цеткин, соединял наш район с другими районами города. Мой дорогой Вознесенск строился графом Потемкиным, здесь размещались его военные лагеря, и эти районы города, соединенные улицей Клары Цеткин в единую цепь, мы называли так, как они назывались в старинные времена: лагерь номер один, номер два... И в детстве я думала, что город наш не имеет конца. Хотя именно там, за лагерями, он и кончался.

То ли меня пугала бесконечность нашего города, то ли я от природы была улиткой, но я не любила покидать пределы двора. Здесь, во дворе, вмещалась вся моя жизнь: наш дом с широким крыльцом, мой братик Борька, моя сестричка Тамарочка, моя мама и тетушка Таня, мой палисадник с его вьюнками, дом моей куклы Раечки, бесконечная игра в строительство этого дома, мои мысли, чувства, переживания, весь мой внутренний мир, беспрерывно перерабатывающий в себе все, что меня окружало. Кстати сказать, для этой работы внутри себя мне хватало самых обыденных впечатлений: пролетит птица в небе, пройдет человек с ведром по дорожке, вечно дрожащий кролик выскочит из сарайчика, чтоб обнюхать травку за травкой и одну из них пожевать, мамочка вернется с базара, обдавая меня улыбкой и запахом свежего хлеба, буханка которого — пахучая, пышная, круглая — завершала гору продуктов в плетеной корзинке с крутыми боками. Все, абсолютно все, каждая мелочь, изо дня в день повторяясь, казалась мне новой и задавала такую работу, что всегда не хватало дня передумать, переиначить, перефантазировать и пережить.

И даже не знаю, что вдруг случилось, какая тайная сила, волны какой тревоги вдруг вырвали меня из этого мира. Но помню, играя с куклой, я *вдруг* ощутила что-то... что-то мне показалось... что-то послышалось... что-то мелькнуло поворовски и исчезло... что-то где-то случилось... И ощущая внезапное беспокойство, я быстренько, как бы пряча Раечку от подбирающегося удара, уложила ее в кровать, накрыла голубеньким одеялом, старательно подоткнув одеяло ей под бока, и — как зверек — напряглась и стала вбирать в себя все, что вбиралось: движение воздуха, запахи, шорохи, незримые токи природы...

Ничего необычного не было.

Все как всегда.

Беспредельная тишина.

Но что-то все-таки было! Что-то было и звало меня! И я поднялась, и пошла на этот таинственный зов. Пошла за дом, за калитку, по узенькой тропочке на горе, мимо горячих колючек чертополоха, все выше и дальше от дома, мимо еврейских бедных домишек, мимо колодца, по переулку... А здесь, меня обгоняя, торопились разные люди. Женщины на ходу вытирали руки о фартуки и поправляли сползающие с волос косынки. Что-то неодолимое всех нас несло. И вынесло к улице Клары Цеткин, и здесь мы остановились.

Я оказалась в толпе. А мне не было четырех, я топталась и ужималась между ногами взрослых, и кто-то один от меня отодвинулся, другой подтолкнул куда-то вперед, третий, схватив за плечи, поставил перед людьми, и я увидела то, ради чего мы сюда сбежались.

Они шли в сторону лагерей, к окраине города. И шли, как положено всем солдатам: строгим суровым строем, черные скатки через плечо, на боку оловянные котелки. Но я эти скатки, эти белесые котелки и даже лица увижу только первым, одним-единственным взглядом. Гляну и — обожгусь. И в ужасе опущу

глаза. И уже ничего не увижу. Кроме тяжелых ботинок и пылью покрытых обмоток.

Они шли, вбирая дорожную пыль, и казалось, это не ноги в обмотках идут по земле, а сам дух земли, ее бессмертная сила, выступая наружу, течет, унося ботинки, обмотки, скатки и наши сердца.

Они уходили.

Они оставляли город.

Они уходили молча.

И мы провожали их молча.

Но сила этих наших общих молчаний раздавила меня. Я физически ощутила, как солнце в небе потухло, вспыхнула яркая тьма, и сквозь нее — бесконечным потоком в моей голове — двигались ноги в пыльных обмотках.

Они и сейчас, стоит закрыть глаза, идут сквозь меня. И острее любых состояний я боюсь — тишину. И, бывает, проснувшись ночью, от ничего, от неизъяснимого толчка тишины, я вдруг ощущаю, что где-то что-то случилось, кто-то меня зовет... И, вгрызаясь в эту зовущую тишину, открываю, что это души солдат, с их взыскующей немотой, стучатся в мою, и я им слово даю, я клятвенно обещаю не забыть, сохранить, устоять перед беспамятством жизни...

Жёлтые хризантемы

И сразу же после дня Тишины развернулись бомбежки.

Ужас бомбежки не передать. Только и помню: ночная дорога, надсадный вой самолета, бегущие в панике люди, и даже не люди, а несомые ужасом тени, поющий свист пуль мимо уха, приказ мамы: «Пригнись!», и вдруг откуда-то, неизвестно откуда, чей-то истошный, обезумевший вопль: «Ложи-ись!» И тут же зарево взрыва. И будто от самого центра, от самой своей пуповины взорвалась земля, и всех нас подбросило в небо.

Ночью, во время одной из первых бомбежек мы бежали в бомбоубежище. И я, вцепившись всей силой пальцев в ладошку мамы, оглохнув от воющих самолетов, взрывов и стука сердца, бежала, бежала, бежала, чувствуя, что мне почему-то все тяжелей бежать. И, видно, я тормозила всех остальных, потому что брат Борька — он бежал, вцепившись в другую руку мамы — оглянувшись из-за ее спины, крикнул мне грозно:

— Ну, что ты заковыляла?!

Действительно заковыляла, нога спотыкалась, тело стало тяжелым и не хотело бежать. Но я была ребенком своих родителей. И, всей собой понимая, что нельзя подвести других, я так страстно старалась бежать, что, когда взрывом и воем очередного налета в толпе таких же бегущих людей, детского плача, женских истерических голосов нас всех закинуло в бомбоубежище и мы упали и раскатились по сторонам, и я потеряла ладошку мамы, я так испугалась, что забыла себя, а молча, натыкаясь и откатываясь от упавших тел, не криком, не зовом, а напряжением сердца мацала по земле, по чужим рукам, ногам и телам, пытаясь наткнуться на ту единственную из рук, мое спасение в этом кипящем аду.

И когда кто-то крикнул: «Кровь! Девочку ранило! Чья это девочка?!», я даже не ощутила, что этой девочкой была я.

А потом уже помню лавку бомбоубежища, тусклую лампочку в рыжем каменном потолке. Женщина с красным крестом на косынке, сбросив тяжелую сумку с плеча, бинтовала мне ногу и, глянув вопросительно-осторожным взглядом, спросила, как зовут мою маму. Тут же маму стали звать на разные голоса, и скоро из-за плеча этой женщины появилось ее пылающее лицо, а потом я, уткнувшись в ее колени, под гнетом вины перед ней, бессмысленно повторяла:

— Я не хотела, мамочка, не хотела...

Я не хотела, чтоб меня ранило, чтоб я стала обузой.

Не помню, как я уснула.

Помню, проснулась.

В каменном потолке по-прежнему тускло светила лампочка. Дергаясь, ныла рана в ноге. Моя голова была на коленях мамы, с другой стороны от нее спал Борька. Сама мама, приткнувшись к стене, бессильно обмякла, закрыв глаза. Но время от времени, как бы напоминая мне о себе, она проводила рукой по моим волосам. И я, теперь уже защищённая, внимательными глазами стала смотреть вокруг.

На лавках и на полу, кто на чем, лежали самые разные люди. Женщины вжимали в себя детей, глаза лежащих были закрыты. Люди спали. Беззащитность их сна и сама изнеможённость тел напрягали меня. Мне стало казаться, что пока они спят, с нами случится что-то непоправимое. Я воткнула глаза в потолок и стала ловить хоть какой-то звук наверху, чтоб понять, что там происходит. Но звука не было. Тишина наверху и внизу. Будто не было ни войны, ни самолетов, ни воя, ни взрывов. Однако странная вещь. Чем глубже я врезалась в эту бездыханную тишину, тем она — своей плотностью и непредсказуемостью — становилась все более угрожающей. Будто там, наверху, вместо бомбежек и взрывов стало происходить нечто более жуткое. Жуть этого жуткого, сгущаясь, становилась невыносимой. Я ощущала, что все мы в ловушке, уже никогда не выйдем отсюда, из этого каменного мешка. Война нас похоронила, как хоронили утонувшего в речке соседского мальчика, закопав его в землю. Да, я уже догадалась, что все эти люди — на лавках и на полу — не спят. Они, как и я, тоже слушают тишину и тоже ее боятся. И этот наш общий страх так охватил меня, что вот-вот закричу, диким, мне не подвластным криком...

И в эту минуту вижу сестричку Тамарочку.

Бомбоубежище было вырублено полукруглыми залами, один зал отделялся от другого своеобразной аркой, сужавшейся по бокам. И Тамарочка появилась из-под арки соседнего зала. Тоненькая одиннадцатилетняя девочка, в зеленой вязаной кофточке, с рядом мелких, густых, тоже вязаных пуговиц, «пуговки-бубочки», вся как зелененькая тростинка. А на груди, на зеленой кофточке красовался какой-то немыслимо распрекрасный, пышный желтый цветок.

Это было не появление, а явление. И шла она, как ходят все эти ангелы, феи и нимфы в сказках, легко, будто по воздуху. Издали она смотрела прямо в меня и улыбалась такой лучезарной улыбкой, словно она возвращалась из чуда, и оно, это чудо, было таким чудесным, что освещало всю ее целиком, от глаз до походки. Она подошла, опустилась на корточки, перед моим лицом светилось и улыбалось ее лицо, сплошной сияющий синий взгляд, невыносимо яркий на фоне зеленого поля кофточки.

— Что это? — заражаясь ее сиянием, я тронула желтый цветок.

— Хризантема, — шепнула она сквозь улыбку. И, обхватив меня, приподняла, прижала к себе и понесла. Туда, откуда пришла, по той же невидимой мне дорожке, тем же легким, будто по воздуху, шагом.

Пройдя несколько залов, сестричка остановилась, и я увидела чудо.

Это было целое поле детей.

И все эти дети из желтых листов бумаги вырезали желтые хризантемы. Кто-то, вырезав свою хризантему, вколол ее в волосы, кто-то на кофточку, как Тамарочка, кто-то из хризантем создавал букет. Все они трудились с каким-то тихим восторгом. А в центре этого поля сидела женщина, на коленях корзинка, в корзинке бумага, нитки и всякая всячина, нужная для работы. Какую-то девочку женщина обучала, как резать бумагу, чтоб получились узкие, длинные, завивающиеся лепестки. И вся ребятня, распахнув глаза, не дыша, следила за ее тонкими ловкими пальцами. Не прекращая работу, женщина улыбнулась нам издали, подвинулась на скамейке, сказала:

— Присаживайтесь...

Сама приветливость этой женщины была такой притягательной, что больше всего на свете я желала быть рядом с ней, в гуще детей, резать бумагу на тоненькие лепесточки, творить красоту и ничего-ничего не бояться. Но я была чудовищно застенчивым ребенком. Я обхватила шею сестрички, вжалась в зеленую кофточку, и как ни старалась Тамарочка уговорить, я не взяла бумагу и ножницы и не научилась создавать хризантемы.

Но вот прошла уже целая жизнь. И все друзья мои знают, что мой любимый цветок — желтая хризантема.

А когда студенткой университета я наткнулась на фразу у Достоевского, что «красота спасет мир», перед глазами сама собой возникла картина бомбоубежища, поле детей и желтых цветов и неизвестная женщина с тонкими ловкими пальцами, которая наверняка не по книгам, а сердцем доподлинно знала, как важно в минуты безумия спасать потрясенный мир — красотой.

Неизъяснимый — биологический — ужас, паралич и души, и тела при одном только звуке этого слова: *немцы*.

Немцы

Впервые к нам они заявились летним сияющим днем.

Мы с братом — а мы почти погодки, мне около четырех, ему шесть лет — мы сидим на крылечке, напротив друг друга, в ладошке у каждого вишня, и мы этой вишней играем в войну. Обгрызая мякоть, зажав скользкую косточку пальцами, «стреляем» один в другого. Брат побеждает, смеется и вдруг, побелев как мел, беззвучно, одними губами, как в обмороке, прошептал:

— Немцы...

Наш дом расположен в низине, в яме, у подножия горы. И они, появившись на этой горе, не стали искать калитку, а прыгали прямо во двор, с высоты. Их было много, они посыпались, будто с неба, и прыгали куда придется: на дорожку, на клумбу с цветами, на курятник, на сарайчик, где жили кролики.

Веселые, бравые, рослые, они хохотали, играючи подталкивали друг друга, и даже дули в губные гармошки свои победные марши. Наш затаившийся тихий двор мгновенно преобразился: рассыпалась возбужденная живность, истерически закудахтали куры, трусливо метались кролики, гуси, надрывно крича, пытались взлететь на своих бесполезных крыльях. Немцы азартно бросились их ловить и стрелять. Один выскочил на крыльцо, таща за уши убитого кролика и звонко крича:

— Мамка! Ком гэр!

Но вместо мамки увидев нас с братом — два ошалевших ребенка, измазанных вишней — немец шутливо наставил свой пистолет:

— Пух! Пах! Капут!

И — звонко расхохотался.

Белый, сияющий, сытый, в мышиной пилотке, кокетливо сбитой наискосок, в одной руке пистолет, в другой кролик, истекающий кровью…

Я понимала, что он не будет нас убивать, он шутит, и не боялась. Но тем пронзительным детским чутьем, которым и постигаются высшие смыслы, я угадала, что это — не человек. Что он не чувствует боли ни цветка, ни кролика, ни ребенка. И шутка его — тоже не человечья.

Вот так получилось, что не во время бомбежек и безумного страха, а вот в эту игривую минуту мир для меня раскололся на два: светлый и черный. Мы и они. Человек и нечеловек, нелюдь.

И это знание уже — навсегда.

Ривка

Чтоб о ней рассказать, надо вернуться в прекрасное довоенное время, когда мы даже думать не думали, какие жестокие потрясения нам уготовила жизнь.

…Длинный-предлинный день детства, с восходами солнца над плавнями, с высоким, широким крыльцом, на котором по вечерам собиралась семья, и наша, и тетушки Тани. И был бесконечный ужин, с вопросами и ответами, с шутками, песнями, думаньем и молчанием, ужин до самой ночи, когда на черном, как бархат, небе зажигались большие блескучие звезды. И мы, растворяясь в этом ночном безмолвии и едва уловимом запахе маттиол, смотрели на них, ощущая всегдашность этой могучей, восхитительно потрясающей жизни.

Высшей точкой этой жизненной красоты для меня была Ривка, *жидовка,* мамочкина подружка.

В нашем доме, расположенном на далеко от других домов и улиц, погруженном в размеренность трудовой устоявшейся жизни, она появлялась как гром среди ясного неба, как жаркий ветер пустыни, как волшебство, и мгновенно, одним своим появлением, ломала весь наш уклад.

Высокая, гибкая, черноволосая, с такими толстыми косами, что эти косы не могли удержать никакие шпильки. И пока она шла — впрочем, ходить она не умела, она пе-ре-ле-та-ла ступеньки крыльца — от ее энергии во все стороны разлетались искры, шпильки сыпались из волос, косы падали чуть ли не до земли. Увидев первую упавшую шпильку, я камнем бросалась к ней, чтоб поднять, протянуть, услужить, сделать для Ривки что-то хорошее. Я так была влюб-

лена в нее, что боялась поднять глаза, но даже этими опущенными глазами я видела пламенный блеск ривкиных глаз, черных и длинных, как сияющий чернослив.

— Солнце мое! — звенела она и, захватив вместе со шпилькой мою ладонь, целовала каждый мой пальчик, приговаривая такие слова, какие можно было услышать только от Ривки.

Мы таких ласковых, жарких слов не знали.

Мы не знали, что можно вот так, как она, броситься к маме, обхватить ее всю, рассмеяться, обцеловать, шепнуть в самое ее ушко что-то такое, отчего моя всегда строгая мамочка рассмеется и рассмеется как-то вся, изнутри, как звонкая фарфоровая игрушка чистейшей китайской работы.

Этот праздник любви одурял меня.

И потом, пока они с мамой будут шептаться, смеяться, блестеть глазами и как бы сходить с ума, я так и останусь стоять, где стояла, как вкопанная, как околдованная этой сказочной властью Ривки.

Тогда я не знала, что значит слово *жидовка.* Думала это что-то такое, что могло относиться единственно к Ривке. К ней могло относиться только что-то именно непонятное и непростое, такое же редкое, как и она сама.

Для Ривки я была готова на все.

И когда мама, бывало, напечет плацынд, целую пирамиду горячих, пахучих, вкусных, и с брынзой, и с картошкой, и с капустой, и с тыквой, и с яблоком… И уложив на тарелку горкой, протянет тарелку мне и скажет только одно: «Давай отнеси!», я знала, кому отнести. Но господи боже мой, как я не любила, как я боялась эту дорогу, эту узенькую тропинку в горе, эту горячую траву чертополох, которая так и ждет, когда пройдешь мимо, чтоб зацепить, уколоть, привязаться. А больше всего я боялась этих нахальных *жидовских* детей. Не успею, бывало, я появиться, прижимая тарелку к груди — чтоб плацынды не соскользнули с тарелки — а они тут как тут. Они, слетаясь со всех сторон, как едучие мухи, облепляли меня черной мгновенной тучей, звенели, хватали плацынды, и даже не знаю, откуда вдруг, из каких дверей вылетала Ривка, «А ну, кыш, жидовня!» — с любовью, сквозь смех, сияя огненными глазами, командовала она, и жидовня, тоже смеясь, рассыпалась, а она, забрав тарелочку с жалким остатком плацынд, целовала каждый мой пальчик и, нежно дыша огнем своей красоты, утешала меня:

— Солнце мое! Та что ж ты такое робкое, та не бойся ты этих разбойников, та не такие они и страшные, чтоб их бояться.

Никто никогда таких слов мне не скажет.

И Ривка уже не скажет.

Так как в самые первые дни войны, когда немцы захватят город, они уничтожат, они до земли сотрут жидовскую магалу, и Ривка исчезнет. А мама моя, бывало, соберет в мешок всякой всячины: и картошку, и свеклу, и морковь, и как бы в раздумье запнется перед этим мешком. Мешок на крыльце, и мы, ее дети, тоже стоим на крыльце, смотрим на маму, не пуская ее своими глазами. Но, решившись, мама оглянет нас и, как всегда строго, скажет:

— Ну, ладно, смотрите мне тут… Я скоро приду.

Взвалит мешок и пойдет. А мы провожаем ее глазами: за дом, по дорожке, все в гору и в гору, все дальше от дома.

Ни разу мама нам не расскажет об этих походах. Тем более не расскажет о

Ривке. Но тогда, во время войны, и рассказывать было не надо. Тогда по земле как бы сами собой катились черные волны слухов и ужаса, оседая в наших сердцах и в памяти. И до меня донесется слух о том, как немцы жгли еврейскую магалу, как два солдата погнались за какой-то красивой жидовкой, а она убегала от них, а убежать было некуда, и солдаты, смеясь, догоняли ее, и вот-вот схватят ее за косы, но женщина дернула дверь туалета и…

Страшно сказать. Она прыгнула в туалет, и утопилась.

Этот чудовищный слух так и остался слухом. Я так и не решилась спросить маму, куда подевалась Ривка. И самое невыносимое: мама сама ни разу, за всю нашу длинную жизнь и бесконечные разговоры о жизни, не заговорила о ней. Будто даже не знала, что была такая на белом свете.

А про мешок, капусту-морковку-картошку, которые уносила мама, уже во время войны расскажет мне Борька, мой всезнающий брат. Расскажет путано и невнятно, но из этих рассказов в душу мою навсегда западут слова: колючая проволока, гетто, распухшие дети…

Та самая звонкая *жидовня,* которая так пугала меня, срывая с тарелки плацынды.

Королевич Елисей

Другое мое безмерное горе: Сашка.

Он появился в нашем доме незримо. Никто ничего не сказал, но я знала: тетушка Таня и мама прячут раненого красноармейца. Прятали в погребе, на чердаке, в сарае, в доме. В доме он жил под кроватью. И тогда по утрам я входила в комнату тетушки Тани, садилась за чайный столик, на котором лежали бумага и цветные карандаши, и старательно рисовала, понимая, что Сашка тут, под кроватью, а я должна рисовать, пока не появится кто-то из взрослых. Иногда он сам шутливо вздохнет и спросит:

— Ну что, стережешь? — Я была застенчивой и молчала. А он продолжал: — Ну, и что ты нарисовала? — Я рисовала всегда одно: зеленая горка, домик, много просторного неба и — солнце. И понимая, что я никудышный художник, я только вздыхала, а Сашка тихо, с какой-то сочувственной теплотой смеялся и, выручая меня из этой душевной зажатости, предлагал: — Давай нарисуем что-то смешное и детское. — Затем диктовал: — Точка, точка, два крючочка, носик, ротик, оборотик…

Еще мы с ним пели.

Чаще всего его любимую песню «Чубчик кучерявый». Пели мы тихо и так слаженно, так задушевно, и такое удовольствие доставляло мне наше пение, что и сейчас мысленными глазами вижу девочку за круглым маленьким столиком, как она, подперев щеку ладонью, самозабвенно, всем старанием сердца, выводит: «Эх, да развевайся чубчик по ветру…».

Я никогда не видела Сашку. Но в самом его голосе, в незримой улыбке и дружелюбии было столько тепла, что Сашка казался мне самым прекрасным, что есть на земле, королевичем Елисеем с золотыми кудрями, развевающимися «по ветру». И конечно, я мечтала, что вот выбьют проклятых фашистов, Сашка выйдет из-под кровати и будет спать на вот этой изящной кушетке с ее резными

точеными ножками и подлокотниками — подарок нашему дому из теплой старинной жизни, возле окна, мое любимое место.

Но война сломала мои мечты.

Наш дом заселился немцами, и, хоть Сашку удалось перепрятать к тетушкиным родителям, там его выследили, настучали — во время войны было и это — Сашку схватили, мучили, над нашей семьей нависла угроза расправы.

И вот однажды в наш двор по нижней широкой дороге — на бешеном вираже — влетел сияющий «виллис», посыпались немцы, мгновенно набились в кухню, втолкнули избитого человека — избитого так, что вместо лица кроваво-синее месиво, — с высоким лбом и темным коротким ежиком. Он едва стоял на ногах. Перед ним — швырнув — поставили тетушку Таню, и двое из немцев — переводчик и офицер — в два голоса, перекрестом, покраснев от натуги, стали кричать, тыча пальцем то в нее, то в него. Но и он, и она упорно твердили: нет! Не знают друг друга, не видели, не понимают. Нет, нет и — нет! В ярости офицер — мне особенно ненавистный своей выхоленностью — размахнулся хлыстом, и я, страхом забитая в угол, вдруг заорала от ужаса, и от внезапности грянула тишина...

И вот в это мгновение — офицер еще не успел обернуться, не понимая, как возник этот крик, а немец, стоявший ко мне ближе других, не успел толкнуть меня в дверь, ведущую в детскую комнату, — вот в это мгновенье из месива щек, с лица почти уже убитого человека в меня блеснуло, нет, не взгляд, глаз на этом лице уже не было, но что-то живое, быстрое и такое человеческое, что я, носом влетая в дверь, всеми нервами догадалась: Сашка!

Конечно, его расстреляли.

Но тетушку он не выдал. И мы никогда не узнали, кто он такой, откуда, где его дом и родители. Так и помню одно только имя: Сашка. Красноармеец. Один из тысяч и тысяч безвестно погибших, за кого сегодня и помолиться некому.

Тетушка Таня

Просторным, прекрасным, овеянным запахом свежести, ароматом цветов и намытых полов был дом моего детства.

Дом был разделен на две половины. На одной жила тетушка Таня с семьей, на другой — наша семья. Мы жили так до войны и во время войны, и матушка до конца своих дней гордилась, что с тетушкой они жили душа в душу, понимая одна другую без слов.

Возможно, их добрые чувства перетекли и в меня, и я тоже любила тетушку Таню. Любила сразу за все: и за внешнюю красоту — редкую нежную смуглость кожи, карие матовые глаза, по которым нет-нет да и скользнет лукавая, все понимающая улыбка. Она по природе была из бедовых, и я любила ее за дерзость поступков и такое бесстрашие сердца, будто она была бессмертной и знала об этом.

В нашем доме всегда кантовались какие-то немцы. Каждый раз другие. И по ним, по их настроениям и повадкам мы догадывались о ходе войны. Смешно сказать, но мы радовались, если новая партия немцев была злее, чем предыдущая: значит, их бьют!

Где-то уже к середине войны нам попался один особенно ядовитый немец.

Его друзья называли «Шнапс». Наверное, за пристрастие к выпивке. То ли что-то неумолимо грызло его, то ли он был истязателем по природе, но, выпив, он всегда искал повод помучить хотя бы котенка. А однажды, нажравшись шнапса и наоравшись песен, Шнапс, став на крыльце, стал развлекаться, стреляя по всякой цели: бутылка, консервная банка, пролетевшая птица, пробежавшая курица. Но и это ему надоело. И, увидев меня, игравшую в палисаднике с куклами, он подскочил, поставил меня посередине двора, вывернул руку ладошкой к виску и, установив на ладошке консервную банку, рванул обратно к крыльцу и прицелился...

Нет, это был не тот развеселый шутник, который игриво нас припугнул в начале войны. Этот мстил мне за что-то. Он ненавидел меня и целился серьезно, долго, он как бы ждал моего унижения. И я — о эти все понимавшие дети войны! — я, каменная от ужаса, ненавидела его тоже!

И даже не знаю, чем бы закончилась эта дуэль двух лютых, непримиримых ненавистей, но тут из дома вышла тетушка Таня. В мгновение оценив, что происходит, она с шипением разъяренной кошки: «Ах ты, собака!» — ударила немца по вытянутой руке. От неожиданности он выронил пистолет. Но, оглянувшись и увидев, кто на него напал, он, подобрав пистолет, красный от бешенства, кинулся к тетушке. На шум из дома повыскакивали немцы, бросились к Шнапсу, пытаясь отрезать его от тетушки. Но он — уже озверев от уязвленного самолюбия — через их плечи тянулся к ней пистолетом, крича:

— Так я плохой собака?! Плохой собака?!

А она — она вдруг улыбнулась этой своей едва проскользнувшей лукавой улыбкой, глядя в него прямым немигающим взглядом:

— Не-ет! Ты — ха-арроший собака!

И вот это слово *ха-арроший,* едкого смысла которого немец не понимал, его успокоило, он победительно усмехнулся и, оттолкнув державших его товарищей, вернулся в дом.

Листовка

Иные события нашей военной жизни так врезались в память, а то и в судьбу, что не дают мне покоя и по сегодняшний день.

Не давали они покоя и моей матушке, Ольге Прокофьевне.

А уж она, казалось, была не из тех, кто застревает в прошлом. Прожив долгие годы, голод, войны, разрухи и возрождения, она — беззащитная, в сущности, женщина, самоучка, сама себя обучившая буквам, письму, а потом и запойному чтению — она поставила на ноги нас, своих совсем не простых детей, сохранив красоту, горячие чувства, цепкую память и такое забористое словцо, что, бывало, слушая маму, я с восторгом прижимала ее к себе: «Ах, Оля, Оля! Какой бесценный писатель в тебе погиб!» Но самое важное — в ней была неиссякаемая жизненная энергия. И как бы жизнь ни крутилась — туда и обратно, вперед и назад — мама, кидаясь из одной работы в другую, всегда находила способ и силу устоять и остаться самой собой.

Окончив школу, я рано ушла из дома, и мы с матушкой стали жить порознь. Она — в Одессе, я — в Кишиневе. Но, встречаясь, мы часами перебирали нашу общую жизнь и говорили, говорили, говорили... И не могли наговориться!

Я, проверяя свои детские впечатления, могла без конца расспрашивать маму о всяких случаях или людях, подчас о такой чепухе, что мама, бывало, только обдаст меня удивленным взглядом: «Господи, Лидка! Сколько ж мусора в твоей голове!»

И вот как-то на одной из таких посиделок я говорю:

— А вот все забываю тебя спросить, почему ты не разрешила мне встать с кровати?

И... Странная вещь человеческая душа. Мой вопрос прозвучал, можно сказать, бестолково: с какой кровати? когда это было? о чем я хотела узнать?.. Но мама, моментально поняв, вдруг загоревшись лицом, резко спросила:

— А с чего это ты взяла, что я что-то не разрешила?!

И, даже не уточнив, о чем именно я хотела узнать, будто само собой разумелось, что обе мы думали об одном, тут же бросилась разъяснять, что все, что случилось в *тот* день, оттого и случилось, что немцы, нагрянув с обыском, испугали меня. Что я вообще боялась их до смерти, что я вообще трусиха редчайшая, что это мое воспаленное воображение мне не давало покоя всегда, с самого раннего детства, а уж во время войны оно было просто каким-то погибельным, и у мамы ума не хватало, чем его каждый раз гасить. А уж в тот злополучный день, когда немцы нагрянули с обыском, я не просто там испугалась, я была вне себя, я уже тогда была измучена раной и болью и места себе найти не могла. И когда офицер выкрикнул свое «вэг!», а солдат попытался сдернуть меня с кровати, я сама — сама! — уцепилась за раму кровати, ноги провисли, и так стала орать, что мой крик взбесил и без того разъяренного офицера, и он ударил меня сапогом.

Ударил как раз по больной ноге, потому что она была правая и ближе к нему.

Мама не говорила, она — взорвалась. Лицо разгорелось, глаза метали огонь, она, как вулкан, изрыгала пламя. И я просто окаменела, не понимая, что это с ней.

А она наконец умолкла, обессилено опустила глаза, лоб обхватила ладонью и тихо прибавила:

— Ты такая рогатая... что-то задумаешь — пушкой не остановишь.

И снова замолчала.

Конечно, все было именно так, как она говорила: неожиданный обыск, приказ офицера, солдат, пытавшийся сдернуть меня с кровати... мое упрямство и крик, роковой удар сапогом...

Все было именно так, я была рогатым ребенком, сама в себе и с кипучим воображением, и меня трудно было сдвинуть с внутренней точки моих намерений. Но и мама почему-то забыла одну крошечную деталь: когда взбешенный офицер выкрикнул свое «вэг!», она, держа ладонь на моей голове, так надавила этой ладонью, словно просила меня не вставать. Теперь же она этот жест отрицала. И вся ее возбужденность говорила о том, что отрицала намеренно. Она будто надеялась, что для меня этот ее молчаливый приказ лежать остался секретом.

Но для детей не бывает секретов. Мой вездесущий брат Борька однажды признается мне, что я всех их спасла от расстрела: под моим матрасом лежала «листовка». Он эту листовку нашел в траве, на дороге, нашел, прочитал, это был листочек бумаги в клеточку, а на листочке большими кривыми буквами было

написано: «Бей гадов-фашистов! Наши — идут!». И, когда он этот листочек дал маме, она прочитала, заплакала и — сунула под матрас.

Я поверила Борьке.

А горячность мамы — через целую жизнь — ее пылающее лицо, сбивчивость и возбужденность мне подтвердили, что этот листочек действительно был. И жест рукой, этот мамин приказ не вставать, тоже был. Но что, глядя на муки всей моей жизни, искалеченной офицерским ударом, мама этот листочек не может себе простить. Она хочет стереть его! Хочет забыть, не знать, что он был, что это она — какая жестокая опрометчивость! — это она сама, сунув его под матрас, спровоцировала удар. Значит, все эти долгие годы жизни мама страдала, считая себя виноватой передо мной. И забегая вперед, скажу, что незадолго до смерти, предчувствуя свой уход, она попросила меня простить ее за этот листочек.

Но я ее и не винила.

Больше того: я ее понимаю.

И особенно понимаю, когда в окружающей меня жизни торжествует зло, цинично смеясь над всем человеческим в человеке. Когда бессилие перед ним вот-вот раздавит меня. И я падаю во тьму, в бездонную черную яму отчаяния. И не за что уцепиться, и некому крикнуть о помощи.

И хоть бы какой-то листочек в клеточку, с простым, коряво написанным словом надежды...

Пощечина

Это было крошечное событие. Не событие, а мгновение. Но оно так резко врезалось в мое сердце, что забыть его невозможно.

Оно случилось, когда одни немцы ушли из нашего дома, а другие еще не пришли. Обычно в такое промежуточное время, отдыхая от немцев, мама мыла, белила, стирала, а мы помогали ей. Даже Тамарочка выходила из своего очередного убежища. И мы все занимались уборкой в таком приподнятом настроении, что кто-то из нас мог тихонько запеть, а кто-то шутить, а кто-то смеяться. А Борька, любивший Тамарочку, свою дорогую няньку, мог подбежать к ней, обнять ее внезапным объятием, будто хотел ощутить, что она здесь, с нами, живая, и ее никуда не угнали, как все мы боялись. Словом, нам было так хорошо, будто не просто чистили дом от немцев, а возвращали ему его первозданность, пахучесть, его светлую душу.

Это были дни необычного праздника.

Тот день был другим. Немцев нет, но мама с утра ушла и так долго не возвращалась, что мы с Борькой сначала играли, потом подрались, потом, ощущая свое сиротство, заняли наблюдательный пункт на крыльце и обреченно, с тоской смотрели на гору и ждали маму.

Тетушка Таня позвала поесть, но мы отказались.

А между тем вечерело, куры уже собрались на насест, я поплелась закрыть дверь сарая. А когда вернулась, Борька встретил меня таким потрясенным лицом, что я просто похолодела. А он заговорщицки прошептал:

— Пришла...

Мама пришла, но что-то такое произошло, о чем брат не мог решиться

сказать. Я была резче Борьки и, презирая его за трусость, обдала его решительным взглядом, переступила порог прихожей и услыхала из комнаты мамы взвинченный женский голос. Он был таким резким и жестким, на таких высоких тонах, что я растерялась. Мне показалось, кто-то чужой забрался в наш дом и кричит. И, даже не думая, что делаю, я быстро подковыляла к двери, открыла ее и...

...именно в эту минуту тетушка Таня, размахнувшись, ударила мамочку по щеке.

И тут же обе они, с возбужденно-красными лицами, оглянулись на дверь. Мгновенье мы так и смотрели — они на меня, я на них.

— Вот ею как раз и займись... — бросила тетушка маме и, минуя меня, вышла из комнаты.

Мамочка подошла, подняла меня и, уткнувшись в меня лицом, замерла. Мне было не по себе от того, что случилось. Я хотела мамочку пожалеть, обхватила ее за шею, и, казалось, жарче моих чувств уже не бывает. Но мама была такой холодной и отчужденной! Она не чувствовала меня. И я, будто ее холодность переливалась в меня, становилась тоже чужой и холодной. Хотелось разнять руки, сползти на пол и не обниматься этим фальшивым мертвым объятием. Хорошо, что в дверях объявился Борька и нерешительно попросил:

— Кушать мы будем?

Мама, со мной на руках, взяла его за руку, и мы пошли есть.

Вот такой эпизод. Он был таким невероятным, что я не смела даже подумать расспрашивать мамочку, что же произошло между нею и тетушкой.

И только после войны, бесконечно перебирая то большие, то маленькие события, я спросила матушку о пощечине и услыхала историю, за которую она эту пощечину заработала.

Несколькими днями раньше, когда мама копалась в огороде, к ней подошла незнакомая женщина и, видимо, хорошо зная маму, ее походы в еврейское гетто, попросила ее спасти еврейского мальчика. План спасения был простой. В такое-то время мама должна подойти к будке охраны, там будут два немца и мальчик лет шести в черной вязаной шапочке. Мама, ни слова не говоря, возьмет мальчика за руку и пойдет прямо от гетто. Прямо и прямо, ни на что не оглядываясь. Когда они отойдут, немцы как бы очнутся и, возможно, станут стрелять. Но бояться не надо. Им хорошо заплатили, и они никого не убьют. В городе мальчика будут ждать по такому-то адресу такие-то люди. Мама его отдаст и уйдет. Вот и все. Никаких последствий.

Надо знать маму.

Она согласилась. И все было именно так: будка охраны, мальчик, запоздалый окрик и выстрелы немцев, две женщины, ждавшие мальчика...

Рассказывая эту историю, мама скажет, что она даже не испугалась. Ну, может быть, самую малость, когда немцы стали стрелять. И то испугалась не за себя, а за мальчика. Видно было, что он понимал, как надо себя вести, его научили, но все же ребенок есть ребенок, и он был очень напуган. За все километры дороги он не сказал ни слова. Она даже подумала, что он немой. И тоже ему ничего не сказала. И люди, его забравшие, тоже ей не сказали ни слова. Даже спасибо и то не сказали. Все делали механически, будто роботы. И только сейчас, когда она вспоминает эту историю, только сейчас понимает, что они сделали. Они сделали — невозможное. А тогда ей казалось, что самое трудное

ей выпало дома, когда тетушка Таня вразумила ее пощечиной, призывая думать о собственных детях, а не о чужих.

— Но вот не можешь себя понять... — задумчиво проговорила матушка, закончив эту историю, — я же любила вас больше себя и жизни, но такое что-то внутри самому непонятное, что для чужого тебе человека сделаешь то, чего не сделаешь для себя.

Мы замолчали. Она думала, и я думала.

Сколько ей было в сорок втором году? Ей было тридцать. Молодая, красивая, в ситцевом синем платье, белый мелкий горошек, белый платочек на голове. А сейчас передо мной сидела девяностодвухлетняя бабушка, и ее глаза, размытые болью жизни, были слабенькой, стертой копией тех сияющих, смелых глаз.

— Ма, — я улыбнулась и накрыла ее руку своей, — а ты б не хотела вернуться в свои тридцать лет...

— Боже меня упаси! — испугалась она. И вдруг, захватив мои пальцы своими, сжала их в общий кулак, стиснула так, что ее ногти, как гвозди, впились в мою ладонь, и объяснила: — Мальчик вцепился в меня вот так, эти женщины еле нас расцепили.

Значит, сильно боялся.

И слава богу, что есть в ином человеке это ему самому непонятное свойство — когда для чужого сделаешь больше, чем для себя.

Пленный

У нас во дворе, в самой его глубине, там, где растет трава конопля, такая высокая и густая, что я не то чтоб играть, но даже глянуть в эти глухие заросли не решалась: я трусиха ужасная и боюсь не реального, а того, что рисует воображение. А в этой дремучей, путаной-перепутанной заросли оно нарисует такое, что дрожать будешь и ночью, и днем. Так вот у самой этой черной, сплошной травы у нас появился пленный.

Пленный и лошадь, которую пленный чистит большой, во всю ладонь, щеткой.

К пленному подходить нельзя.

Но как-то мамочка настирала белье, сбросила в таз и, подхватив таз руками, пошла в глубину двора, к конопле, где на вкопанных в землю столбах прикреплены веревки для сушки белья. Я ковыляю рядом, вцепившись в подол. Иду и заранее трушу: само слово *пленный* пугает меня, невозможно понять, что он за человек и как, почему попадают в плен.

Встав у столба, мамочка, широко встряхнув простынь, безразлично спросила:

— Чистишь?

Да, он чистит, водит щеткой по боку лошади, лошадь переминается с ноги на ногу, косит в нашу сторону настороженный глаз.

Пленный не отвечает.

Раскинув простынь, мамочка медленно начинает развешивать мелкие вещи.

— Ну и как идет служба? Хозяин доволен? — интересуется она.

Пленный взрывается.

Ах, эти бабы, храбрецы чесать языком! Не знают они этого ада, когда на тебя прут танки, а ты их встречаешь винтовочкой, каждая пуля наперечет, и пока ты эту винтовочку перезарядишь, твои дорогие товарищи, шутники и герои, уже раздавлены танком, папироса зажата в ошметках бывшей руки! Но глубоко ошибается тот, кто думает, что он трус! Он все рассчитал, он отомстит, он наметил уже свою жертву, самого подлого изувера, мучителя-кровопивца. Он уже наточил особенно беспощадный ножичек и, когда этот изверг нажрется и захрапит, он всадит свой ножичек в самое-самое его сердце, и промаха быть не может. «Промаха быть не может!» — чуть ли не визгом, с бешенством выкрикнул пленный мамочке прямо в лицо, будто бросая ей вызов за все ее колкости. Он даже скрываться не станет! Он подойдет, всадит ножичек в сердце этого живодера, а там будь что будет, ему наплевать. Ему вообще на себя, на жизнь свою давно наплевать! И пусть с ним потом расправятся эти злодеи, они на расправу великие мастера, пусть они его по кускам разорвут своими лютыми псами, как рвали его товарищей, его безотказных друзей, веселых и смелых!

Худенький, серо-белесого цвета, с глазами налитыми кровью, как у дракона, он двигался беспорядочно и вразброс, будто внутри у него не было ни костей, ни суставов; ярость бросала его из стороны в сторону, била изнутри, из самого существа, клокотавшего жаждой мщения.

Она обдавала меня как огонь.

Я боялась взглянуть на пленного, сгореть в его пламени. И тем пронзительным детским чутьем, каким только дети могут вычитать правду чувств, я понимала, что он никогда не вонзит этот остренький ножичек в сердце даже самого подлого изверга; что распаленностью крика он возбуждал свою храбрость, он заклинал себя быть жестоким и вонзить, всадить наконец свой безотказный ножичек в сердце врага. Заклинал, так как знал, что — не сможет. Проклятие такое: *не может* он убивать! И будет давиться этим бессильным желанием отомстить, пока сами немцы не избавят его от душевного ада, пристрелив где-нибудь в запущенной конопле.

Это его *«не может»* будто влилось в меня. Все внутри задрожало и закипело, хотелось упасть на землю и биться, и тоже кричать про ножичек, изувера, садиста, лютых псов, рвущих людей на куски. Я дергала платье мамочки, чтоб она пожалела его, сказала, что верит ему, что он отомстит, что он такой же защитник родной земли, как и его дорогие товарищи, шутники и герои, не докурившие папиросу, подмятые танком.

Но она ничего не сказала. Ее нога, в которую я вжималась все теснее и теснее, была холодной и твердой, как столб, к которому прикреплялись веревки для сушки белья.

И, понимая по твердости этой ноги, что мама не пожалеет — не хочет его пожалеть! — не скажет и не поддержит, я обхватила мамину ногу и впилась в нее зубами!

— У-у! — от внезапности взвыла мамочка и, оторвав меня от ноги, пошла вдоль веревки вешать остатки белья.

Больше пленного я не видела.

Мне даже казалось, я забыла о нем.

Но вот пройдет кусок жизни, я стану и пионеркой, и комсомолкой, и однажды, стоя в отряде таких же детей, как и я, не то пионеров, не то комсомольцев,

услышу, как звонкий голос высоко, счастливо запел: «С чего начинается Родина...»

И неожиданно для себя — мгновенно — мысленным взором увижу темный, запущенный закуток двора, худенький человек бьется в конвульсиях своего бессилия перед злом.

И вся я похолодею, мне станет дурно, будто внезапно умру. И кто-то внутри меня словами проговорит, что нет, не с картинки в моем букваре начинается Родина...

А с чего она начинается?

Не знаю.

Но думаю, с сострадания к самому беззащитному, не способному постоять ни за Родину, ни за себя.

Святая ложь

И вновь придется вернуться в далекое довоенное время. Далекое тем, что жизнь в том времени была просто жизнью. И эта жизнь — с ее рассветами и закатами, безразмерными днями, до горла забитыми играми, долгими посиделками в безмолвии ночи под высоким сияющим небом — казалась мне вечностью. Время от времени в эту вечность — как молния среди ясного неба, — потрясая все мое существо, внезапно врезался праздник. Среди праздников самым-пресамым праздник-праздником был Новый год.

Один из них впечатался в мою память особенно.

Этот предновогодний день был буквально соткан из запахов. Из свежего зимнего воздуха, выпечки и ванили, мандаринов и конфет. И, конечно, из запаха елки. Пышная, свежая, до самого потолка, она, едва появившись, обдала весь дом дыханием леса, смолы, природы. И мы, надышавшись этим великолепием, превратились в каких-то странных существ, возбужденных приближением чего-то необычайного.

И когда с чердака извлеклась коробка с игрушками и Тамарочка с нежностью, вынимая одну за другой, улыбалась каждой игрушке отдельной улыбкой, как бы благодаря ее за ту радость, какую игрушка дарила ей в предыдущие годы; когда Борька, нетерпеливо схватив список и деньги, уже на ходу дослушивая мамочкины напутствия, ринулся выполнить заказ на игрушки из папье-маше и, прибежав назад — краснощекий, запыхавшийся, — вытряхнул на кушетку целую гору всадников, рыб, лебедей, белочек, зайчиков, ангелов, сказочных домиков, дедов-морозов, снегурочек и прочих чудес; и, наконец, когда мы — вместе с мамочкой, — обложившись несметным богатством всяческих материалов, красили «золотом» и «серебром» орехи, из цветной бумаги клеили цепи, из фольги вырезали нити дождей, из ваты, крахмала и блесток лепили снежинки, а из пустых яиц создавали лица клоунов в остроконечных шляпах и с улыбкой от уха до уха; и уже когда — совсем наконец! — украшалась елка, это безумие запахов, чувств, сияний, всеобщего возбуждения уже разрывало меня изнутри. Я физически, в воздухе дома, собой, ощущала присутствие этого чародея, этого *нового* года, как чего-то живого, только невидимого и не понятного мне.

Пытаясь хоть как-то в нем разобраться, я всех изводила вопросами: кто *он* такой — *Новый* год? как *он* знает, когда приходить на землю? и как получается,

что *он* сразу приходит во все дома в один день и час? и откуда приходит? Вот это *откуда* грызло меня особенно. Я даже подозревала, что *Новый* год — посланник небес. Тех самых небес, где в неустанном движении сияющих звезд и вечно другой луны, и вечно другого солнца, и вечно других закатов, и вечно других рассветов, где живет Матерь Божья, которую бабушка Ефимия Даниловна страстно просит в ночных молитвах не оставить весь род людской без ее безразмерной милости, — происходит высшая, безустанно обновляющаяся жизнь, мысль о которой не дает мне покоя ни днем ни ночью. Но даже если *новый* год посылается этой небесной жизнью, то зачем он приходит к нам и что он хочет сказать своим появлением?

Эти вопросы раздувались во мне в невыносимое напряжение. И когда мамочка, смеясь, объявила: «Отбой! Пора собираться встречать Новый год», — вот это *встречать*, обдало меня как огонь, сердце забилось сразу и в груди, и в ушах, и в горле: где встречать и как попадают туда, где можно встретиться с ним?!

Для нас накрывался праздничный стол, уже начинали сходиться соседские дети, нам разрешили всенощные посиделки, с семечками, орехами и рассказами о новогодних сверхъестественных случаях, сказками, страшилками, загадками. Но ни застолье, ни посиделки не занимали меня. Вся превратившись в сплошные уши, я напряженно ловила звуки из комнаты папы и мамы. И когда, наконец, услыхала, как хлопнула дверь, я — со стучащим сердцем, боясь пропустить момент — выбежала из детской через кухню в прихожую, и с ужасом крикнула: «Мамочка!»

А мамочка уже вышла за дверь, на крыльцо, но, услышав мой крик, слегка приоткрыла дверь, и я вижу ее, освещенную светом прихожей, ее голубое пальто и воротник из рыжей лисы, закусившей зубами хвост; вижу высокие каблуки высоких ботинок на железных крючках. Она, держа дверь, повернулась ко мне своим озаренным лицом и улыбнулась: «Беги к детям, простудишься!» Это будет мгновенье. Один-единственный взгляд. Тут же дверь захлопнется и отрежет ее от меня. Но за это мгновенье, увидев одним-единственным взглядом и пальто, и лису, и улыбку, я успею подумать, что мамочкина красота не в пальто, лисе и высоких ботинках, и даже не в улыбке, обдавшей меня горячей волной тепла, а в состоянии мамочкиной души, приподнятости ее духа, предвкушавшего встречу с чем-то неизъяснимым.

И я побегу не к детям. Я побегу к окошку в прихожей, увижу отца на белом снегу: черный как ночь, тонкий, высокий, без шапки, алая точка огонька папиросы. Мамочка сходит с крыльца и, слегка торопясь, догоняет его, две фигуры на сверкающем поле зимы. А я побегу к другому окну, в комнате мамы и папы, а потом уже к окну в детской, и отсюда увижу их на узкой дорожке к калитке, он впереди, она сзади. Она, увидев мое лицо, улыбнется, стукнет пальчиком по стеклу: «Иди к детям!». Дальше калитка, гора, и я их увидеть уже не смогу.

Но я, сложив руки на подоконник, упала в руки лицом и, всей собой ужимаясь, мысленно вызвав их образ, проводила их до калитки, потом по горе, он впереди, она сзади, двое черных на сияюще белом. Я услыхала, как папа предупредил: «Смотри, камень...» А мамочка рассмеялась. Тихим, летучим, насмешливым смехом. Будто смешно ей — воздушной, легкой, загадочной — осторожничать перед каким-то там камнем. И в то же мгновение холод прошел по мне: я ощутила, что их уже нет на горе, пустота, безмолвие безразмерной ночи. Будто

на волнах этого чудного смеха они оторвались, перенеслись через *камень*, и вот они уже там, в том таинственном и неведомом *там,* где *встречаются* с Новым годом.

— Лидка! Ты что, заснула?!

Дети уже за столом, едят и смеются. А я стою на коленях, руки на подоконнике, воткнулась в руки лицом и ничего не хочу: ни праздничного застолья, ни смеха, ни страшных рассказов, до которых обычно я большая охотница. Такая опустошенность! Будто меня с могущественных небес швырнули на эту скучную, бедную землю.

Это новогоднее впечатление так потрясло мою душу, что однажды — летом! — желая проверить его неслучайность, я, встав на колени перед окном детской комнаты, заново проиграла свою зимнюю сказку. И она проигралась. И так поразительно точно она проигралась, что знойным солнечным днем я ощутила холод и сияние снега, и то, как папа и мама — две черные тени на белом — прошли через двор, как папа сказал ей: «*Камень»,* а она рассмеялась, и как — силой этого бесподобного смеха — они оказались *там,* в неопознанном мире, где встречаются с Новым годом и звездами.

После этого летнего опыта я совершенно уверенно знала, что мир звезд — живой. Он чувствует нас. И каждый из нас — и папа, и я, и Тамарочка, и любой человек — способен попасть в этот мир. Только надо — как мама — устремиться к нему совершенной внутренней красотой и усилием духа.

А теперь возвращаюсь в войну.

К нам на «виллисе», по широкой нижней дороге, нагрянул немец. Ровный, строгий, значительный, два солдата справа и слева. Не успела машина остановиться, как солдаты — проворно, вышколенно, со знанием дела — осмотрели и двор, и сараи, и погреб, а когда оказались в прихожей, немец пальцем ткнул в лаз на чердак и спросил по-русски: «Почему нет лестницы?» Мама держала меня на руках, и я ощутила, как она напряглась: значит, Тамарочка на чердаке. «Чтоб дети не лазили», — отозвалась она. Солдаты тут же вышли во двор, внесли, поставили лестницу к лазу, один из них полез на чердак. Потом Тамарочка нам расскажет, как она, услыхав голоса и возню, спряталась в кукурузе и закрыла лицо платочком, так как боялась чихнуть. Немец, светом фонарика, пробежавшись по чердаку, ничего подозрительного не увидел, спустился и доложил результаты разведки. Они пошли дальше по дому. С удовольствием потоптались в нарядной комнате тетушки Тани, мельком заглянули в кухню и детскую. Было понятно, что это разведка, что немцы ищут особый дом для какой-то специфической цели или специфического лица.

В комнате мамы и папы немец остановился перед портретом родителей. Папа и мама. Два молодых красивых лица. Он долго смотрел, как бы пытаясь что-то понять, и наконец спросил: «Муж?» «Брат», — сухо ответила мама. Я просто похолодела от маминой лжи. «На каком фронте?» — поинтересовался немец. «Брат умер в сороковом году». «Такой молодой?» — удивился немец. «Туберкулез», — обреченно вздохнула мама. Он развернулся, глядя в маму прямым изучающим взглядом. Он хотел угадать, она врет или нет. Мама врала. Но на немца смотрела простецкая местечковая тетка в косынке и растоптанных полуваленках, на руках ребенок, забинтованная нога. Он задержал взгляд на моей ноге, но уже ничего не спросил, развернулся, вышел из дома, быстро,

легко спустился с крыльца, сел в машину, и «виллис» умчался. По широкой нижней дороге, по которой он и приехал, подальше от дома, где умирают от туберкулеза.

Мама смотрела машине вслед, и я чувствовала, как сдавленно, гулко стучит ее напряженное сердце. Но, слава богу, день закончился хорошо: мамина ложь победила.

Однако у детства своя, совершенно непостижимая логика.

И ночью, после этого дня, после победы маминой хитрости, я внезапно — от внутренней, самой непонятной тревоги — проснулась. Вокруг ночь, тишина, безмятежность. А мне беспокойно. Что-то внутри меня ныло, что-то мне говорило, что никакой безмятежности нет, что-то в этом ночном безразмерном мире нарушилось, и это пугало меня. Я, крадучись, подползла на коленях к окну, собралась в комок и стала всматриваться в стекло.

Теперь мне *надо* было опять проиграть *ту* сцену. Я должна была ее проиграть. Я для того и проснулась, чтоб убедиться, что все это было, есть и будет всегда: и папа, и мама, и смех, и жизнь без войны, и живой, безразмерный мир звезд, где *встречаются* с Новым годом.

Я сложила руки на подоконник, уткнулась лицом и напряглась. Я знала, как это надо сделать, и напрягалась, собирая себя в одну точку у горла. И скоро, собравшись, все мои чувства сделались фантастически сильными, и я мысленно попыталась увидеть и двор, и снег, и фигуру отца, огонек папиросы...

Но я старалась напрасно.

Знакомая мне пластинка не проигралась. Мир неба отвернулся от нас. Значит, уже никогда ни папа, ни я, ни Тамарочка не попадут в его хороводы звезд и рассветов. И даже мама так и останется навсегда на этой земле обыкновенной простецкой теткой и лгуньей в раздолбанных полуваленках. По моим щекам покатились слезы горькой, непоправимой утраты. Я так и уснула, уткнувшись лицом в подоконник.

А потом уже будет жизнь без войны, школа, книги, запойное чтение. И однажды я прочитаю — «святая ложь». Я прочитаю и раз, и два. И надолго задумаюсь. И даже вроде признаю, что действительно для спасения человека и можно, и нужно солгать. И не солги мама немцу про туберкулез, кто знает, что было бы с нами. А вот слезы девочки у ночного окна — хотелось мне или нет — но они говорили, что ложь — это ложь. И даже если солжешь для спасения дома, *святой* она быть не может.

Наверное, потому, что, выигрывая земное, мы теряем нечто небесное. Такое далекое и такое необъяснимое, но именно в нем рождаются все эти звезды, луны, новые годы и наша личная красота, рожденная озарением духа.

Первая ласточка

Дом наш не пустовал: одни немцы придут, поживут, напьются, поорут свои песни, исчезнут, но тут же придут другие — пожить, пошуметь, напиться, исчезнуть.

Мы — и наша семья, и тетушка Таня, а иногда какие-то родственники или даже чужие люди, беженцы — ютились в комнате, которая до войны была детс-

кой. Длинная, как пенал, темноватая, единственное окно упирается в каменный забор, она мне — за полумрак и удаленность от всех звуков двора — казалась лучшей из комнат. Мне хорошо здесь было часами сидеть за столом, читать сказки Пушкина, всматриваться в картинки и думать.

Вот так однажды я и сидела, смотрела в картинки и думала. А когда подняла глаза, увидела немца. Он сидел напротив, смотрел на меня и улыбался.

— Я — Вилли, — сказал он мне, улыбаясь такой счастливой улыбкой, будто ждал не дождался, когда же я наконец подыму глаза и увижу его. — Я — Вилли, — повторил он, ткнув себя ладонью в грудь, и вопросительно смотрел на меня, будто хотел, чтоб и я назвала ему свое имя.

Я ошарашенно замерла.

Передо мной сидел немец, немецкая форма, карманы, пуговки, треугольник на рукаве, я хорошо эту форму знаю, но, одетое в эту форму, в меня смотрело и улыбалось непонятное существо. Оно улыбалось не только губами или глазами, а все целиком, всем, что внутри. Оно лучилось улыбкой. Словно то был не немец и даже не человек, а сияющий счастьем прожектор. Его сияние было естественным, искренним и обдавало меня таким дружелюбием, что я не испугалась, не полезла под стол, не опустила глаза. Я даже не застеснялась и, глядя прямо в его озаренное лицо, растерянно затеребила страницы книжки. А Вилли, перегнувшись ко мне над столом, глянул на книжку и с восторгом воскликнул:

— О, Пушкин! — И тут же, будто от одних его слов на столе оказались листы бумаги цвета соломы, а в руке Вилли возник карандаш черного цвета, и карандаш, как живой, заскользил по бумаге, чиркнул там, чиркнул здесь, и скоро Вилли, придвинул мне лист, и я задохнулась от восхищения.

На листе, в изумительном беспорядке, что-то внизу, что-то вверху, что-то сбоку, был нарисован и дуб зеленый, и кот на цепи, и гордая лебедь, плывущая по волнам, и извивающаяся борода Черномора-злодея, за которую мертвой хваткой ухватился Руслан.

Немец знал Пушкина! *Нашего* Пушкина!

Это было настоящее потрясение.

— Я — Лидка, — внезапно пискнула я, глянув на чудо, сидевшее за столом.

Так мы познакомились с Вилли.

Так я его и запомнила: детская комната, стол, большой лист бумаги цвета соломы и карандаш. Этим карандашом, каждый раз появляясь в детской, Вилли мне рассказывал о Германии. Германия в этих «рассказах» ошеломляла меня своей красотой и миролюбием. Он рисовал Берлин, торжествующие купола соборов, Триумфальную арку, колонны и кариатиды, улицы, пешеходов, автобусы и трамваи, заводские трубы, дамочек в шляпках и с редикюльчиком на локте, гуляк в кабачках, размахивающих большими деревянными кружками. А как-то он нарисовал сельский дом, окно с деревянными ставнями, перед окном длинная скамейка, заставленная горшочками с цветами; горшочек круглый, горшочек квадратный, большой, маленький, узкий, высокий, самые причудливые горшочки, простодушная красота сельского быта. «Мамка», — сказал Вилли, ткнув карандашом в домик. И тут же, на верху листа, нарисовал лицо самой мамки, в очках на кончике строгого носа и с книгой перед очками. И задержав карандаш на книге, он улыбнулся длинной улыбкой воспоминаний, и столько нежности было в этой улыбке, что я опустила глаза и пожалела Вилли. Которого безжалостная война разлучила с любимой мамкой.

А потом он исчез. Как и все предыдущие немцы: одни уходят, другие приходят.

Но однажды весенним днем, когда все вокруг истекало свежестью и теплом, когда и дети, и взрослые копали огороды, и взрыхленная земля, разомлев, одуряла нас запахом прелости и мы не могли надышаться этим сладким дурманом пробуждавшейся жизни, вдруг...

Вдруг высоко на горе, из-за поворота на нашу дорожку, выскочил человек и звонко, захлебываясь торжеством, завопил:

— Мамка! Это я — Вилли!! Я — здесь, я живой! Я пришел!

Тут я поставлю точку: не смогу передать, как он бежал и кричал, какая безумная легкость несла его по горе, а дети выскочили во двор, смотрели на Вилли и, потрясая лопатками, тоже ликуя, кричали:

— Вилли пришел! Живой!

И даже не понимаю, что это были за чувства и чем породилась эта наша общая радость.

Радость простых людей с их бессмертным желанием вселенского мира и доброты.

Сапоги

Как я понимаю, мои дорогие матушка-тетушка были великими педагогами, они охраняли наши детские души от потрясений войны, и никогда в нашем доме не говорилось ни о расстрелах, ни о мучениях, каким подвергали фашисты людей, рискнувших на самое наивное сопротивление. Но дети войны взрослели стремительно. И мы сами, тоже тайком от взрослых, наблюдая и слушая, шептались между собой о том и другом, обучая друг друга, что почем в этой военной жизни и как его понимать.

Шла осень. Слякоть, ветры, дожди. И мы этим детским чутьем ощущали, как обострился страх взрослых перед непредсказуемостью нашей судьбы. Особенно все боялись угона в Германию. Мы и наши обычные поселенцы спали покотом на полу, одетые в теплые вещи, а под ногами у каждого стояли его сапожки, прямо под правой рукой, на тот случай если нас ночью подымут, то сапожки можно схватить и обуться.

А между тем внешняя жизнь текла по своим программам.

В нашем доме поселились веселые немцы. И не просто немцы, а немцы и русская «девка».

Мне *девку* увидеть не посчастливилось. Но жила она со своим Гансом в смежной комнате, комнату с детской разделяла застекленная дверь, и как только Ганс появлялся, звонкий, как колокольчик, голос начинал безудержный щебет, капризничал и смеялся, сходились гости, заводилась пластинка, и шикарное «Роза мунде» до самой глубокой ночи заливало и нас, и весь двор, и весь белый свет.

Под «Роза мунде» (понятия не имею, что значат эти слова) мы засыпали и просыпались. И эта мелодия так въелась в мою память, что и сегодня я могу напеть ее, не запнувшись.

Странная вещь: никто из взрослых слова ни разу при нас не сказал об этом

празднике любви и веселья. Но мы, дети, стыдились его. И, конечно, стыдились *девки,* ее полупьяного звонкого голосочка, стыдились того, что *девка* — русская, *наша.* И это чувство стыда так обжигало нас, что даже между собой мы делали вид, что не знаем о ее существовании, мы боялись произнести само слово *девка.* Я и сегодня его считаю самым грязным из слов.

Но вот однажды нагрянул вечер, когда в смежной комнате что-то переменилось. Ганс пришел, но ни гостей, ни звонкого голосочка, ни «Роза мунде». Будто влюбленные умерли. И эта внезапная тишина всех нас насторожила. Все притворялись, что спят, но не спали. Скоро наши тревожные ожидания подтвердились. В соседней комнате бурно заговорили голоса, колокольчик звенел так агрессивно, он так зачастил, так засыпал, что Ганс не успевал вставить слово, а потом и совсем замолчал под натиском бурного словесного водопада *девки*. Слова кончились, она стала рыдать, выкрикивая в адрес Ганса, «мямли» и «тюхти», черт знает что. Выражаясь сегодняшним языком, *девка* качала права. И качала всерьез. И докачала.

В нашу детскую внезапно — тихо, по-воровски — скрипнула дверь, черная тень изогнулась, по полу мелькнул свет фонарика, дверь закрылась и — тишина. Будто и не было ничего. «Зачем он пришел?» — тревожно вслух подумала мама. Вместо ответа тетушка Таня быстро рукой пошарила по полу, и прошептала: «Сапоги... украл сапоги».

Это была катастрофа.

Мы все, даже дети, мгновенно сели и стали хватать каждый свои сапожки. «Мой!» — первой оценила ситуацию тетушка. «Нет, мой», — возразила Тамарочка, прижимая к груди сапожок. «Ах ты, сволочь! И твой, и мой», — мгновенно разобралась тетушка Таня. Оказалось, немец впопыхах украл два сапога, но из разных пар: один тетушкин, другой сестричкин, они почему-то стояли рядом. Разул сразу обеих. Тетушка Таня вскочила и бросилась в дверь. Мама — за ней. Мы замерли не дыша.

В соседней комнате между тем возникла неразбериха: вопросы, ответы, пыхтенье, ругань, колокольчик, срываясь на визг, в ярости крыл Ганса грязью. И в это время стукнула дверь из прихожей, и голос немецкого офицера, жившего в комнате тетушки Тани, что-то строго сказал. В ответ — тишина, звук удара, болезненный выкрик *девки* и...

На следующий день мама и тетушка Таня в десятый раз пересказывали нам, как они победили. Как тетушка Таня — сразу — рванула в комнату офицеров. Стала им объяснять, просить помочь, приказать вернуть сапоги, как офицер не хотел вмешиваться, говорил, что он не имеет права, он не начальник Ганса, но другой офицер молча поднялся, пошел, тетушка с мамой за ним, дверь открыли и видят, что на столе сидит *девка*, одна нога в сапоге, а Ганс пытается натянуть ей сапог на другую ногу. Офицер приказал вернуть сапоги, и разъяренный Ганс, сорвав тетушкин, так дернул ногу в сестричкином сапоге, что *девка* слетела со стола. А Ганс швырнул сапоги прямо в тетушку.

И вот, прикладывая компресс к шишке на лбу, тетушка хохотала, «черт с ней, с шишкой, подумаешь, шишка!». И они опять возвращались к началу этой истории и опять повторяли про офицера, как тетушка Таня, коверкая и немецкий, и русский, уговаривала его, как разъярился Ганс, а самое бесподобное, как шмякнулась *девка,* так и слетела со стола на пол, как блин на горячую сковородку.

Мы слушали, хохотали. И заново слушали. Чтоб опять хохотать, наслаждаясь своей победой.

И вдруг видим, Тамарочка. Сидит на кушетке, отдельно от нас, лицо закрыла ладошками, ножки в сапожках, плачет.

Мы разом умолкли и уставились на нее.

— Не могу, — простонала она сквозь ладошки, изнемогая под гнетом своего *не могу*.

Боюсь, сегодняшнему читателю уже не понять, почему плакала эта девочка. Девочка довоенного образца, чистая как слеза, выросшая в семье, где в ребенке естественно, самим воздухом дома, формировалось понятие о непреложности человеческого в человеке. И, конечно, она — до боли, до изнеможения, до слез — понять *не могла*, откуда на нашей прекрасной земле, среди *наших*, преданных этой земле людей, могла объявиться девка, танцующая с Гансом под «Роза мунде» и крадущая детские сапоги.

И еще: Тамарочка умерла в двадцать шесть лет: сердце.

Шоколад

Война развернулась на Запад, и мы без всяких листовок — по грязным шинелям и злобе — понимали, что немцев гонят и бьют и что наши действительно не за горами.

Да, мы еще боялись. Боялись, что нас угонят в Германию, и спали одетыми, в шапочках и сапожках, вцепившись руками друг в друга. Боялись, что просто убьют, нервы у оккупантов — ох, как заметно! — сдали.

Как-то, набившись в наш дом, немцы сначала пили, жрали, орали песни, а потом вообще пошло какое-то беснование, стрельба, взрывы хохота и грубые непонятные звуки, будто они то ли передвигали мебель, то ли играли в какую-то дикую игру. А мы — втиснутые в маленькую комнатушку и дети, и взрослые, и родственники, и беженцы, — мы, лежа тесно, влипшись друг в друга, как блинчики, всеми нервами слушали, пытаясь понять, что там за вакханалия и чем она нам угрожает.

Не помню, как я уснула. Но, когда я проснулась, рядом не было никого. В доме стояла невыносимая тишина. Полная неизвестность. Это было даже страшней, чем ночной бедлам. И я, уморившись бояться, собрала всю свою храбрость и медленно, по стене, не шла, а ползла, сначала в кухню, потом в прихожую. И здесь — как зверек — я учуяла что-то с*транное.* Я прислушалась внутренним слухом: *это* было в комнате тетушки. В той самой, где бесновались немцы. Напрягаясь всем слухом тела, я долго стояла, боясь сама не зная чего, но наконец решилась, толкнула дверь и… опешила.

У окна — прямо напротив двери — стоял Борька и совсем по-хозяйски рылся в каких-то коробках, а вокруг на полу валялись бутылки, банки, журналы, золотая фольга и много всякого мусора. Услышав звук двери, брат обернулся, в руках у него брикет шоколада и лицо измазано шоколадом. Увидев, что это я, он окружно махнул рукой с шоколадом:

— Ты только глянь, что они натворили…

Но я и так уже видела.

Это была парадная чудная комната, с окнами на восток и запад, восход и закат, бывало, только откроешь дверь — и тебя заливало восторгом солнца и света. К тому же в ней стояла венская мебель, легкая и изящная, созданная для радости дома. Немцы ее разгромили: выбили дверцы шкафа, ножами или кинжалами пробили сиденья ажурных стульев, а на овальном, благороднейшей формы столе, выцарапали большущую свастику.

— Иди сюда, — таинственным шепотом позвал брат, протянув шоколад, — это та-ак вкуу-усно...

Я развернулась к двери.

— Куда ты?! — не понял брат. — Не бойся, они уже не вернутся.

Я с яростью зыркнула на него через плечо:

— Отстань!!!

И — вышла, бешено хлопнув дверью.

И вот промелькнула жизнь. И можно сказать, что война одарила меня со всей своей щедростью: страхи, вой самолетов, застрявший в висках на всю жизнь, ранение в ногу, адская боль, бессонные ночи, денно и нощные крики, немецкий госпиталь, госпиталь наш, где, чтобы прекратить мои страдания, мне отрезали ногу.

Жизнь без ноги — большое горе. Еще одна пожизненная война.

Но — слава богу — и эта война меня не растлила и не победила. Я выбрала светлую сторону жизни. И нет ни тьмы на душе, ни врагов.

Но только вот шоколад не от всякого человека возьму.

Каким бы сладким он ни был на вкус.

«На память от Клары»

А между тем моя нога не только мне, но и всей семье не давала покоя. От удара распухло колено, рана стала гноиться, я не медик и боюсь сказать слово *сепсис*, но что-то похожее происходило: у меня начался отек левой щеки, и скоро она, как мешок, наполненный гноем, раздула лицо. Я превратилась в неутихающий стон. И никакие бабки-знахарки, припарки, компрессы, травы и мази не помогали.

Помню поход к одной из этих знахарок. Сначала мы с мамочкой ехали на телеге, потом сидели в какой-то темной избе на соломе, а когда бабка — с усами и бородавкой у носа, страшная как Баба-яга — появилась из-за занавески, я заорала и потеряла сознание.

И даже забыла, как развивались события дальше.

Думаю в этом месте самое время сказать, что детская память — непостижима. Например, картину своих крестин, когда мне было всего восемь месяцев, я так ярко помню, будто смотрю сама про себя цветное кино. И вижу себя, и чувствую свои чувства. Конкретно вижу, как я лежала в белоснежных пеленках на руках крестного; как, покосившись на воду в купели, каким-то подспудным знанием зная, что эта вода имеет ко мне отношение, я побаивалась ее. Но священник вытянул руки ко мне, а крестный протянул меня к ним, и я в больших карих глазах священника, под коричневой бархатной шапочкой (назову его убор так), увидела такое сияние милосердия, что все мои страхи исчезли. Я доверилась

этим глазам. И когда священник меня опустил в купель, в ее теплую, видно, согретую воду, я пережила истинное блаженство. Даже сегодня вижу и чувствую эту сцену крещения, будто она произошла вчера. А вот медсестру Клару, героиню этой главы, абсолютно не вижу. Не вижу ни глаз, ни халата, ни тела. Но так сильно чувствую все, что связано с ней, и так оно важно, что без Клары представить *мою войну* невозможно.

Мы встретились с ней в немецком госпитале.

Я лежу на кровати, чувствуя свою тяжелую забинтованную голову на подушке, и мне почему-то не хочется открывать глаза, мне стыдно. Но понимаю, что *надо* открыть, и я, открывая, сразу же вижу внимательное лицо высокого человека в белом халате. Строгие, правильные черты истинного арийца. Казалось, он изучал меня своим проникающим взглядом. А я из каких-то там предыдущих событий знаю, что это — немецкий доктор, что именно он сделал мне операцию, после которой я и лежу. А рядом со мной стоит медсестра Клара.

В реальности Клара, скорее всего, стояла возле кровати. И я, едва открыв глаза, чувствую, как она вздрогнула от внутренней радости, как сильно она ждала, как ей хотелось, чтоб я наконец открыла глаза (дело было, наверное, после наркоза). Она тревожилась обо мне. Я даже чувствую, что тревога ее — глубокое, необычное чувство. Будто именно мне, девчонке с оккупированной территории, ей хотелось сделать нечто особое, редкое, невозможное. Будто она искупала вину за всю войну и все горе, которое эта война принесла. Конечно, тогда, когда я открыла глаза, я не могла бы выразить состояние Клары такими словами. Но я — всей собой — ощутила ее безусловную преданность мне. Однако конкретную Клару и даже то место, где она находилась, я абсолютно не помню. Не вижу.

Она по-русски спросила меня, как я себя чувствую, и тут же заговорила с врачом по-немецки. Доктор слушал, кивал, не спуская с меня сосредоточенных, изучающих глаз. Дослушав и, видимо, согласившись с Кларой, он бросил мне «ма-ла-дец» и ушел.

Больше я его не увижу.

Но, как оказалось, этот немецкий хирург сделал мне сложнейшую операцию, трепанацию черепа, у меня и сейчас на лице сохранились два шрама. Думаю, он предпринял еще одно доброе дело: пытался спасти мою ногу. Так как скоро я окажусь в изоляторе, на широкой кровати, высокая перекладина, нога, прибинтованная к доске, прикреплена к перекладине для вытяжки.

Даже трудно сказать, чем именно меня мучила эта нога. Но она, очевидно, гноилась. Мне казалось, что под бинтами ползают черви, и я, рисуя их своим воспаленным воображением, металась и выла от отвращения. И даже не помню, кто отзывался на этот вой, кто вообще заходил в палату ухаживать за мной и кормить меня. Не помню чужих или маму. Помню одну только Клару.

И даже не Клару, а ту минуту, когда по утрам распахивалась дверь, и всю меня заливало радостью, и мне становилось стыдно за крики и вопли, и сама боль, будто сила стыда побеждала ее, утихала даже раньше, чем Клара ко мне подойдет, что-то скажет, подправит, проверит, спросит, поможет. Кстати: она никогда не сюсюкала, не утешала, не улыбалась. Она была суховатой и деловой. Но что-то такое таилось внутри нее, что было выше всех внешних качеств и вызывало такое доверие, причину которого даже сейчас я объяснить не могу.

Однажды она принесла сияющий бикс с размотанными бинтами и сказала,

что я должна ей помочь, скатывая размотанные бинты в тугие рулончики. Клару саму и ее слова, как всегда, я не помню. Зато помню, что она не просто дала мне работу, чтоб отвлечь от ноги, а, видимо, понимая свойство моей души, мою бездонную благодарность ей, она — *попросила* помочь. Своей просьбой она оказала мне такое серьезное уважение, что я стала выше самой себя.

Каждое утро она приносила очередной сияющий бикс с размотанными бинтами и забирала бикс, уже заполненный мной.

Как я старалась! Как я крутила эти рулончики, превращая каждый в искусство. С какой аккуратностью укладывала их в бикс. Как я гордилась, что я не какая-то там иждивенка и плакса, а настоящий помощник Клары.

Война есть война, и однажды утром Клара ко мне не пришла. Не распахнулась дверь, не появился сияющий бикс, меня не обдало спасительной радостью. Никого вообще. Только проклятая боль, как бы вдруг ощутившая полную власть надо мной. От бессилия перед ней, одиночеством, неизвестностью я стала стонать, выть, орать...

Никого.

Время текло, сумерки затягивали окно, и я с ужасом косилась на них, боясь наступающей ночи. И вдруг вижу щель от приоткрытой двери изолятора, а в щели застыло лицо. Широкоскулое, в каске, солдатик, из-под каски на выступающих скулах узкие черненькие как угольки глаза, глаза азиата. А в глазах выражение такого глубокого потрясения, что все внутри меня замерло, и я догадалась: *наши* пришли.

Только у *наших* могли быть такие сердечные, сострадательные глаза.

Наши пришли, меня, видимо, наспех, не отвязав доски от ноги, на носилках задвинули в машину зеленого цвета, с красным крестом, и, можно было б считать, что на этом и завершилась *моя война*.

Но нет.

Как я уже говорила, война — жестокое, беспощадное дело, и один раз начавшись, не кончается никогда.

И для меня война не кончится никогда.

Сегодня я знаю, что в судьбе человека нет ничего случайного. И мне, по всему, военные потрясения не случайно выпали именно в детстве. Видно, сама Природа, осуществляя планы моей судьбы, нарочно макнула меня в варево зла, выжигавшего человечность. Причем погрузила не в самый котел кипения, как например она сделала это с детьми Освенцима. Она поставила меня на такой уровень зла, когда бьет оно не до смерти или беспамятства, оставляя возможность обдумать его. Она как бы желала, чтоб я, восприняв картины войны своей детской, природной, незамутненной чуткостью, перемолов их внутри себя, задалась самым жгучим вопросом: откуда берется зло? Кто и зачем, сама сила Природы или человек порождает его?

Среди многих частных вопросов на тему зла и добра меня особенно занимал один: как же могло получиться, что именно этот, немецкий, народ — народ высочайшей культуры — поддался фашизму. Этот вопрос застрянет во мне как гвоздь. Ответ на него я буду долгие годы искать в истории немцев и их культуры. То читая немецких философов или психологов, то слушая Баха и Шуберта, то листая альбомы Дрезденской галереи, то вчитываясь в Гете и Гейне, Манна и Брехта. Буду искать и не найду.

А между тем у меня, кроме шедевров немецкой культуры и детской въедливой памяти, останется фотография Клары.

Я не помню минуты, когда она подарила мне свою карточку. Но подарила. И по-немецки сдержанно подписала: «На память от Клары». На карточке симпатичная молодая блондинка, волосы плойкой (по довоенной моде), черная блузка, на левой руке, которой она оперлась о столик, прямоугольной формы часы. В карточку эту я вглядывалась годами. Я пыталась что-то открыть. Но ничего другого, кроме того земного, что отразилось на ней, я не открыла: просто блондинка, волосы плойкой, часы на руке, отстраненно позирует перед фотографом.

А то, что было внутри ее, та точечка духа, через которую Клара соединялась со мной, обдавая меня спасительной радостью и доверием — на карточке не проявилось.

Но это уже не имеет значения.

Потому что именно Клара, немецкая медсестра, этой невидимой точечкой духа мне подсказала, что каким бы непобедимым нам ни казалось зло, оно не всесильно. Что в самом сердце самого лютого зла, в океане обезумевшего нацизма, в самой его сердцевине, обязательно обнаружится точечка человечности. И это не сердечная доброта художника Вилли, приправленная искусством, не осознание зла офицерами вермахта, идущее от расчетливости ума, это особое свойство самой Природы, не терпящей — отрицающей — зло. Не понимая ни это свойство, ни Клару, но всей собой ощущая его присутствие в ней и его уникальность, я *это* так и назвала — *точечка Клары.* И вера в непобедимость этой невидимой точечки всю жизнь поддерживала меня.

Держит она меня и сегодня.

Когда нацизм то там, то здесь — иногда прямо на площади перед моим окном — подает нам сигнал о своем возрождении.

Выключите радио

Девятое мая. Победа! Величайшая из побед на Земле. В доме — на всю катушку — включили тарелку радио. И победные марши, гимны, возгласы, песни, слезы, крики «ура!» заливают весь дом, весь двор, всю улицу, весь белый свет. Идет безумное ликование человечества! Победа! Величайшая из Побед сотрясает всю Землю!

Я лежу в закутке за домом, в запущенной пыльной траве и плачу. Слезы неудержимым ливнем заливают лицо и уши. Бессмысленно их стирать то одной, то другой ладонью. Они не могут остановиться. Слава богу, что здесь глухое местечко, и даже если меня искать, все равно не найдусь. Так что плачь — не хочу!

Но время от времени я сама вскакиваю на ногу и над травой, далеко впереди, за нашим двором, вижу зеленые как изумруд огороды. А по ним — как когда-то, как в знойном вареве сорок первого года — идут мальчишки: Борька, Славчик, Володька. Они идут по-под ручки, впаявшись один в другого, будто они единое, цельное, неразрывное существо с одним сердцем и волей. Залитые солнечным блеском, они кажутся мне скульптурой, сияющей серебром.

Глянув на них, я камнем кидаюсь вниз, лицом в землю, и такая ярость, такое

бешенство, такая боль и бессилие захлестывают меня, что я колочу кулаками по этой бесчувственной твердой земле, пытаясь вбить в нее из себя все эти чувства. Но выбить их из себя невозможно. Они рвут меня на куски. И, спасаясь от них, я вдруг вскакиваю на ногу и злобно ору в сторону дома: «Да выключите! выключите наконец это проклятое радио!».

Да, конечно, я и тогда понимала, что это был величайший день на Земле. Победа побед. И человечество заслужило великое ликование.

Но как забыть, и как жить, если знаешь, что Борька, Славчик и даже Володька не разделили его?

Потрясение будущим

Весна. Май. Нет ни войны, ни немцев, ни страхов. Природа вокруг наливается жизнью, цветет, смеется, благоухает. И мы, дети, каждой клеточкой тела разделяя ее состояние, не знаем, куда себя деть и за какую игру схватиться. Это были и куклы, и жмурки, и мяч, и скакалки, и классики, и догонялки, и турники, и просто беганье по траве, без цели, с визгом, криками и сладостным ощущением мягкой, шелковой травы, обдающей тебя своей несказанной нежностью.

И вдруг...

Именно вдруг. Будто какая-то сила отрезала нас от самих себя и мы разом — все вместе, как одно существо — остановились, смотрим перед собой и не верим глазам.

Перед нами, из ничего, словно из воздуха или из-под земли, возник незнакомый нам человек. Высокий, в светлом костюме, в руке чемоданчик с сияющими замками. Человек не из нашей жизни. Красавец. Герой кино.

— Мама дома? — глядя сразу на всех, спросил он, не зная, к кому обратиться конкретно.

Мама была в огороде. И Борька, сорвавшись с места, бросился вниз по дорожке, крича:

— Мама, к тебе пришли!

Она появилась снизу, синее платье, белый горошек, белый платочек на голове, в руке сапа.

— Здравствуй, Оля, — осторожно, как бы пробуя взглядом, Оля это или не Оля, поприветствовал ее незнакомец.

— Здравствуйте, Миша, — отозвалась она таким обыденным голосом, будто знала этого человека, как знала соседку, которая каждый день приходила к нам то за щепоткой соли, то за спичками. И, видно, зная, зачем он пришел, она на ходу приткнула сапу к стене дома, пошла в сарай, вышла с топориком и, откинув дверь погреба, пообещала:

— Сейчас принесу.

Тут же из погреба послышались звуки ударов о камень. Будто мама долбила стену. Действительно вскоре она появилась вся покрытая грязной кирпичной пылью, в руках увесистый сверток, в рыжей, тоже грязной от пыли клеенке. Счистив ладонью самую грязь, мама его протянула гостю.

— Здесь все, что она оставила, — сказала она, — внутри есть записка, можно проверить.

— Тебя проверять не надо, — с невольной поспешностью забирая сверток, сказал посетитель, видимо, удивленный, что все получилось так неожиданно просто. Он согнул колено, открыл чемоданчик, втиснул полученный сверток, щелкнул замками, одним и вторым, и, встряхнув чемоданчиком, как бы проверив его на вес, спросил: — Как я должен с тобой рассчитаться?

Возникла странная длинная пауза.

Какое-то время мама смотрела на Михаила прямым немигающим взглядом. Было похоже, что между ними возникла невидимая стена, и она своим взглядом, пытаясь пробиться сквозь эту преграду, хотела его рассмотреть и понять. Наконец она опустила глаза. Медленно, продолжая обдумывать что-то трудное, тягучим движением сняла с головы платочек, отряхнула его от пыли, завязала под подбородком, подняла на гостя поникший, будто уставший от думанья взгляд:

— Никак, — сухо ответила на вопрос. — Ребекка просила, я сделала. А вам всего доброго, Михаил.

Мама взяла сапу и пошла к огороду.

Мама была приветливым человеком. И эта ее холодная недружелюбность так поразила нас, будто мама была не мама. И пока она уходила, мы все провожали ее глазами — вниз и вниз по дорожке, синее платье, белый платочек, в руках сапа.

Когда мы глянули в сторону посетителя, оказалось, что он исчез.

Исчез внезапно, как и явился. Будто его растворило в воздухе или он провалился сквозь землю. Это совсем уже нас ошарашило. И мы, замерев с чисто детским испугом, уставились на пустое место, где он только что упаковывал чемоданчик с сияющими замками.

Конечно, с годами мама мне расшифрует эту историю. Она скажет, что Миша — муж Ривки, а в пакете были ривкины украшения и всякие золотые вещи, которые Ривка доверила маме на сохранение. Мама скажет, что, конечно-конечно, она за свою услугу не ждала никакой благодарности, даже простого спасибо, которое, кстати сказать, Миша действительно не произнес. Ее даже не оскорбило, как он проверил ее на вшивость, встряхнув чемоданчиком. Ее поразило другое. И поразило внезапно, едва он сказал «рассчитаться». Она вдруг — неожиданно для самой себя — ощутила, как это словечко, будто волшебный ластик, мгновенно стерло тот мир, который мама считала нашим естественным миром. Ей показалось, она попала из нашей жизни в другую; ей показалось, что перед ней стоит не Ривкин муж, вчерашний товарищ по общим рыбалкам и розыгрышам, и даже — *не наш* человек, а что-то ей непонятное. Другая природа. И ей внезапно открылось, что война разорила не только землю, она разрушила человека. И все то людское, что считалось исконно *нашим* и спасало людей, кончилось навсегда.

— Хочешь верь, хочешь нет, — подытожила матушка свои ощущения, — но это был какой-то удар, прозрение, я поняла, что мы потеряли себя, человек уже никогда не вернется к себе самому, он не будет таким, как был.

Я ей поверила.

И особенно моя вера окрепла в семидесятые годы. Когда под хриплый,

сдушенный голос Высоцкого мы — смешные, наивные, гонимые шестидесятники, — задыхаясь от безысходности, не мозгами, а клетками тела чуяли, как тот запас человечности, который веками копился внутри народа, на глазах иссыхает, уходит в песок, и на его месте — из воздуха жизни — возникает рыло жалкого торгаша, или, как предсказали пророки, «морда собаки». Рыщущей, где сорвать, украсть, укусить.

И чем дальше по жизни, тем циничней собачьи законы диктуют нам образ жизни и человека. И часто, оглядываясь назад, я вижу маму, идущую вниз по дорожке, — синее платье, белый платочек, в руке сапа. И удивляюсь ее прозорливости, угадавшей сегодняшний день.

Мама

Будет неправильно, если я не закончу рассказ о маме.

С самого довоенного детства меня восхищала ее красота: голубые, с косым разрезом глаза, летящие платья, высокие каблуки, свежесть и легкость всего ее облика — фея вечной весны. Сегодня я вижу ее не глазами любящей дочки, а как бы со стороны. Это был человек с личным и непреклонным настроем на жизнь и цель своей жизни. В ней, не закончившей ни единого класса школы, обучившей себя чтению и письму, ощущался масштаб устремлений. Она по природе была строителем и спасателем. Во время войны безрассудство спасателя особенно проявилось в ней. Но и после войны она спасала не только семью, но и весь свой род, которым она дорожила как самым бесценным богатством. И если задуматься, то без всякой иронии можно сказать, что она желала б спасти — очеловечив — все человечество. И даже, уверена, сделала б это, вынуждая его трудиться, справедливо делить плоды своего труда, жить по меркам взаимного уважения, скромности и щепетильнейшей совестливости. Подростком меня бесила ее непреклонность, ее железная требовательность во всем и всегда быть человеком. Мне казалось, что этого в ней чересчур, что мне до маминых мерок не дотянуться, да и сама она вряд ли удержится на этой высокой планке.

Но она удержалась.

Она и сегодня, в свои девяносто четыре года — нищая, одинокая, так как мой брат и сестра умерли, а я, такая же нищая пенсионерка, ничем ей помочь не могу — сама зарабатывает на хлеб, не выпускает из рук сапу, борется за свое здоровье по науке доктора Коновалова, по ночам, хохоча как ребенок, читает любимого Теккерея. Она потрясает меня волей к жизни, светлым духом, достоинством.

Странная вещь, но маму военной поры я мало помню. Больше помню тоску по ней. Вечно мне ее не хватало. Вечно не было ее дома. Вечно она кого-то спасала: друзей-евреев, таская продукты в гетто; Сашку, Тамарочку, пряча и перепрятывая из погреба на чердак, с сеновала в печку; спасала беженцев, отдавая последний кусок макухи; спасала Родину и Красную армию, подбирая и пряча по сеновалам, ямам, буртам бросовое оружие. Правду сказать, оружие не пригодилось. И после войны, вспоминая, как страшно ей было тащить под

пальто автомат, мама разволновалась, пронзенная поздним ужасом, удивляясь, какой она была дурой, в каком наваждении надо жить, чтоб она — преданнейшая из мам — даже думать не думала, а какая же участь ждет ее дорогих детей, если ее поймают и расстреляют на месте по закону войны.

— Даже не думала! — удивляясь себе, не раз повторяла она, итожа свои бесполезные подвиги.

Однако всего о маме уже не расскажешь.

Но еще один эпизод расскажу.

Это были одни из последних немцев на нашей земле. Их уже били и гнали, и они растеряли свои губные гармошки и сияние сытости. Они ввалились в наш двор такие злобные и такие грязные, будто выцарапались из непролазного болота. И внешне, и внутренне они были уже на пределе и, сбросив в кучу — прямо на землю двора — свои измызганные шинели, приказали маме их постирать. Она, держа меня на руках, отнекивалась, ссылаясь, что не может оставить больного ребенка. Немцы озверели. Дело дошло до автомата, и бедный мой брат, испугавшись за маму, упал на колени, обхватил ее ноги и воспаленно, в слезах, стал умолять, чтоб она согласилась стирать, что он ей поможет, что он возьмет коромысло и понесет шинели на речку и сам постирает. Но мама — вот уж действительно наваждение, но как теперь оно мне понятно, как теперь мне понятна эта последняя капля ее терпения, эта мстительность изболевшейся души, ничего не забывшей и не простившей и уже не желающей забывать и прощать, — мама тоже была на пределе! И тетушка Таня, поняв, что она не в себе, сто*и*т на краю, и горя не миновать, вместе с братом стала грузить шинели на коромысло. А мама, стиснув меня до боли, метнулась к дому, и, чувствуя, как тарахтит ее сердце, какая бушует в ней ярость, я тоже, как мама, — вскипела: «Вонючки проклятые!..»

И вдруг мы запнулись: в самом углу крыльца, сбившись в рыжую грязную кучу, в одно странное общее тело, вжимаясь в стену и пряча от нас глаза, ужались три человека. Они были такие худые, мокрые, жалкие, виноватые, что я испуганно прошептала: «Кто это, воры?..» Но мама, стиснув меня, пронеслась по ступенькам и, пламенно зыркнув на этих существ, просвистела: «Навоевались?!»

В кухне она достала большой казан, насыпала кукурузной муки, стала варить мамалыгу. А когда мамалыга сварилась, швырнула ее на стол, распахнула дверь на крыльцо, крикнула: «Идите пожрите, герои!»

Это были румыны, изгои войны, вечно презираемые немцами. И пока они ели, катая горячую мамалыгу в дрожащих руках и по-прежнему пряча от нас глаза, мама схватила меня, прижала к себе и — громко, вслух — разрыдалась!

Война еще долго будет катиться по нашей земле и по нашей судьбе. Мы еще похлебаем всякого горя. Но вот в эту минуту — маминой ярости, маминых слез и маминой жалости к человеку — мне открылось, что несмотря ни на что — несмотря ни на что!!! — мы остались людьми.

И именно это я и считаю нашей великой Победой.

Победой людского — над нелюдью.

Лидка

Итак, возвращаюсь к моменту, когда меня на носилках сунули в зеленую машину с красным крестом и...

...очнулась я ночью.

Лежу на какой-то жесткой лежанке, на досках, вокруг холодно и темно, хоть выколи глаз, будто лежу в сыром погребе. Но прямо перед моим лицом, высоко, где-то под потолком этого погреба, вижу узкий прямоугольник окна, решетка, за решеткой черное небо и большие яркие звезды. Звезды довоенной поры. Когда мы всей семьей собирались на нашем широком крыльце, разговаривали, смеялись и, глядя на эти высокие звезды, ощущали дыхание вечности и собственного бессмертия.

Я была биологической трусихой. Это проклятое воображение и сейчас, бывает, такое мне нарисует, что доведет до физической дрожи. Отчего, очнувшись не зная где, я боялась пошевельнуться, вздохнуть, посмотреть в темноту. Я подумала, что лежу в гробу. И чтоб не сойти с ума, вцепилась глазами в звезды, мысленно поселила себя на родное крыльцо, среди дорогих людей, вспоминала их лица, шутки, тепло их сердец и жадность, с какой я слушала разговоры о далеком таинственном небе. Эти воспоминания отвлекли меня от реальности.

И вдруг слышу чей-то слабенький, истощенный стон.

Дыхание во мне замерло, и сердце остановилось.

А стон между тем повторялся, становясь все мучительней и безысходней. Кто-то, заброшенный в эту кромешную тьму, как и я, невыносимо страдал. Женский голос — не голос, стенание — безнадежно просил эту злобную непроглядную ночь:

— Пи-ить...

От сочувствия к этому голосу у меня разболелись нога, голова, душа. Я оторвала глаза от звезд и глянула в сторону стона. Но там — ничего, темнота. *Пи-ить*, — заклинала она меня.

Кто-то, какая-то женщина, так сильно желала пить, что это тонкое, робкое, беспросветное *пи-ить*, эта чужая боль разъедала все мои страхи. И я, абсолютно забыв о себе, рукой поискала пол, чтобы понять, как высоко лежу, пальцы коснулись его, я придвинулась к краю лежанки и, упираясь рукой, свалилась на пол. Напомню, что моя больная нога была привязана к шине и двигаться было сложно. Но я уже свалилась на пол и поползла.

Я и сейчас вижу, слышу и чувствую эту картину. Как я ползу на стон, как — гулко, ритмично — стучит по цементному полу моя доска, как от каждого стука во мне замирает сердце, как возникла минута, когда мне показалось, будто женщина услыхала мой стук, будто она ощутила надежду, и голос ее наполнился нетерпением. Она ждала моей помощи. Ее ожидание подгоняло меня. Я стала ползти смелей и, утешая ее, бормотала, что «я сейчас», сейчас, сейчас доползу, я уже близко, сейчас, и...

...в ту минуту, когда я и она, когда наши обе надежды как бы соединились, я как бы уже спасала ее, рука моя врезалась в нечто липкое, черное, такое вонюче-

сладкое и тошнотворное, что я, вдруг догадавшись, что это кровь — больная, черная, вонючая кровь — взвыла от отвращения, метнулась куда-то в сторону, а оттуда, из сложенных в штабель человеческих тел, откинулась чья-то рука и ударилась об меня. Я их увидела, эти тела. Я поняла, что это мертвые люди, и так заорала, что потеряла себя.

Очнулась я солнечным днем, лежу на земле, на носилках, вокруг люди в белых халатах. Впереди человек небольшого роста, с сухощавым, как из камня выточенным лицом и такими глазами — вовек не забуду эти глаза — словно сам этот взгляд, уже надорвавшись от горя и боли, окаменел в мучительной неподвижности. И мне показалось, он не словами, а именно этим взглядом сказал:

— В операционную...

И вот лежу на высоком столе, а доктор, натягивая резиновые перчатки, глядя не на меня, а в перчатки, предположил:

— А ты, наверное, и считать не умеешь...

Господи, что такое он говорит! Я могу и читать, и считать, и до ста, и до тысячи... И, закрыв глаза, я стала считать. Но когда дошла до семнадцати, что-то случилось, какой-то противный запах (запах наркоза) спутал меня, я никак не могла пробиться вперед сквозь это семнадцать и, повторив его несколько раз, отключилась.

И вот пошла, побежала жизнь.

Я была — Лидка, трудный ребенок, неподатливый, жесткий, сама в себе, и только сама в себе, ко мне — если я не хочу чего-то — невозможно пробиться. Но при этом отличница в школе, редкая книжница, жадно читавшая все, что попадало под руку, от дневников Льва Толстого до рефлексов Ивана Павлова. Внутри меня, подминая все житейские интересы, не затихая, бушевала жажда какой-то высокой цели.

В конце концов, из всех любимых профессий, основательно прометавшись, я выбрала журналистику. Жизни я совершенно не знала и журналистике придавала цель, к какой стремилась сама: облагородить человека и жизнь. Естественно, самым могучим инструментом в этой работе для меня было — *Слово.*

Словом можно сказать нечто высокое и затаенное. *Словом* можно направить, возвысить, осмыслить. *Словом* передаются тончайшие чувства и мудрые знания. *Словом* можно прожечь самое твердое сердце. *Слово* объединяет людей для высоких порывов. *Слово,* тревожа в душах людей тоску по Истине, все человечество приведет к идеальной, осмысленной жизни.

Мне долго казалось, что я сделала точный выбор. *Словом* я написала книги и кучу портретов неординарных людей. А когда моя Родина, подарившая мне замечательных учителей, начала разрушаться, когда нас, ее граждан, оболгали и, обобрав до белых костей, сбросили в нищету и бесправие, когда мы потерялись и забыли все то хорошее, чему верно служили, я — шестнадцать лет — кукуя по радио авторскую программу «Семейный альбом», *словом* напоминала всем жаждущим слышать, что мы были и остаемся людьми, что человеческое в человеке — бессмертно. А позже, открыв, что все мы — и я, и мои дорогие слушатели — надорвались душой и больны, я затеяла Школу духовной культуры, школу нрав-

ственного и физического здоровья, школу нового — информационно-энергетического — знания о человеке и мире. В поисках Истины я перерыла всевозможные «духовные» практики и, не найдя в них точки опоры, ощутила такую кромешную бездну тьмы и лютого одиночества, что взвыла от безысходности и — не хотела жить! Творец пожалел меня, подсунул мне каббалу, великую древнюю мудрость о мироздании. И для меня — наконец! — прояснился сам Его замысел и цель человеческой жизни.

Но каббала — беспристрастнейшая из наук. Помимо прочего, она сбросила меня с высоты моих возвышенных романтических представлений о человеке и прежде всего о себе самой. Увидев себя ее жестким, неподслащенным взглядом, я поняла, какую жалкую жизнь прожила, каким ничтожным богам поклонялась и как далека-далека моя истинная суть от того, чего требует от меня Природа.

И я рассмеялась сама над собой. И осознала, что жизнь надо начать сначала, с нуля, с чистого беленького листа, будто я родилась не семьдесят пять лет назад, а сегодня.

Стоит заметить, что, смеясь над собой, среди всех своих жизненных «подвигов» я вспомнила тот же подвал мертвецкой, стук деревянной шины о каменный пол, девочку, рьяно ползущую на стон, и насмешливо спросила себя: а куда, собственно, девочка эта ползла? Чем она могла помочь женщине, истекающей кровью? Она что, могла протянуть ей воду? Она знала, где взять эту воду? А чем и кому могло помочь мое журналистское *слово* в газете, если сама газета была пропитана ложью и трусостью перед жизнью? А кому нужны мои книги? И куда они вообще подевались после того, как в наших молдавских библиотеках был совершен торжественный акт очищения от русского духа и слова? Кого спас «Семейный альбом»? И не на камнях ли бесчувствия человека к Истине сеялись знания Школы духовной культуры, не дав никаких плодов?

Все это так.

Мое личное *слово* никого не направило, не возвысило, не спасло, не объединило. Жизнь растворила его, как ядовитая кислота; оно, как писк комара, придавленного ладонью, бесследно исчезло. И я — как и все — оказалась в сегодняшнем дне, в абсолютно непредсказуемой, неожиданной и непонятной реальности, в которой «венец природы», обнажаясь и разлагаясь, превращается в нечеловека. А все плоды человечества с его историческими разворотами, войнами, революциями, возрождениями, философиями, вождями, науками, амбициями, финансовой паутиной, «бессмертным» обществом потребления и покорением космоса — все катится в яму под названием *кризис.* И дна этой ямы не видно. И впереди, как предрекают пророки в своих грозных пророчествах, которые нам — увы! — недосуг прочесть, человечество ждут страдания, войны, погибель. Усилия человека оказались смешны.

Но…

Пусть смешны. Больше того. Пусть я сама понимаю их смехотворность.

Но все равно ничего не могу поделать с собой и — ползу…

На стон, на боль, на все, что способно помочь и возвысить.

И почему-то мне кажется, что именно это качество — чувствовать боль человека и упрямо искать любые выходы из нее — сформировала во мне — *моя война.*

Крик
(вместо эпилога)

Это загадочное явление произошло на рассвете.

Вот же не зря мудрецы говорят, что самые сильные потрясения случаются именно на рассвете. Когда тьма на исходе, когда кончается ее власть и наступает время явиться свету.

Так все оно и вышло.

Мы все еще были оккупированной территорией, измученной долгой войной. Мы спали. Весь город спал. И если учесть, что во время сна, как утверждает наука, чистятся от грязи и боли информационные поля и человека, и целых народов, то можно представить, какой плотной, непробиваемой броней наших страданий и страхов был накрыт родной Вознесенск. Говорят, что в самой Природе не бывает энергии, способной пробиться сквозь подобный покров.

Однако крик, раздавшийся на рассвете, был такой мощной силы, что мы его услыхали.

Где-то внутри, в расщелине плавней, за речкой Мертвые воды, молодой торжествующий голос победительно звонко крикнул:

— Ура-а-аа!!!

И это *ура-а-аа!* как вспышка яростной белой молнии разорвало всеобщую тьму, возгласив приближение света. И тут же раздались автоматные очереди. И — тишина. Такой глубины тишина, что можно было услышать, как бьется в ней общее сердце города.

Мы, лежавшие покотом на полу, мгновенно проснулись и, боясь шевельнуться, боясь дышать, вслушивались в тишину. Мы ждали. Но ничего не дождались, ничего, даже самого слабого шороха. Будто мир за пределами нашего дома умер. Будто и этот крик, и очереди из автоматов — все нам приснилось.

Без единого звука — никто никому ничего не сказал, никто ничего не спросил, даже двухлетний ребенок, лежавший с нами, не пискнул — мы дождались утра, и тетушка Таня, бросив маме: «Оставайся с детьми», ушла. А когда вернулась, мы так и сидели в постели, одетые и в сапожках. Мы ждали, что она скажет. Но она, на себя не похожая, смятая неудачей, обессиленно опустившись на табурет, только и сделала что растерянно развела руками:

— Все, как и мы.

Все, как и мы. Все услыхали. Весь город этот крик услыхал. Утром люди, как семечки из прорвавшегося кулька, высыпали на базар и затаенно спрашивали друг друга, что же такое произошло, кто крикнул, откуда он взялся этот ликующий крик *«ура-а-а!»,* этот посланец надежды, и кого уложила автоматная очередь.

Но никто — как и мы — ничего не знал.

Пройдет время, фашистов выбьют из Вознесенска, но память об этом крике не утихнет, а разгорится. Люди станут искать, разбираться, пытаться понять, и в конце концов кто-то скажет, что это была разведка, пять человек, что они поспешили порадовать город своим приходом, предполагая, что в городе

немцев нет. А кто-то скажет, что это были ребята-подпольщики, комсомольцы, что они намеренно — ценой собственной жизни — возвестили близость победы, дабы дать надежду исстрадавшимся людям.

Послевоенный город долго не мог успокоиться, растревоженный этим подвигом безымянных людей. Однако ни тел, ни следов кричавших никто не нашел. И конечно, памятника им Вознесенск не поставил.

А я забыть этот крик не могу.

И не важно, кто это был в реальности: разведка или подпольщики-комсомольцы.

Это был — Человек.

Это был его голос. Голос самой высокой души на Земле, способной пробиться к людям сквозь неуязвимую броню наших страданий и страхов.

Я верю в силу таких голосов.

Я жду их.

Леонид Рабичев

Весна без конца

Леонид Николаевич Рабичев — поэт, график, живописец. Родился в 1923 году в Москве. В 1942 году окончил военное училище. С декабря 1942 года лейтенант, командир взвода 100-й отдельной армейской роты ВНОС при управлении 31-й армии. На Центральном, Третьем Белорусском и Первом Украинском фронтах участвовал в боевых действиях по освобождению Ржева, Сычевки, Смоленска, Орши, Борисова, Минска, Лиды, Гродно, в боях в Восточной Пруссии от Гольдапа до Кенигсберга, в Силезии на Данцигском направлении участвовал во взятии городов Левенберг, Бунцлау, Хайльсберг и других, в Чехословакии дошел до Праги. Награжден двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями. Старший лейтенант запаса.

Член Союза художников СССР с 1960 года, член Союза писателей Москвы с 1993 года, автор тринадцати книг стихов и книги мемуаров.

Леониду Рабичеву, фронтовику Великой Отечественной, старшему лейтенанту запаса, скоро исполнится девяносто лет. Войдя в почтенный возраст, он не утерял живости души, заинтересованности жизнью, искусством, которые пронес через время невзгод, крови, предельного напряжения нервных сил. В одной из дневниковых военных тетрадей он писал: «На грани потери жизни возникает чувство ее объемности, Космоса. Большой важности простых вещей. Ощущение драгоценности речек, каждого отдельного мгновения, дождей то печальных, то желанных. Ход сообщения. Лошадь устала. Корова мычит. Ощущение объемности жизни...» Эта исповедальная запись попала в автобиографическую книгу Леонида Рабичева «Война все спишет» (2008) и свидетельствует о своего рода посвящении в выстраданную сердечность понимания...

«...хочется обо всем сказать просто, не элементарно просто, а просто мудро, просто универсально, так, чтобы неповторимо», — пишет Рабичев.

В его картинах, рисунках сангиной мы видим эту пристальную универсальность простоты. В станковых работах Рабичева есть некая цветовая аскетичность, графичность, порой почти монохромность. Его реализм в колее пейзажей лиричен. Он тонко чувствует и передает поэзию старых русских церквей, русских монастырей. Созданная им портретная галерея обширна, сосредоточенно психологична, некоторые из портретов имеют особую историю. Замечателен, например, портрет Бориса Пастернака, стремительный четким, чеканным профилем. Пастернак художнику запомнился на поэтическом вечере в Политехническом музее. Было это в 1948 году. Так что можно сказать, что этот портрет — «почти с натуры», во всяком случае, написан по живым впечатлениям...

Любопытен среди портретов и «Hero of two nations», то есть «Герой двух наций». По старой фотографии Рабичев воссоздал образ Джозефа Байерли —

единственного в своем роде ветерана Второй мировой, волею судьбы воевавшего и в составе американских вооруженных сил, и в советских войсках. Фотография, по которой создавался портрет — редкая, Байерли на ней снят еще до того, как самолет сбросил его на оккупированную территорию Франции, где ему, диверсанту-подрывнику, предстояло проявить себя, пока не попал в немецкий плен; трижды бежал, третий побег удался. Долго добирался до линии фронта, где Советская армия сражалась с вермахтом. Дошел. Объяснил, кто он. Редчайший случай, — ему поверили, не отправили в наши лагеря, и он провоевал месяц в чине сержанта, получил медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды. Его история среди солдат 2-го Белорусского фронта стала легендарной. После ранения американского солдата на русской службе в госпитале его навестил сам маршал Г.К. Жуков, он и помог ему вернуться на родину, в США. Сын Джозефа, Джон Байерли, с 2008 по 2012 год был послом США в России, однако так и не увидел портрета умершего в 2004 году отца — Л. Рабичев закончил его уже после того, как «главный дипломат» завершил свою миссию.

На холсте изображен жизнерадостный молодой человек в советской форме сержанта, он поднимает ладонь в приветствии. Между пальцев — значок американских десантников. Благожелательное, открытое лицо Байерли на фоне неба, где вдали условно даны три самолета — в стройном полете...

Лиричен и семейный портрет Рабичевых: там и сам молодой Леонид в форме лейтенанта связи, и сын его, тоже даровитый художник, Федор, и недавно ушедшая художница Виктория Шумилина, жена и подруга мирных лет Леонида Николаевича...

В 1962-м, на разгромленной выставке «Тридцать лет Московского союза художников» в Манеже, ее участник Леонид Рабичев вступил в спор с Н.С. Хрущевым.

Рабичев-мемуарист в выдержавшей два издания и уже упомянутой книге «Война все спишет» не побоялся затронуть то, о чем писать не принято. Он засвидетельствовал случаи жестокости, проявленные... нашими, советскими военными в отношении гражданских лиц на территории Восточной Пруссии... Бывало и такое. Автор не обобщает, не морализирует, не оправдывает, — грустно свидетельствует.

И в художественных листах и холстах его — не обличение, не инвектива, а правда характера человеческих лиц — неоспоримое мастерство графика, чьи светотеневые нюансы мастерски поданы, цельны, почти академичны. Л. Рабичев окончил художественное отделение Московского Полиграфического института в 1951 году и потом много и успешно трудился в области книжной графики...

Леонид Николаевич работает много и сегодня.

Он создал сотни картин, тысячи рисунков, девятнадцать сборников стихов, биографии художников, композиторов, поэтов... Оформил и проиллюстрировал немало интереснейших, антологически уникальных книг. И отрадно, что жизнь и творчество — продолжаются!

Станислав АЙДИНЯН

Дот

В сорок третьем в ночи фронтовые
Каждый раз по-новому новы
Предо мной вставали, как живые,
Праздничные улицы Москвы,

А потом, как эхо, без ответа
Мне один и тот же сниться стал
Дот, где я когда-то до рассвета
О московских улицах мечтал.

Юнкерсы

Ни хлеба, ни тушенки,
Запсиховал сосед.
Лежу на дне воронки
И ничего не вижу,
А юнкерсы все ниже,
А наших нет и нет.

Прострелена пилотка,
Повреждена проводка,
Нет диска запасного,
Прости меня, прости!
Я не могу ни слова
Без слез произнести.

Пенал

О близости и муках в тесноте,
Два с половиной метра, как в пенале.
Потом вагоны, шпалы, звезды, дали,
Под Оршей бег в кромешной темноте,
И каски и кресты на высоте,
Но я уже забыл, как мы бежали.
Погасли звезды, изменился век.
Существенным в той жизни был не бег,
А близость женщины и отдых на привале.

* * *

Портупея, пилотка
На груди ордена —
Медсестра, сумасбродка
Из окопного сна,

В треугольном конверте
В сорок пятом году,
Как спасенья от смерти
Фотографии жду.

Катя

Весна сорок пятого, март, двадцать три,
Осколки и дым, — говори, говори! —
Пилотка, значок, фотография, карта,
Немецкие фольварки и города,
(Мы даже с тобой не простились тогда),
Шинель, гимнастерка и мысли некстати
О школьнице Кате, о женщине Кате,
Как мы в блиндаже целовались, шутя...
Горящая улица? Школьная парта?
Мне страшно сидеть двадцать третьего марта
Над картой семь лет и полвека спустя.

Во сне

Смотрю, смотрю на галок стаи,
Кружащиеся над трубой,
Письмо военное читаю,
Припоминаю голос твой.

Чего хочу? Число какое?
Да все о том же, о войне.

Под Ржевом, лежа на спине,
О Боге говорю с тобою

И о призвании, а ты
Смеешься — это так обидно...
Проснулся — в комнате цветы.

1946

Обрыв

Нас с воздуха, а мы живем,
нас на прицел, а мы все живы,
горит трава, смертельны взрывы,
дрожит земля, а мы вдвоем.

Стрекозы, заросли крапивы,
речной песок, сгоревший дом
и холмик на краю обрыва.

Я в яме, ты на высоте.
Букет кувшинок на холсте.

Собор

Мне говорит седой мой проводник,
Что нет в Европе памятника выше,
Что он описан в двух десятках книг
От плит и ниш до потолка и крыши.
Смотрю издалека, смотрю в упор
На достопримечательный собор.

Мне говорит мой проводник седой,
Что там, где начинается ограда,
Покоится под мраморной плитой
Какой-то Мотыльков из Сталинграда,
И каменный апостол из алькова
Сверлит меня глазами Мотылькова.

Вена, 1946

Картина

Шесть фугасных бомб и я —
Вот сюжет моей картины.
Островки травы и глины,
Небо, дерево, земля.

Дым — одна, осколки — две,
Дом и детство в голове,
Сердце удержать пытаюсь,
Землю ем и задыхаюсь —

Третья? — Только не бежать —
Это смерть. Лежи считая:
Третья, пятая, шестая...
Мимо! Выжил! Можно встать.

1944

Как в детстве

Я в четырнадцать лет
О свободе мечтал —
«Тихий Дон» дочитать успевая едва,
А в свои девяносто прагматиком стал —
Мало времени, старость, болит голова.

Но три дня и прагматика наоборот,
И морщины иронии сходят с лица.
В тридцать девять — стихи,
В девятнадцать — фокстрот,
В девяносто, как в детстве —
Весна без конца.

Леонид Рабичев

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ – Л. РАБИЧЕВ,
В. ШУМИЛИНА, Ф. РАБИЧЕВ. 2012.
Холст, масло. 85 x 100

Леонид Рабичев

HERO OF TWO NATIONS —
ГЕРОЙ ДВУХ НАЦИЙ. 2012.
Холст, масло. 100 x 60

Леонид Рабичев

КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ. 1963.
Картон, темпера. 32 х 60
КОЛОКОЛЬНЯ В СТАРОЙ ЛАДОГЕ. 1969.
Бумага, сангина. 62 х 42

Леонид Рабичев

ПОРТРЕТ БОРИСА ПАСТЕРНАКА. 2011.
Холст, масло. 80 x 54

Евгений Рудов

Менялы

Рассказ

I

В сорок первом мне было четырнадцать. Физически развитый, крепкий, летом гонял с дружками по степным балкам. Наперечет знал все. Знал, где растет какая груша, кислица, так мы называли мелкие кислые лесные яблочки, таскал в пазухе домой, сушил на крыше. Дички запекались на солнце, становились коричневыми, мягкими и сладкими.

Лазали по деревьям, разоряя птичьи гнезда, ловили майских жуков. За этих высушенных крылатых насекомых в аптеке платили деньги. Купив бутылку дешевого вина, бежали на ставок, распивали на берегу и уже навеселе плавали и загорали.

Но прежде чем отправиться куда-либо с дружками, вначале нужно было выполнить по домашнему хозяйству работу — нарвать и принести домой полный мешок травы. Мать мелко секла ее на толстой доске топором и добавляла в корм свиньям; а чтобы поскорее избавиться от этой нудной обязанности, мне помогали пацаны, те же мои дружк*и*. Бросив траву во двор, весело гикая, свободные, как птицы, мы летели в балку.

Но больше всего нравилось кататься на поездах. Машин тогда почти не было. Мы приходили на станцию и, прячась от железнодорожников и кондукторов, а они нас знали и нещадно гоняли, сигали на ходу в вагоны и ехали до узловой станции Штеровка. Оттуда точно так же добирались домой. Прыгали с бегущего состава под откос, выхваляясь друг перед другом ловкостью, катились по насыпи, набивая о камни синяки и раздирая одежду, за которую дома получали нагоняй или крепкого отцовского ремня.

Но однажды все круто изменилось. Как-то мать послала меня в магазин за хлебом. Обычно все покупки делала она или отец. Я не стал задавать лишних вопросов, помчался сразу, некогда было, за двором ждали дружки. Мы собирались идти в балку.

Еще издали увидел длинную вытянувшуюся очередь. Это меня удивило. Раньше такого не было, не замечал. Попытался пролезть, протиснуться к прилавку, но не тут-то было, оттолкнули и выругали.

— Куда прешь, пацан! Стань в очередь!

И с этого дня у меня заметно поубавилось свободного времени. Выстаивать в очередях стало моей обязанностью. Отец, хотя и инвалид, работал на

---

*Рудов Евгений Сергеевич.*Родился в 1940 г. в Донбасе. Заочно окончил Красноярский политехнический институт. Автор книг "Медвежонок", "На северной параллели", "Пойнтер Либериха". Живет в г. Красный Луч, Луганская область (Украина). В «Дружбе народов» печатается впервые.

базе, а мать ухаживала за детьми. Мои две сестрички были еще малы: одной — четыре годика, вторая — совсем грудничок. Их не бросишь одних. Да и дружки реже стали заглядывать. По-видимому, и у них дела складывались не лучше.

Дома появилось много соли. На мой вопрос — куда нам столько — мать отвечала — про запас. Во дворе отец сколачивал большой деревянный ящик.

Радио у нас не было, но на столбе на улице напротив нашего дома висел репродуктор. Из него каждый день лилась бравурная песня:

Мы мирные люди, но наш бронепоезд
Стоит на запасном пути.

В очередях шушукались. Здесь я узнавал новости. Не все было понятно в них, но общее ожидание надвигавшихся непоправимых событий тревогой заползало и в мою душу. Правда, я помнил это только до той поры, пока не оказывался в балке. Чистое над головой синее небо, шелест зеленой листвы, тихий, привычно спокойный шум речной воды быстро сменяли мои мысли.

Очередь двигалась медленно, времени поговорить было вдосталь. Делились предположениями, догадками. У кого-то приехал в отпуск сын, военный, с самой границы. Смешно изображали маленькие сценки, пытаясь пересказать, как идут составы с зерном в Германию. Нажимали на букву «ш», медленно вращали согнутыми в локтях руками и так же медленно притопывали ногами.

Везу пш-ш-шеницу,
Везу пш-ш-шеницу...

Слышалось шипение пара уставшего паровоза. А обратно — легкий перестук бегущих налегке домой вагонов.

Гаечки-винтики,
Гаечки-винтики...

«Нашим салом, да нам по мусалам». И такое можно было услышать.

В июне мы с отцом отправились в село Штеровка навестить его родную сестру. Автобусов тогда не было, добирались железной дорогой, шли пешком. А назад домой ехали через крупную узловую станцию Дебальцево. Это было шестнадцатое июня сорок первого года.

Графика движения уже никто не придерживался. Мы ждали час, два, четыре. Проходили все сроки, а нашего поезда не было. На станции отвечали:

— Ждите — будет, ждите — будет.

И оставалось только ждать. А с востока на запад, не останавливаясь, не сбавляя скорости, проносились составы. Часть военного груза была укрыта брезентом, часть — вся на виду. Чего-то уже не хватало — брезента или времени. Шли теплушки с солдатами, полные, набитые; только пролетал один состав, еще был виден его хвост, а за ним уже шел другой. И все в одном направлении.

Через неделю страна услышала голос Молотова — война...

Первого сентября, как обычно, начались занятия в школе. Отец, заметив, что я перестал заглядывать в учебники, спросил:

— А что, уроки не задают?

Я признался, что бросил школу. В другой раз он всыпал бы мне ремня так,

что ни встать, ни сесть, но сейчас только покачал головой. Я был рад этому. Какая школа? Война!

Жорка, пацан с нашей улицы, старше меня, пригласил на работу в сапожную мастерскую.

— Увидишь, тебе понравится. Там очень интересно.

Так, начав в сорок первом учеником, в начале сорок второго я работал уже мастером. На западе гремели бои, немец теснил фронт, но наш город до середины сорок второго оставался свободным от захватчиков.

Однажды заглянул в тот самый деревянный ящик, который в свое время сколачивал отец. Там лежало сало. Оно пожелтело и издавало чудный запах. Было голодно, и я, не устояв, отрезал кусочек, отряхнул ножом соль и положил в рот. Сало растаяло на языке. Как шоколад, до того вкусно!

Каждый год мы резали двух свиней, мясо съедали, а сало мать несла на базар. Теперь оно лежало в ящике. И очень правильно сделали. Меняли на молоко для маленьких, на крупы. Все подорожало, и денег не хватало.

В мае стали закрываться учреждения. Грузили на транспорт документы, жгли бумаги. Началась эвакуация. Немцы наседали на Шахтерскую дивизию, которая девять месяцев оборонялась на Миус-фронте. Она вот-вот должна была отступить и сдать город.

Закрылась и наша сапожная мастерская. Нам не выдали ни трудовых книжек или справок, ни денег. Первой в этот критический момент сбежала милиция, и в городе начались погромы, растаскивали магазины. Да так быстро, что я нигде не успевал. Прибегу — уже ничего нет, пустые ящики, коробки, рваные бумажные обертки, непривычно зияющие голые полки.

В книжном магазине, куда заскочил, толпились люди. Они топтались по разбросанным на полу сочинениям Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина в красивых тисненных золотом обложках, а со стеллажей гребли художественную литературу.

Книги мне были не нужны. Читать я не любил.

В одном месте повезло больше. В пустом складе с распахнутыми настежь дверьми на полу лежал брошенный увесистый прибор. Никто не взял. Я обхватил его двумя руками, прижал к животу и притащил домой. Это оказался электрический счетчик, да такой большой, что хватило бы, наверное, для учета энергии целого района. Надо сказать, эту бесполезную для меня штуку я отдал энергетикам, когда город освободили от немцев.

Ненадолго вернулась милиция или какие-то другие военные, и во дворах прозвучали выстрелы. Это расстреливали тех, кто участвовал в погромах. Видимо, в городе оставались наблюдатели.

Бежавшие с расположенного рядом фронта дезертиры бросали в ставок винтовки, стаскивали с себя солдатскую форму, выпрашивали или воровали гражданскую одежду, даже рваную. А мы с пацанами ныряли за винтовками на дно. Став был глубокий, и достать их было непросто. Не всем хватало набранного в легкие воздуха. Зато счастливчики, а среди них был и я, держали в руках настоящее боевое оружие. Интересно было сунуть винтовку в воду, нажать курок. Глухой выстрел, выскочивший на поверхность ставка рой пузырьков воздуха — и ствол, как по отметке, срезало словно бритвой там, где он касался воды.

Первыми в город вошли итальянцы. Началась настоящая охота на кур. Солдаты ловили их во дворах, вламывались в сараи, хватали, сворачивали не-

сушкам шеи. Бедная птица никогда не знала подобного отношения к себе. Стоял сплошной гвалт и кудахтанье.

Куры ошалело метались повсюду, хлопали крыльями, теряя пух и перья. Перелетев в панике через забор, бежали, спасаясь, по улице. Но и здесь по ним стреляли из винтовок. Итальянцы мазали, торопливо целились, снова мазали, а попав — курица падала и дрыгала ногами, — весело гоготали. Набив и набрав трофеев, пальбу прекращали.

Побывали они и у нас в доме. Забрали мою мандолину, я учился в музыкальной школе, сняли со стены карту. Повторяли одно и то же слово:

— Сталинград, Сталинград, — и тыкали в карту пальцами, вопросительно глядя на меня и отца. Я показал им, где находится Сталинград и где сейчас они.

— О-о-о, — удрученно качали головами. До Сталинграда было далеко. Немцы обещали им конец войны, когда будет взят город на Волге.

После итальянцев ненадолго вошли румыны. Эти не ловили и не стреляли кур, их уже не было — уцелевшим отрубили головы. Ночью они выкрали всех уток из нашего сарая. Отец утром, как всегда, вышел покормить свою живность, но не услышал знакомого кряканья.

— Настоящие цыгане, — ругал он румын.

На постой к нам стали два солдата: каптенармус и его помощник Мак. Каптенармус производил впечатление грамотного и культурного человека, знал русский язык, а щуплый Мак выполнял все команды своего начальника. Приходил в гости третий румын, фельдфебель, играть с ними в карты на деньги. Каптенармус и Мак постоянно проигрывали фельдфебелю. Когда он уходил, каптенармус, как ребенок, за его спиной приставлял к своему носу большой палец растопыренной ладони, впритык к ней ставил вторую пятерню и быстро-быстро шевелил всеми пальцами. Мак растягивал рот до ушей, мы тоже улыбались. Неожиданно фельдфебель оборачивался. Тогда румыны мгновенно щелкали каблуками и вытягивались в струнку как по команде «смирно».

После ухода фельдфебеля отец, наблюдавший за игрой, возмущался — как это можно было с такой картой и проиграть!

— Так надо, — отвечали румыны.

Мы понимали, что и каптенармус, и Мак не хотели на передовую, боялись фельдфебеля и всячески ему угождали.

В доме у нас был патефон, придя со службы, постояльцы крутили его без конца. Особенно нравилась им песня:

В колхозах хлеба полные амбары,
Привольно жить нам стало на Дону.
Мы проливали кровь свою недаром
На всех фронтах в гражданскую войну.

Когда румыны уходили, прихватили с собой и патефон с пластинками. Надо отдать им должное, оставили нам мешок фуражного зерна — овса, смешанного с горохом, корм для лошадей. Втихаря от фельдфебеля. Такой обмен, как сейчас сказали бы — бартер, нас вполне устраивал. На какое-то время спасал от голода. Я просеивал сквозь пальцы овес, вылавливая круглые желтые горошины, твердые, как камень, но зубы у меня были крепкие. Не хуже лошадиных. Было бы что жевать.

Как только в городе появились немцы, сразу установился новый порядок:

комендатура, биржа труда, полиция, объявления. Я только успевал крутить головой, читая расклеенные повсюду приказы. И везде за их невыполнение — расстрел.

Однажды на улице меня схватил полицейский и потащил с собой. Я ничем еще не успел провиниться перед новой властью и просил отпустить меня.

— Дяденька, куда ты меня ведешь? — плаксиво причитал, пытаясь разжалобить полицейского.

— Иди, там узнаешь, — ответил он.

Мы пришли в комендатуру. Во внутреннем дворе стояли в два ряда молодые рослые парни. Вдоль них прохаживался полицейский и агитировал вступать в РОА. Я спрятался за спины, но полицейский вывел и поставил в конец левого фланга. На крыльцо вышел офицер. Сверху он внимательно оглядел шеренги. Увидев меня, а я был мал ростом, хотя мне уже стукнуло пятнадцать, небрежно махнул рукой:

— Weg!

Этот интернациональный жест по-другому истолковать было невозможно, и я, счастливый, бросился к калитке, но на выходе дежурил постовой. У его ног стояла винтовка с откинутым штыком. Он отклонил винтовку, и штык преградил мне дорогу. Я остановился. Полицейский схватил за шиворот и швырнул назад.

— Weg! — резче крикнул немец.

Штык стал вертикально. Я пулей выскочил на улицу и по задворкам, дай бог ноги, резво бросился бежать домой.

В расклеенном по городу приказе упоминался и мой год: надо было идти регистрироваться на биржу труда. Напомнил об этом и сотский, он командовал всей нашей улицей. Пришлось подчиниться.

Не знаю отчего, но у меня шелушилась на пальцах кожа. Думаю, от недоедания. Довоенные запасы кончились, оставленный румынами мешок опустел, съели и неочищенный в нем овес, и в ход пошло все, что можно было продать на рынке, который работал и при немцах. Ходили туда по очереди мать и отец. Бегал и я в надежде чем-либо поживиться, попросту что-либо стащить. Худой, голодный, шнырял по базару, близко прижимаясь к прилавкам. На меня зло зыркали и гнали в шею. Таких здесь уже знали.

В кабинете биржи за столом сидел здоровый рыжий детина. Он направлял всех на железную дорогу. Наши при отступлении взорвали ее, и теперь немцы восстанавливали. Я протянул руки, показывая на них слезавшую кожу и синеватые пятна там, где ее уже не было.

— Смотри, пан. Прошлой зимой обморозился. Не могу держать ни лом, ни лопату.

Он холодно сказал:

— Тогда поедешь в Германию.

— Что ты, пан! — испугался я. — Я болен, писаюсь.

— В Германии хорошие врачи. Вылечат, — сказал с ухмылкой.

Дома я все рассказал родителям и показал направление в поликлинику.

— Слушай сюда, сынок, — сказал отец. — Когда пошлют в туалет написать в бутылочку для анализов, капнешь в нее из этого пузырька капель десять, не больше...

И дал мне маленький пузыречек, закрытый резиновой пробочкой. Это был канцелярский клей. Отец принес его с базы еще до войны.

На следующий день я так и сделал. А бутылочку с мочой хорошо встряхнул, чтобы все перемешалось, как учил отец. И стал ждать.

Радости моей не было конца, когда получил справку, что по состоянию здоровья я непригоден для отправки в Германию. Это была настоящая, по всей форме немецкая бумага. Внизу стояла черная круглая печать с орлом и свастикой. Показал отцу и матери, отнес на биржу труда. Там справку у меня взяли, подшили в дело.

Только после войны узнал, что не один я был спасен нашими врачами от работ в Германии.

II

Жили мы впроголодь, но дружно, ссор никогда не было. Мать совала свой кусок нам, детям, а я прикидывался сытым и отдавал сестричкам. В балке спели дикие груши и яблочки, я наедался ими от пуза, сушил, как и раньше, на крыше, варили компот. Сахара не было. Пили горячую закрашенную воду и ели гущу.

— Витамины, — говорил отец. — Большая от них польза.

Со ставка я приносил пескарей, десяток, когда больше. Готовили уху. На толчке продукты были очень дорогие. Мать несла туда свою одежду и жаловалась:

— Хай йому грець! Глаза вылупыть, чуть не даром хоче, — это она говорила о покупателях, — а як соби щось треба, грошей не выстачае.

Она была родом с Черниговщины, но прожила на Донбассе много лет, и речь ее, потеряв чисто украинский говор, напоминала своеобразную смесь двух родственных языков.

Однажды я застал ее укладывающей в сумки остатки своих платьев, отцов костюм и другие вещи. Увидела меня.

— Оцэ, сынок, поидэмо з тобою миняты.

Меня это обрадовало. Какой пацан откажется прокатиться в поезде, поглядеть другие края. От своих дружков знал, что их родители тоже не сидели дома.

Отец смог проводить нас только за калитку. Остался с маленькими детьми. На тачке лежали узел с вещами и пустые сумки под будущие продукты.

Железную дорогу от города до Штеровки немцы еще не восстановили, и мы шли пешком. Никакого асфальта тогда не было и в помине, обыкновенная грунтовка с выбоинами и колдобинами.

Тачку катили по очереди. Маленькие чугунные два колеса чувствовали каждую ямку. А на обратном пути, застряв в колдобине, стаскивали полные сумки, выталкивали тачку и снова грузились. И так от Штеровки до самого дома. Настоящая каторга. Мысленно я ругал отца, который работал на базе и не мог выбрать себе что-либо получше. Я видел, как люди катили чуть ли не телеги на высоких и легких колесах. Их можно было толкать одной рукой.

На станции все было спокойно и размеренно. Приходили и уходили составы. Из-под брезента выглядывали гусеницы танков, колеса орудий. Немцы выпрыгивали из вагонов, разминались, играли на губных гармошках. По перрону ходили люди. Они тоже куда-то ехали. Никакой охраны. Я стоял и наблюдал.

С попутчиками погрузились в полувагон с лесом. Это были толстые половые доски. Немцы даже в блиндажах устраивались с комфортом.

Опустилась теплая летняя ночь. Я лежал на пахнущей свежераспиленной

древесине и смотрел в небо. Оно было густо усыпано звездами. Одни светили ярко, казались совсем близкими, другие тускло мерцали. Иногда небо чертил огненный след падающего метеорита. Не долетая до горизонта, гас. Подо мной стучали колеса вагонов, в голове состава пыхтел паровоз.

На следующий день мы разгрузились на станции Лихая. Здесь было то же, что и в Штеровке — составы, немцы. Нас никто не останавливал, не задерживал.

Я таскал по улицам тачку, а мать стучала в калитки, заходила во дворы, развязывала узел. Начинался торг. Женщины прикидывали на себя наряды, уходили примерять в дом, а потом или возвращали назад, или обменивали на зерно.

Постепенно, не сразу, заполнялись наши сумки. Вещей было у нас немного, дома уже ничего не осталось, и мать торговалась за каждый грамм зерна.

Толкаю перед собой тачку и вижу, как навстречу нам с чьего-то двора вышли три немецких офицера. Я уже научился разбираться в знаках отличия: это были летчики Люфтваффе. Наверное, где-то поблизости располагался немецкий аэродром. Красивая выутюженная форма, высокие фуражки, начищенные ботинки и отраженное солнце в металлических регалиях. Рядом с ними шли три девчонки. Всем было весело, все громко, никого не стесняясь, смеялись. У одного офицера на шее висел фотоаппарат. Летчики заступили нам дорогу. Я остановился и низко опустил голову.

— O, russische Pferdchen! Gut, sehr gut. Ausgezeihnet!

Тот, который был с фотоаппаратом, подошел ко мне и небрежно двумя пальцами приподнял за подбородок, потом отступил назад и навел объектив. Помятый, с торчащими вихрами, в потертой, изношенной одежде и стоптанных башмаках я, наверное, выглядел очень смешным и вновь уперся глазами в землю. Девчонки с любопытством и молча разглядывали меня.

— Nicht! — надменно крикнул немец. — Kopf hoch! — и показал рукой вверх.

Когда мы вновь шли по улице, мать обернулась и тихо выругалась:

— Подстилки немецкие.

Ночевали у пожилой казачки. Она накормила нас, постелила прямо во дворе на топчанах. Обменялись с ней последним, что оставалось в узле, но в наших сумках еще было место. В аккуратном незапертом сарайчике приметил деревянные кадушки с зерном: жито, просо, ячмень, кукуруза.

Тишину ночи нарушали только идущие поезда. Остывший воздух громко и отчетливо доносил стук колес. Не спалось.

В темноте тихонько поднялся со своего лежака, направился к сараю. Хотел пополнить сумки. За спиной услышал голос:

— Ты куда, хлопчик?

Это было неожиданно, как голос с неба.

— Пописать, тетенька, — все, что наскоро мог придумать.

— Так туалет в другой стороне. Идем, покажу.

И она повела меня. А утром я не поднимал глаз. Было стыдно.

///

Все, что было можно, мы променяли. Осталась только одетая на нас одежда. Голодный, я со злости пнул тяжеленный прибор, который припер со склада. И не попалось же мне что-нибудь подходящее, за что дали бы хоть заплесневелый сухарь!

Мать и отец крепились, не показывали вида, но за нас переживали. Днем в поисках чего-либо съестного они куда-то исчезали, оставляя на меня сестренок, но чаще всего приходили с пустыми руками или приносили несколько картошин, початок кукурузы.

Худо жилось всем. Трехсот граммов эрзац-хлеба, перемешанного с опилками, сырого, как глина, который выдавали немцы на каждого иждивенца, мне хватало, как собаке, на один глоток. Но я рад был и этому, только бы поесть досыта. Из крепкого, сильного пацана превратился в доходягу. Никто уже не мог дать мне пятнадцати лет. Решил попрошайничать. Но вокруг были такие же голодные.

От отца узнал, что сосед Коваленко, я называл его дядя Дима, собирается на Дон. Перед самой войной туда уехал Бычков, тоже наш сосед и тоже казак. А надо сказать, что в коллективизацию, после революции, когда на Дону шло раскулачивание, к нам в город понаехало и поселилось много казаков. Все трое — Коваленко, Бычков и мой отец хорошо знали друг друга и дружили. Дядя Дима воевал в Первую мировую на германском фронте и был ранен. Немцы подобрали его на поле боя и отправили в госпиталь. Там дяде Диме отрезали перебитую ниже колена ногу и сделали деревянный протез. А когда в Германии в 1918 году началась революция, он вернулся домой.

Я напросился к дяде Диме, и мать с отцом разрешили. На одного едока в доме станет меньше, а казаки — народ богатый, хотя бы покормят.

Шли той же дорогой до узловой станции Штеровка, что и в первый раз с матерью. Только теперь с нами была еще дочь дяди Димы — Таня, сердечница. Моросил дождь, который скоро перешел в снег. Это было девятнадцатое ноября 1942 года. Мы еще не знали, что утром в 7 часов 30 минут этого же дня мощные залпы нашей артиллерии разорвали тишину донской степи. Юго-Западный и Донской фронты одновременно перешли в наступление и, взломав передний край обороны немцев, устремились вперед. Так началась вторая часть Сталинградской эпопеи.

На станции, куда мы вышли, что-то изменилось. Уже не было той беспечности, когда мешочники или менялы вроде нас садились в полувагоны с военной техникой. Пацаны, такие как и я, даже забирались на пушки верхом, и никто не сгонял, а немцы считали, что война выиграна, и беспечно тренькали на губных гармошках.

Теперь составы на путях охранялись, и подойти к ним близко было опасно. Но дядя Дима знал немецкий язык, два года пробыл в плену. Он подошел к вооруженному автоматом солдату, заговорил, представившись немецким колонистом: в Поволжье осталась семья, едет спасать от «кровожадных» русских. Немец поверил или сделал вид, что поверил, указал на состав, который шел в ту сторону. Это были теплушки с печками-буржуйками.

Поезд уже тронулся, набирая ход, но мы сумели все трое догнать открытую дверь вагона. Я вскочил первым и стал помогать вскарабкаться дяде Диме. Оглянулся назад и обомлел... за моей спиной — полный вагон эсэсовцев.

Молодые, здоровые, откормленные, в зловещих черных шинелях, с автоматами, они были полупьяны, а на полу стояли или лежали вперемешку пустые и еще нетронутые бутылки с разными этикетками. На стыках рельс бутылки покачивались, дрожали, легонько касались друг друга и тонко звенели стеклом.

Я бросился назад. Но дядя Дима уже влез наполовину в вагон, лежал животом на полу, упираясь руками, и, закинув здоровую ногу, пытался подтянуть культю. Таня еще бежала, ухватившись за край двери. Я подал ей руку.

Поезд убыстрял ход. Проехали станцию, пошли окраинные дома поселка. Я мог выпрыгнуть из вагона, как делал это не раз, но оставить, бросить дядю Диму и Таню одних не мог.

— O, mein Gott! Schnell, schnell!

Резкий, приказной голос заставил нас поторопиться.

Как эквилибрист под куполом цирка без страховочного пояса на натянутом струной канате, так и мы гуськом, ступая след в след, пригнув плечи, стараясь ни на кого не глядеть, не зацепить, тихонько прошмыгнули в самый дальний угол, уселись, прижавшись к стенке и затаились, как мыши. В любую минуту ради забавы нас могли выкинуть на ходу из поезда.

На остановках пьяные эсэсовцы выскакивали из вагонов, автоматы наперевес, и не дай Бог кому-либо стать им на пути. Даже жандармы, вылавливавшие дезертиров, убирались прочь, прятались от эсэсовцев. Это были обреченные люди. Они уже ничего не боялись. Холеные, оберегаемые и лелеемые фюрером войска ехали теперь только в одну сторону, и они это знали — возврата домой не будет. Их бросили в самое пекло, в кровавую мясорубку — под Сталинград.

Под сильными руками эсэсовцев трещал выламываемый штакетник пристанционного низкого заборчика, ограждавшего цветочную клумбу, с корнем вылетали столбики, топтался рыхлый чернозем, полегали цветы. Дрова летели в вагон, к буржуйке. От удара кованого сапога катилась по перрону опрокинутая урна с мусором, звенел разбитым стеклом перевернутый киоск. Вокзал пустел. В страхе разбегались пассажиры.

На станциях наш состав долго не задерживали, старались побыстрее от него избавиться. Эсэсовцы о нас забыли. В нашем углу было полутемно, сидели мы тихо и старались не привлекать к себе внимания.

К вечеру остановились километрах в десяти, не доезжая Суровикино, на полустанке. Дальше поезд не шел, в Суровикино были уже наши танки.

Расставшись с эсэсовцами, перевели дух. Отправились пешком в станицу, где жил Бычков. Шли в темноте, немного поплутали, но станицу нашли. Это было недалеко.

Бычков принял нас радушно. Накормил и уложил спать на полу, мест на койках всем не хватало. В доме было жарко натоплено, а на улице донимали холод и слякоть. Уставшие и порядком продрогшие, осоловевшие от тепла, сытые, мы быстро уснули.

Рано утром нас разбудил сплошной треск мотоциклов. По звуку их было много. Потом взревели моторы. Это было так близко, что мы, испугавшись, вскочили. Но Бычков успокоил — рядом немецкий штаб. Фрицы грузились на машины и драпали, боясь окружения. За ними потянулись подводы с полицаями и их приспешниками.

Мы тоже начали собираться. Бычков усадил нас позавтракать, дал всем по буханке хлеба, не эрзаца, а настоящего, пшеничного, собственной выпечки. Больше не мог, зерно было зарыто, спрятано в земле.

Немцев уже не было, исчезли и полицейские, станица казалась вымершей или притаившейся в ожидании событий.

Пряча за пазухой хлеб, отщипывая по малюсенькому кусочку, мы шли по дороге, шли долго. В середине дня встретилось какое-то селение. Постучались в крайний дом. Вышедшая на порог казачка, увидев наши посиневшие носы, пригласила войти погреться. Усадила за стол, выставила покушать.

Где-то в стороне начали рваться снаряды. От взрывов дрожала хата, на столе звякала посуда, звенели стекла окон. Это била по немцам наша артилле-

рия. Не обращаем никакого внимания на разрывы. Мы к ним давно привыкли. Наш город постоянно обстреливался немцами, когда в нем стояли наши, и нашими, когда его заняли немцы. Казачка же перепугалась, мечется из угла в угол, ожидая, что вот-вот крыша вместе с потолком рухнут ей на голову. Она очень удивлялась нашему спокойствию.

Темнота застала нас в дороге. Падал редкий снежок, было холодно. Набрели на стоявший грузовик. В кабине два немецких солдата кутались в одеяла и укладывались спать. Дядя Дима покалякал с ними, и мы полезли в кузов. Приткнулись к бортам, плотнее запахиваясь в телогрейки. Не очень уютно было ждать утра под ноябрьским небом, и холод усиливался. Проклиная пунктуальность немцев, я закрыл глаза, пытаясь вздремнуть, чтобы хоть как-то скоротать время. Услышал шум подъехавшей машины. Чуть-чуть высунул голову за борт. Из легковушки вышел большой чин, полковник, может, генерал. На высокой тулье фуражки отсвечивал орел, руки в кожаных перчатках. Он открыл дверь кабины грузовика и стал что-то быстро и резко выговаривать солдатам, опуская руку на кобуру. Солдаты вскочили, засуетились, свернули одеяла и тут же запустили мотор. Полковник заглянул в кузов и увидел нас.

— Wer sind diese Leute? — спросил он.

Наверное, со стороны было необычно видеть, как в кузове автомашины сгорбившийся от холода дядя Дима объяснял на плохом немецком языке задравшему голову полковнику вермахта все ту же сказку о немцах с Поволжья. Правда, теперь он немножечко изменил свой рассказ: с детьми добирается в Германию, русские расстреляли жену.

Хлопнула дверца легковушки, и полковник уехал. Двинулись и мы. И хотя к морозцу прибавился еще и ветерок от езды, я был рад. Не замерзать же нам в степи. Дядя Дима сказал, полковник заподозрил солдат в том, что они хотели дождаться русских и сдаться в плен, но «он этого не допустит и расстреляет их тут же». Напуганные солдаты больше нигде не останавливались.

Снег перестал падать, небо вызвездило, и глянула щербатая луна. Стало чуть светлее. Вдоль дороги обозначились редкие повозки. Они одиноко и неподвижно стояли в степи. Но чем дальше мы уходили от приближавшегося фронта, тем повозок становилось больше. Они были точно такие, какие я видел в станице Бычкова: ладные, крепко сбитые, выкрашенные в темно-зеленый цвет, на окованных железными ободьями колесах. Добротный гужевой транспорт. Теперь повозки были брошены, а впряженные в них лошади лежали мертвые.

— Загнали, — пояснил дядя Дима. — Так драпали, что загнали лошадей.

За шумом мотора нашего грузовика послышался утробный и злой лай собак. Я снова выглянул из кузова. Впереди смутно чернела людская колонна. Она быстро приближалась. И скоро мы ее догнали. Серая масса солдат потянулась вдоль борта. Это были пленные, наши. Они бежали, подгоняемые криками конвоиров. Глухой топот сапог. Их было человек сорок. Кто-то висел на плечах соседей, слышалось тяжелое дыхание. По бокам и сзади колонны автоматчики, на поводках — рослые овчарки. Мрачное зрелище.

Мы притихли. Жалели солдат. В Сталинграде не сдавались. Это были раненые, контуженные, но непокоренные.

На рассвете перед Морозовской въехали в поросшую деревьями ложбину. Здесь стоял отряд жандармов с пулеметами. Пропускали только немцев, всех остальных задерживали, отводили в сторону и разбирались.

В самой Морозовской увидели, как жандармы вели группу румынских офицеров. Это были командиры тех союзных немцам полков или частей, которые

первыми дрогнули, побежали под натиском нашей армии. Их расстреляли у железнодорожной насыпи. Может, в одном из этих подразделений служили и наши знакомые — каптенармус и Мак. Живы ли они? Мне стало жалко их. Ничего плохого они нам не сделали.

На станции подсказали, какой состав отправляется в нужную нам сторону. Подошли к открытому вагону, на площадке которого уже сидело человек двадцать, одни женщины. Поднялись и мы к ним. Но откуда-то появились мужики с ломами и, угрожая, начали сгонять нас. Это были железнодорожники.

Две бабы сцепились с ними, ругались горячо и зло, крутили пальцами у виска. Мужики, ничего не добившись, ушли, но вскоре вместо них появились полицаи с винтовками. Ссадили всех. Повели в комендатуру. По пути еще прибавилось народу. Собралось нас около сотни.

У крыльца комендатуры остановились. Вышел офицер. Презрительно оглядев одетую кто во что толпу, властно махнул рукой.

— Weg! — и закрыл за собой дверь.

Нас повели в лагерь. Когда станция осталась позади, прямо на дороге упала Таня, схватило сердце.

— Стреляй пан, — сказала она полицейскому. — Сердце капут.

Дядя Дима стал объяснять полицейским, показывая на свою культю, что он инвалид и дочь больна, просил отпустить. Их нехотя оставили на дороге, а нас погнали дальше.

Подошли к обнесенному колючей проволокой лагерю. За арочными воротами в аккуратные ряды выстроились деревянные бараки. По двору прохаживались часовые с автоматами.

Наши конвоиры ушли вперед и, встретившись с охраной лагеря, оживленно о чем-то заговорили. А мы, как стадо баранов, тащимся следом. Вдруг замечаю, от хвоста колонны отделились две женщины и бросились бежать. Не раздумывая, пока не видят полицейские, дал деру и я.

Тетки свернули куда-то в сторону, а я с ходу пулей выскочил на станцию и перрон. И надо же, как раз в это время отправлялся состав, и мимо проплывал пульман, такой высокий деревянный вагон без крыши.

Мне не раз доставалось от отца за опасные, как говорил он, проделки, когда я на полном ходу, как и все наши пацаны, вскакивал в вагон или прыгал под откос. Такие прыжки между нами считались верхом ловкости и геройства. Мне, физически развитому подростку, это было плевое дело. Я, как кошка, мог уцепиться за любую выступающую железку и висеть над рельсами.

Нисколько не колеблясь — прыжок, и вот уже по торчащим лесенкой скобам вагона вмиг взлетаю на самый верх и прыгаю внутрь. Одним махом, на одном дыхании. Медлить нельзя. Могут увидеть немцы или полицаи. Чем это может обернуться для меня, не думаю. Не думаю также и о том, что в вагоне может находиться какой-либо груз, о который расшибу голову или сломаю ноги.

К счастью, вагон был пуст, но от меня, упавшего прямо с неба, шарахнулась перепуганная фигура.

— Румын капут! Румын капут! — слышу торопливую испуганную речь.

В форме, без оружия, с забинтованной кистью руки, прижался к стене одинокий румынский солдат. Наверное, дезертир. Сам себе прострелил руку.

Так, в разных концах вагона, молча, лишь изредка поглядывая друг на друга, мы доехали до Белой Калитвы. Уже на станции я услышал крики.

— Liter! Liter! Liter!

И внутрь вагона, взобравшись по тем же скобам, заглядывает круглая морда жандарма. На груди подвешенная на цепи опознавательная жандармская бляха, на шее автомат.

— Liter? — спрашивает он.

Деваться некуда. Попытаюсь бежать — пристрелит.

Жандарм увидел румына. Тот сидел, не шелохнувшись, видимо, почувствовал свой конец.

— Komm! Shcwein! Rumanisch Schwein! — орет вне себя немец.

Румына вытащили и избивают. Ведут в сторону. Раздается короткая автоматная очередь.

Стою в первом ряду на перроне в толпе таких же, как и я, не имеющих литеры, разрешения на проезд. Нас собралось много. Куда поведут, в какой лагерь, и что будет со мной? Удастся бежать или сошлют на работы? А если отправят в Германию или просто расстреляют, как румына? Мысли непрерывно и лихорадочно крутились в голове.

Жандарм махнул рукой, и полицейские прикладами винтовок стали подталкивать нас к выходу. Все! Когда теперь увижу родных? Где дядя Дима с Таней?

В это время состав, на котором я приехал, дернулся, громко лязгнули, загрохотали сцепки вагонов, и поезд тронулся, набирая скорость. Во мне вдруг что-то сработало, как чека мины. Где-то глубоко внутри защемило, заныло и даже стало больно. Так, наверное, чувствует себя несчастный, когда ему объявляют смертный приговор. Но голос ушедшего азартного детства побуждал к действию. Он напомнил отчаянные прыжки на вагоны, злые крики железнодорожников, ругань кондукторов.

Миг — и я проскочил мимо жандарма. Разжатой, как выстрелом, пружиной, толчком ног у края перрона, вытянув вперед руки, я летел ласточкой на пульман. Ловкость и удача меня не оставили. Свалился прямо на буфер. Так, сидя на нем, удерживаясь обеими руками за выступающие железки сцепки, проехал мимо онемевшего, ошарашенного такой невероятнейшей дерзостью жандарма. Раскрыли рты полицейские, глазела в мою сторону медленно двигавшаяся толпа безлитерников.

Дли-и-н-ная автоматная очередь крошила толстые доски вагона, летела отколовшаяся щепа, цвинькали рикошетившие пули. Но перрон уже оборвался, кончился, пошла внизу земля, проплывали последние станционные постройки. Набегающие на вокзал вагоны надежно укрывали меня от автомата жандарма и винтовок полицейских. Я был уже вне их досягаемости, в безопасности. Какой ценой она мне досталась, не думал. Поиграл в смерть и ладно. Жив, а это главное.

Поезд выскочил на железнодорожный мост через Калитву. Громче застучали стыки рельс, загрохотали, закладывая уши, металлические конструкции ферм, замелькали клепаные стойки. Я с интересом разглядывал сверху речку. Это не наш ставок, здесь есть где разгуляться.

Неожиданно мелькнула одна каска автоматчика, за ней другая. Это была охрана моста по всему пролету. Где-то рядом стоял караульный пост. Мост был стратегического назначения, по нему немцы снабжали свои войска под Сталинградом.

Узкое пространство между вагонами, набранная скорость поезда проносили меня мимо автоматчиков с быстротой киношного кадра. Р-раз — и нет, р-раз — и нет. Мы таращили друг на друга глаза: я на фрица, фриц на меня. Убегавший вагон на миг открывал меня автоматчику, набегавший тут же и за-

крывал. В этом скоротечном мельтешении немец не успевал даже сообразить — кто или что едет на буфере. Он долго потом смотрел вслед уходящему составу.

Я же настолько обнаглел и так развеселился, что заранее готовил «рожу», у меня было маленькое преимущество перед охраной — неожиданность; закатывал глаза, высовывал язык и вообще вел себя нахально и вызывающе. А последнему автоматчику помахал рукой и прокричал во всю мощь своих молодых легких:

— Auf Wiedersehen! До встречи!

Это слово я знал от дяди Димы. Конечно, в таком сумасшедшем грохоте немец ничего не расслышал, но я был доволен собой.

Дальше стало хуже. Холодный ветер и морозная погода пробирали насквозь. Застыли руки, окоченели ноги. Качаясь на буфере, боялся, что свалюсь на рельсы и тогда мне конец. Раздавит, разнесет по всей дороге.

Подняться на ноги, взобраться в вагон не было никакой возможности: не на что опереться, не за что ухватиться. Прыгнуть под откос со сцепки — очень рискованно. Так и ехал дальше, совсем замерзая. Уже жалел, что убежал. Ну, отправили бы на работы, заставили что-то делать, а там, гляди, и сбежать можно. Только бы не свалиться, только бы не упасть.

Сколько прошло времени — уже не соображал, задубел вконец. На полустанке поезд остановился. Закачивал воду из колонки.

Онемевшее от долгого и неудобного сидения тело, негнущиеся замерзшие ноги, окоченевшие руки — еле спустился на землю. Чуть потоптался для разминки и полез на верх вагона. От моей ловкости ничего не осталось, но надо было спешить, не попасться на глаза полицейским или, что еще хуже, — жандармам.

Не глядя, прыгаю, а точнее, валюсь внутрь. Раздается крик, а за ним длинная ругань. Но я рад был ей, она прозвучал на родном мне языке. И только теперь замечаю людей, солому, на которой они лежали, мешки.

Мужик, на которого я свалился, полез было с кулаками, но остановился. Наверное, потому, что я имел жалкий вид. Маленького роста, посиневший, неимоверно худой. Совсем как ребенок.

Меня пожалели, дали большой ломоть пшеничного хлеба. От его запаха я опьянел. Заметив, что дрожу от холода, уложили на солому, укрыли какой-то хламидой. В дорогу одевались и брали с собой что похуже. Если придется бросить или украдут, так жалеть не о чем.

Это ехали мои земляки, казачки от своих богатых родственников — казаков с Дона. У каждого была эта проклятая литера. Им нечего было бояться.

— И куда ты едешь, паренек? — спросили они.

— До Штеровки. Не проехать бы.

— Не бойся, — ответил мне. — Не проедем. Поезд обязательно остановится на этой станции.

— Откуда вы знаете? — удивился я.

— Знаем. Машинисту заплатили. А немцы народ пунктуальный.

Уж это я знал. Куда еще пунктуальней. И вспомнил донскую степь, темную и холодную ночь, и то, как замерзал в кузове грузовика.

Домой нас шло человек двенадцать. Кто с чем, но плечи каждого оттягивала своя поклажа. А у меня за пазухой лежал ломоть пшеничного хлеба. Моим маленьким сестричкам.

Алексей Пель-Дмитриев

Мы никогда не играли «в войну»

Рассказ-воспоминание

1941-й год, я «старший дошкольник», и 1 сентября планирую идти в школу. А 22 июня по радио объявили: «Война!»

Жутко было интересно. Я все пытался сообразить, что бы это значило, как это будет? Но для «дошкольника старшего возраста» война, хоть и грандиозное, но трудно воспринимаемое событие.

Все мои размышления сводились к строчкам из популярной тогда песни: «Если завтра война, если завтра в поход... ». Ну, вот это «завтра» наступило. Что дальше? Меня распирала жажда деятельности, поэтому в первый же день войны я попросил у соседки вату, марлю, сделал себе маску для дыхания и смочил ее водой. Это нас в детском саду научили — будут газовые атаки, надо дышать через такую маску, чтобы не отравиться.

А еще приготовил собственное оружие на фашистов — в пузырек напихал и налил все самое, на мой взгляд, ядовитое: чернила, дохлых мух, касторку, еще какую-то гадость... Этим я собирался травить врагов... Через месяц в Москве завыли сирены — первая бомбежка. Мама схватила меня за руку, и мы рысью побежали до ближайшего метро *«Охотный ряд».* И это было, пожалуй, самое яркое впечатление от начала войны — не бомбежка, а то, что я впервые оказался в метро как в убежище. Я обнаружил, что самые маленькие москвичи лежат там на раскладных коечках.

В памяти осталась такая картина: на платформах стоят подогнанные поезда, у них открыты все двери, и в вагонах на лавочках — малыши, а я уже, как взрослый мужчина, с гордостью спустился по сходням на пути, и мы с мамой отправились в глубину тоннеля. Там на рельсы были положены настилы, на которые кто что мог, то и укладывал, чтобы прилечь: газеты, половички, одеяла, плащи... Через какое-то время пришел милиционер и сказал: «Внимание, товарищи, воздушная тревога кончилась».

А потом налеты на Москву участились, и нас, маленьких ребятишек, пересчитали, поставили на учет и решили вывезти за город. Привезли в какой-то из подмосковных пионерлагерей. Я помню прощание: мы стоим шеренгой, за

Пель-Дмитриев Алексей Алексеевич — журналист, нумизмат, филокартист, букинист и москвовед. Майор милиции в отставке. В середине 70-х расследовал нашумевшее дело «о бриллиантах вдовы А.Толстого». Консультировал художественный телесериал «Похитители бриллиантов». Живет в Москве.

плечами у всех котомочки, и я страшно гордый оттого, что почти как солдат стою в строю. А мамы почему-то плачут... Кстати, наши воспитатели по возрасту не так уж далеко от нас ушли. Наверное, им было лет по 15-16. Они ничего умнее не придумали, как будить нас каждую ночь по тревоге. Мы перебрасывали через плечо свои одеяльца, как солдаты в кино скатки, и уходили в ближайшую рощу. Там и дремали. Иногда смотрели, как по ночному небу над Москвой шарят лучи прожекторов, вспыхивают разряды от выстрелов зениток, встречавших немецкие бомбардировщики. Налетало их очень много, но к центру Москвы прорывались, как правило, один или два. Три максимум... После того как немцы, не прорвавшись к городу, решили отбомбиться неподалеку от нашего лагеря, кто-то догадался раздать нас назад — родителям.

А потом поступило распоряжение, что взрослым, кто не занят на оборонных предприятиях, и у кого есть маленькие дети, необходимо срочно эвакуироваться. Мама выбрала Сталинградскую область, где жила одна из ее сестер — тогда это был еще глубокий тыл.

Зимой с 1943 на 1944 год мама твердо решает, что нужно все-таки возвращаться в Москву. Но это можно сделать, только получив специальное разрешение. Маме его дают, а мне нет. Я понимаю, время голодное, в Москве каждый лишний рот — это лишняя проблема, которая никому не нужна. Но мама меня оставлять не захотела и повезла домой, в военное время, сквозь патрули, проверки и облавы на шпионов и диверсантов — нелегально! Я этим ужасно гордился! Общий вагон, все переполнено, а мне сделали на третьей полке, среди чемоданов и узлов, маленькую норку. Как только в вагон заходили контролеры или патрули, или вообще кто-то подозрительный, меня сразу предупреждали, я забирался в свое убежище, и меня заслоняли большим чемоданом. Вот так я возвращался — как беглый каторжник. Такая романтика! И никто не выдал, никто не настучал. В стране, где доносы стали обычным делом после репрессий 20-х и 30-х годов, где уже два года шла самая кровавая в ее истории война, и повсюду мерещились шпионы. Мне все-таки всегда везло на хороших людей... Мама была хитрая. Мы не стали доезжать до самого вокзала, а где-то на последней перед Москвой станции сошли и прекрасно доехали электричкой (тогда это были просто пригородные поезда или дачные). Их так тщательно не проверяли. Тогда, после эвакуации, меня очень поразило, что стены Кремля были расписаны разноцветными красками, которые имитировали жилые кварталы. Звезды на башнях были затянуты брезентом, чтобы, не дай бог, не блеснули. На Манежной площади были устроены муляжи крыш домов. Мало того, была изменена излучина Москвы-реки. В какой-то части ее перетягивали маскировочными сетками и как бы сносили в сторону ее поворот, чтобы дезориентировать вражеские самолеты.

Первые сорок лет своей жизни я прожил в двух переулках от Кремля, на углу улицы Семашко и Средне-Кисловского переулка. У нас была громадная коммунальная квартира, где, помимо нас, проживало еще десять семей соседей. Моя школа находилась во дворах современного Нового Арбата, рядом со знаменитой церквушкой, которая чудом уцелела, напротив ресторана «Прага». Там я отучился два года. В центре класса стояло бревно. Оно подпирало потолок, чтобы тот не упал на наши головы. Соседнее со школой здание было разрушено бомбой, а у нас от взрывной волны просел потолок. Половина моих товарищей исправно посещала школу только потому, что на большой перемене всем нам

выдавали бублик и два кусочка сахара. По этому поводу был сочинен стишок: «Звонок. Ребята, торжествуя, по партам обновляют путь. Баранку с сахаром почуя, несутся к двери во весь дух...».

Как я ощущал военную Москву? Во-первых, на улицах резко сократилось количество народа. Мне казалось, что все стали какого-то одного серо-грязного цвета. Появилось много людей в телогрейках, чего до войны в центре Москвы увидеть было невозможно. На улице Горького, около нарядных магазинов, возникли залежи мешков с песком. Про окна, заклеенные крест-накрест полосками газет, можно и не вспоминать. Кстати, это не очень помогало — и вылетали, и осколки стекол сыпались... Ну, и карточная система, которая действовала в Москве с 1941 по 1947 годы. Я всю войну хотел есть! Осенью 1941 года на Большой Никитской, прямо напротив Театра имени Маяковского, стоял семиэтажный доходный дом начала XX века. У него по фасаду выступали такие архитектурные украшательства, которые называются «фонари» — выпуклые маленькие лоджии с окнами. В этот дом попала фугасная бомба, но он целиком не обрушился, а как бы «расклеился» по углам. Он был просто стянут тросами снаружи, чтобы фасадная стена не отходила от боковых. Меня очень забавлял этот связанный дом. Словно игрушечный. Как правило, все те разрушения, которые ночью производились в Москве авиабомбами, ликвидировались уже через сутки специальными подразделениями Московской противовоздушной обороны. Они удивительно быстро растаскивали развалины, спасали людей из подвалов, где были оборудованы бомбоубежища. Кстати, в каждом таком подвале стояли ручные вертушки для вентиляции, которые нужно было крутить, если вдруг произошло обрушение и завал перекрыл доступ воздуха. Эти подразделения МПВО очень оперативно делали из развалин чуть ли не зеленый скверик с лавочками для отдыха. Просто мгновенно такие чудеса творились! Развалин на улицах Москвы я просто не помню. (А вот «в войну», или, как говорят нынешние дети «в войнушку» мы никогда не играли.) Как-то утром вышел из дома, гляжу: здесь вроде дом вчера стоял, а сегодня вместо него газон. Мне уже потом объяснили, что все это было очень нужно для того, чтобы немецкая агентура не могла сказать, куда попадали бомбы. Летом-осенью 1941 года сгорело несколько очень больших рынков. Полностью был уничтожен тот, на месте которого теперь стоит здание Министерства обороны, его еще «Пентагон» называют. На этот рынок мы ходили с мамой. От бомб сгорел рынок и на Смоленской площади. Тогда Москва была заметно меньше, поэтому и каждая ее утрата была очевиднее. Еще из откровений военного времени, о котором я, правда, узнал уже после войны: меня всегда удивляла станция метро, которая сейчас называется «Партизанская». Почему у нее три тоннеля? Почему она открыта в 1943 году, когда вообще в Москве ничего не строилось? «Все для фронта, все для победы», а тут вдруг метростроевцы что-то срочно сдают. И вот я узнаю, что товарищ Сталин был гораздо предусмотрительнее партайгеноссе Гитлера — тоннель с этой станции был пробит до Кремля. В нем одним движением рычага на рельсы опускались бронеплиты, и по ним внутрь Кремля могли быстро войти сорок танков, тогда это называлось — бригада. В эти танки по необходимости загружались члены Политбюро, которые могли выскочить на поверхность уже в районе Измайлова. А это было тогда уже за городом. Там находился какой-то маленький аэродром-подскока, и все «важные и нужные» люди могли быстро улететь из Москвы.

Где-то в 1944 году на территории ЦПКО имени Горького вдоль набережной на целый километр растянулась выставка трофейного оружия. Какие-то гаубицы, пушки, целые и подбитые немецкие танки. Там я впервые увидел немецкие мотоциклы на гусеничном ходу. Меня это поразило — мотоцикл с коляской, но на гусеницах. Рядом было построено несколько легких павильонов, которые мне напоминали большие деревенские сараи, я такие видел в эвакуации. Стены в них были задекорированы немецкими знаменами. И по углам тоже флаги валялись. Наверное, те, что принадлежали менее важным подразделениям. В одном из этих павильонов в 1945 году стояло что-то вроде клетки для слона, а внутри клетки где-то мне по грудь были насыпаны немецкие награды — ордена, медали из Имперской канцелярии в Берлине. Часть в коробочках, иногда в разорванных, часть с лентами — огромная куча весом, наверное, в несколько тонн. В павильоне какие-то тетеньки дежурили. Когда мы протягивали руку в эту клетку и выковыривали из кучи несколько орденов на память, они, конечно, ругали нас, мальчишек, но не слишком: не убудет! В основном, там были железные кресты и медали, которые сами немцы называли «мороженое мясо». Это за зимнюю кампанию 1941–1942 годов. Все, кто был в это время на Восточном фронте, получили такую медаль — овальный значок с цифрами 1941-1942. Почему «мороженое мясо», понятно — они тут как следует намерзлись. Я сильно переживал из-за отсутствия сладкого. Оно, конечно, продавалось где-то на рынках, но стоило немыслимо дорого. Остальные детские радости существовали даже в самое тяжелое время — карусели крутились, работал цирк... В 1945 году на 1 Мая мы с мамой шли в колонне демонстрантов по улице Горького. Все поют, веселятся, а вдоль колонны идет женщина-мороженщица — впервые с начала войны я увидел, как свободно продают мороженое!

Сейчас очень забавно вспоминать московские «толкучки» военного времени. Там запросто можно было купить половинку брюк или сапоги без подошвы. Славился таким «мошенством» мой любимый старый Тишинский рынок — знаменитая Тишинка. Кстати, большинство фильмов про военную Москву снималось в районе старой Тишинки. Подгонялись грузовики с какими-то ряжеными бандитами, устраивалась пальба...

В действительности все, конечно, было не так, как в кино. Когда я уже работал в Уголовном розыске, мне старшие коллеги рассказывали, что сколько бы облав на Тишинском рынке во время войны и сразу после нее ни устраивали, никогда никого не удавалось поймать. Сыщики думали, что идет какая-то утечка информации, а оказалось все гораздо проще. Сотрудникам МУРа в войну выдавали бурки — такие белые фетровые валенки с кожаными вставками. Одеты все были по-разному, а обуты одинаково — в ярко-белые бурки. Их было видно издалека, и тишинская шпана кричала: бурки! все разбегались, узнавая об облаве безо всякой утечки информации.

Я родился и вырос в Москве, поэтому считаю ее самым красивыми городом на свете. Но во время войны она как-то сильно потускнела. Как будто цветной телевизор стал показывать черно-белую картинку. Тротуары были грязные, мусор убирали редко и, в основном, на главных улицах (наверное, всех дворников мобилизовали на фронт). Кстати, снег во время войны все-таки убирали. Причем избавлялись от него почти так же, как и сейчас, то есть плавили. У нас во дворе стояла такая железная штуковина, похожая на шалаш, это была снегопла-

вильная печь. Топили ее углем. Дворничиха на больших салазках привозила с улицы снег в таком деревянном коробе с ручками, опрокидывала его в печь, снег там таял и стекал по специальному желобу в канализацию. Даже в 1944 году, когда фронт уже далеко отодвинулся от столицы, Москву освещали только синими лампочками.

В войну все москвичи получали карточки, но отоварить их можно было только в определенном магазине. Вот мы были прикреплены к магазину, который был недалеко от Арбатской площади, первый переулок направо. По-моему, этот магазин еще и сейчас жив.

Мама отоваривалась по карточке «энэр» (научный работник), а я по «детской школьной» (была еще «детская дошкольная»). Когда стал постарше, мама посылала меня в магазин узнать, что дают, допустим, по талону № 5. И я выяснял, что сегодня на этот талон можно получить 100 граммов мяса или 20 граммов яичного порошка, который привозили нам по американскому ленд-лизу. До войны я не имел понятия о том, что бывают яйца в порошке.

Для меня конец войны неразрывно связан с моментом, когда с кремлевских звезд срезали брезент. После этого мы уже со дня на день ждали официального объявления. И вот уже тепло, окна у нас открыты во двор. Часов в шесть утра соседский мальчишка чуть постарше меня кричит что есть мочи: «Вставай-поднимайся, рабочий народ! Победа!».

Тогда, первый раз в своей жизни — именно в День Победы, я проехал по Москве на легковой машине. Так что у меня был двойной праздник. К нам заехал знакомый моей мамы, который работал в Моссовете, видимо, на достаточно высокой должности, раз ему полагалась служебная машина «эмка». Он нас в честь праздника повез кататься по Москве. А я ехал и думал: «Хорошо бы кто-нибудь из знакомых мальчишек увидел, как я на машине катаюсь!». Но что-то никто не подвернулся, хотя народу на улицах было столько, сколько я за всю войну не видел.

Война кончилась, а карточная система осталась. Стало, конечно, чуть получше с продуктами. Но моим любимым блюдом тогдашней поры оставались жареные дрожжи. Моя мама каким-то образом умудрялась покупать без карточек эти дрожжи и жарила их с луком в коридоре на керосинке. И мне казалось, это так вкусно! Я уже стал взрослым и в ясном уме и твердой памяти попросил маму снова сделать это блюдо. Она говорит: «Да ты чего?!» Я настаивал: «Я же помню, как это замечательно». В общем, купили дрожжи, пожарили на подсолнечном масле с луком. Она мне дала на ложечке попробовать. Но прежнего наслаждения я не испытал…

Война обогатила облик Москвы такими объектами, как начало улицы Горького, фасады домов на которой, как известно, облицованы гранитом, завезенным Гитлером для монумента своей победы, и Кутузовским проспектом, который строили пленные немцы. С пленными у меня связано такое воспоминание: напротив нашего дома, на улице Герцена, в 1945 году вырос забор, за которым немцы начали спешно что-то строить. Причем, что мне показалось странным, заборчик хлипкий, непрочный, на проходной зевают наши солдатики, а мимо них ходят туда-сюда немцы в своей военной форме. И все мундиры у них разрисованы разного цвета краской. Потом выяснилось, что это их так метили — одним можно выходить за забор свободно, другим — по пропуску, третьим — только под конвоем. И что же построили эти немцы?! Здание МВД на улице

Огарева (теперь Газетный переулок). Тогда они выстроили почти всю Хорошевку — аккуратные белые двух- трехэтажные домики с какими-то элементами социалистического декора: звездочки, серпы и молоты, колосья... Правда, сейчас почти ничего уже не осталось. Уже будучи взрослым, я оказался в составе делегации в Германии. Нас на улицах часто останавливали и спрашивали: «Русские? Советские?». И вот остановил меня какой-то пожилой уже немец. «Да, — говорю, — русские... советские... Москва». А он мне: «Я у вас был — Хорошевка строил». Очень добросовестно были построены домики на Хорошевском шоссе, настоящее немецкое качество. Я люблю Москву и знаю о ней многое благодаря своей работе в Уголовном розыске. Дело в том, что последние двадцать лет службы я постоянно занимался делами, которые были связаны с преступлениями в области антиквариата. А раз так, то и информацию я получал о старой Москве, старых москвичах, знаменитых своими уникальными коллекциями. Были в Москве два очень известных коллекционера антиквариата — Татьяна Борисовна Александрова и Игорь Николаевич Попов. С ними я дружил крепко.

И вот Игорь Николаевич рассказал мне такую историю о военной Москве. Было ему в ту пору около сорока лет, и его призвали в МПВО. Служба была не тяжелой — ночью он дежурил на крышах высотных домов, смотрел, куда падали бомбы, и докладывал о них в штаб. Осенью 1941 года, перед 7 ноября, когда фронт подошел вплотную к Москве, Игорь Николаевич увидел, как упала и не разорвалась авиабомба весом около тонны. Произошло это около Патриарших прудов. Что с ней стало в дальнейшем, он мне не рассказывал. Да и секретность в то время была чрезвычайная.

Достаточно вспомнить, как обнаружили взрывную зарядку под гостиницей «Москва», которую заминировали на случай падения столицы, нашли ее, когда всю гостиницу уже разобрали. Полторы тонны взрывчатки! Представляете, насколько тщательно все было скрыто! В общем, военная Москва нет-нет, да и напоминает о себе...

Шамшад Абдуллаев

Озирая оазис

Полдень. 1975 год[1]

Пружинист полдень — он лиловой кожей
в изгибе открывает путь цветения,
и тяжелей гнездо, и смерть
не опускается на дно искрящегося меда.
Земля в испарине, что сохнет, втекая в древесину, —
так череда часов крепчает
и ту неловкость исключает,
что держит дрожью стебель перед ветром.
Весь водоем спокоен — он вбирает
до глубины своей сиянье мака.
Любовь поспешна, и уста
чреваты солью и молчаньем.

Пригород

Олтикуш, Учарык, Эшонгезар, Кектепа —
по слухам, настолько чистые места, о которых
нельзя сказать, что они, мол, безотказно есть,
чтобы не привязывать их к той среде,
где им якобы доводится являть себя. Запущенный парк,
сельский клуб имени жертвы,
бросившей когда-то в костер паранджу,
трехпалый пионер, от миндалин до пят
шелушащийся на меловой дорожке, и холмы,
откуда весь дол просматривается с Ферганским каналом.
На залитом солнцем ладоневидном дворе
либо на окраинном локте выщербленного шоссе
незнакомец, как водится, приветствует, подняв руку,

Шамшад Абдуллаев — поэт, прозаик. Родился в 1957 году в Узбекистане, в г. Фергана. В 1979 году окончил факультет русской филологии пединститута. Публикуется как поэт с 1985 года («Митин журнал»). В 1991-1995 заведовал отделом поэзии журнала «Звезда Востока». Автор трех книг стихов и двух книг прозы. Лауреат премии им.Андрея Белого (1994), премии «Глобус» журнала «Знамя» (1998), диплом «Русской премии» (2006.), премия журнала «Окно» (Франция, 2011). Живет в Фергане.

[1] Середина мая 1975 года. В Ферганской долине сгущается зной в полном безветрии.

другого незнакомца, поднявшего руку:
две скользяще-плечистые тени, становясь короче, подползают к двум
человеческим фигурам и через четыре секунды,
пока наблюдатель на горке поворачивает голову вправо, на гранатовый куст,
передвигают путников назад, вынырнув
лоскутным извивом впереди из сухого шарканья; наспех
гербаризированный под небом тюркских церемоний
привет-ответ, но жестикуляция в углу улицы уже смерклась,
и никто не заметил движения юрких рук
в хвойных лучах иглистых подворотен —
так что прочнее прочего запинкой путается тут
неотгаданность зрения. Ладно.
Все равно что находишься среди вещей, среди лиц,
о которых думаешь бегло, — например,
о хлипком мюриде на мечетной площади,
читающем (что невозможно)
«Биографию для Гебы» (1942 г.), или,
допустим, о пыли, рысящей на ветру ранним летом,
и хризалида заползает за тутовый лист,
будто в гусеничной заверти зарождаются серебристые язвы
неотложного отлета с блестками скрюченного дуновения. После чего,
наверно, лишь надо
шелестеть, как личинка, в бессовестно плоском
отсутствии времени, в цепкой
шелковичной праздности, ставшей
не пережитком эсхатологического мифа,
но единственной явью хронической определенности, тусклым
подобием свершений, доведенных
до чинного морока, до корчи
ровной монотонности, прочесывающей насквозь
встречный поток иных гримас. Прохлада парка,
сельский клуб, меловой, безасфальтный терренкур,
и между гипсовых пальцев скульптурного небожителя вьется
поднятая ветром людоедская пыль,
оплетая рельефно-палевые холмы на дальнем плане.

В долине. 1976 год

Он говорил изящно, более чем изящно.
Она равнодушно проколола указательным пальцем
мыльные пузыри его слов.
Он говорил восторженно,
словно корифей в античном театре.
Она смехом
затравила его приставучую искренность.
Наконец он процитировал несколько строк
из «Дуинских элегий».
Она зевнула — еще и еще...
Он молча вышел на улицу
сквозь ее раскрытый рот.

Безличный голос

Ты полон там, будучи скудным здесь,
и незачем озирать оазис.
Не рыпаться, ни в чем
не участвовать (даже —
ни разу не попасть в безвредный пат). Пусть
без пробной мушки в своем коричневом зрении новый охотник
словит ярмо диких мельканий тут,
в близкой, рутинной лихве.

Стенограмма

Он сел в такси, измученный, убил —
дождь кончился недавно — целый час на поиски машины,
желая автостопом, идиот.
Там, там и там промышленное барахло,
грязь, грязь и лиственная падаль. Вот
что значит неприкаянно бродить за городом,
мужская отрешенность, влекущая черт-те куда: повсюду
мусор, поле и мусор, поле; хлам, раскиданный ночными
ветрами на десять километров. Хруст, лязг, железный
скользкий призвук: дверца
(пора на свалку) хлопнула, не растравляя слух,- умерила
сонорное нытье окрестного простора.
Петлистые побеги дергались вдоль рыхлого пригорка, точно
бросались с мест. А чуть в сторонке каменная глыба,
не двигаясь, вдруг оторвалась
от воробья (вспорхнувшего с нее) и отлетела по земле
в бледнеющую даль, где кое-как себя нагнала.
Тут нужен языческий словарь,
чтоб сладить с таким пейзажем, с первобытной
отчетливостью и немотой. Весна
уже не душит радостью, а лишь приносит
полузабытый вкус и слабость, словно где-то
испортились часы. Оракул-радио бормочет свой
неистощимый декалог.
Он (повторяю) сел в такси, лицом приткнулся к боковому
стеклу; под ним свистит дорога и убегают мокрые деревья:
как возвратить реальность, как мне спастись?
Урчит мотор, тепло и скучно. Летом
поеду к морю и…
все будет тоже самое.

Конец августа

Вернувшись домой в 18.15 после встречи с друзьями в чайхане (ржавый скворец выжженным клекотом всухую вас виноватил сквозь яшмовые прутья медового платана, в тени которого вы сидели на сдвоенных топчанах, инкрустированных до пробковых, барьерных колонн) говорили о том, что теперь наш отдых по выходным — та нынешняя длиннота, которая нужна как раз, когда осталось мало дней, говорили о неудавшихся финтах Гарринчи под шестнадцатым номером в злосчастном матче с венграми в Англии, говорили о том, что *наш город* переполнен неферганцами, что они разрушили с пришибленной упертостью мстительных маргиналов покрашенные в бирюзовый цвет антикварные дома колониальной эпохи, говорили о третьем альбоме Led Zeppelin, прежде всего о несломленном Роберте Планте, говорили о том, что *мы* зажились на этом свете, говорили о Таком-то, *нашем приятеле*, наркоше, драящем в особняке одного жлоба на «щепотку» верандный пол, вечно бледном, как напудренный хухольник 18 века), вдруг обнаружил, что в твоем кабинете горел свет, как если бы ты находился в комнате несколько часов кряду во второй половине дня, работая за письменным столом над текстом «Фильмы Грегори Маркопулоса, или Илийский ирис». В передней радиоприемник был едва слышен, словно диктор нашептывал лишь для твоего слуха далекую весть, и на стене мигал отблеск закатного бальзамина.

Весна

Беспощадный месяц. Плюс ветер.
Об ушедших говори всякий раз, их больше, —
на кладбищенской стене после навруза
покамест брезжит карлукской надписью сохлый бессмертник.
Скворец табачного цвета клацает клювом на гребне туевой кроны,
сам себе зачин и стезя в перистом тельце.
Жара полоснула ребро
твоей правой руки, как если бы ты
задел жестким углом своей темной ладони
медноволосую женщину (возникла, пропала,
уменьшаясь, возникла, пропала)
среди беспотных костяшек немого фанданго.

Сергей Морейно

Шамшад — двойной полдень

О, сколь древен наш род!

Позднее для меня открытие — Шамшад Абдуллаев.

Двойной удар — сколь гениальны стихи и сколь беспомощна проза.

Я предчувствовал его. С его приходом все встало на свои места.

О нем умно писал Александр Скидан. Он вообще умный, Скидан. И его, и Шамшада можно читать, даже когда ничего не понимаешь. А я почти никогда не понимаю. Но ощущаю чистоту. В самой кошмарной фразе, целиком состоящей из непонятных мне слов, я слышу целомудренную чистоту, которая убеждает меня в их правоте. Они, скажем так, оба — текстуально правы. Фонетически и интонационно. Только не надо переходить на нормальный язык — я начинаю *понимать*, и мое согласие перестает быть категорическим. Интертекстуальность здесь не канает.

Поэтому пишу, как умею.

Тракль со своим осколком троллева зеркала не дает мне покоя. Дауническ ий сын торговца скобяными изделиями, выпертый за неуспеваемость из средней школы; аптекарь, присвоивший болезнь рыцарей и мудрецов — меланхолию и влюбленный в собственную сестру. Или вроде того. И вдруг такое: в темном лесу на поляне Голубой Олень Истекает Кровью... или олень просто ранен, а голубая как раз — кровь сочится себе на траву цвета потемневшего золота. Короче, хлопцу в глаз залетает осколок свеженайденного и зачем-то надколотого Грааля, и вот уже серебряный родничок на губах дрожит геральдическим звоном рыцарского поединка.

«O, wie alt ist unser Geschlecht...»

Еще я полагаю, что Тютчев — шпион. Не знаю, можно ли назвать конкретный адрес, хозяина, галактику и цивилизацию, но для меня несомненно одно: здесь, на Земле, Тютчев шпион. Тайна Тютчева... Сколько попыток разгадать эту тайну разбилось — волной о волнорез — о неявное приятие единственного факта: Тютчев — Чужой.

Все время чудится, будто некая личность — гигантского сознания и перфектного владения языками — впервые пробует говорить по-человечески. Может, так и было: космический соглядатай, приставленный к нам, вжился в образ и в нашу кожу, ездит, тоскует, даже любит и с непонятной страстью набрасывает в тетрадке гениальные строки, удивляясь своей способности выражаться на диалекте самого медвежьего угла вселенной.

Отсюда попытка напихать столько мыслей в короткую строку, ведь времени впереди — по космическому метрономy — пшик, того и гляди отзовут, ибо не стишки кропать, а донесения строчить послан, и старик мешает в кучу старых и новых богов, бывших и будущих царей, день, ночь, солнце, звезды, эконом- и политпрогнозы, смерть тела, смерть духа, чудовищные попытки метафизической философии, еще более чудовищные попытки острить — в общем, отписывается по полной программе.

К примеру, не сбывшееся, кажется, но до сих пор актуальное пророчество: «Тогда лишь в полном торжестве / В славянской мировой громаде / Строй вожделенный водворится, / Как с Русью Польша помирится, — / А помирятся ж эти две / Не в Петербурге, не в Москве, / А в Киеве и в Цареграде...». Или скромный реверанс в сторону запредельных хозяев: «И вот опять все потемнело, / Все стихло в чуткой темноте — / Как бы таинственное дело / Решалось там — на высоте». Пардон, что все еще о Тютчеве, но разве не он, будучи, бесспорно, осведомленнейшим геопоэтическим знатоком империи, изрек знаменитое: *Молчит сомнительно Восток?*

Скорбное бесчувствие

Английский колонизатор, заблудившийся в трех платанах очевидного миража своих владений, связанный с метрополией уже, пожалуй, лишь генетически. Уровень воспоминаний, предполагающий туман, смазанные диккенсовские фонари и перелив колокольцев, невнятно доходящий сквозь вязаную шапочку.

«У каждого свой далекий эдем. Это Англия, которая везде и нигде».

Отстраненность, прозрачная и призрачная объективность, позволяющая видеть в отчуждающем хирургическом свете то, что недоступно стандартному диапазону зрения «остальных, садящихся горстью в свободном дворе, потакая гортанной песне».

И надрыв.

Возможность покинуть сей Богом забытый край ради усредненной нормы прав и комфорта — и мысль о том, что без этого кусочка земли, «феллахской плоти», тебе не дано прожить.

Ощущение принадлежности к культуре более общей, легкой и благодарной, и чувство корневой сращенности с сухой жесткой почвой для иных стволов и побегов, пригодной для немоты вернее, чем для общения «в другой давильне, в другой земле».

Скорее позитивное, нежели суфийское мышление, и обреченность на бесконечное возвращение по раскаленной дороге в одну из комнат пустеющего дома, к предполагаемому на прохладном полу вытертому ковру — «приманясь его тканным покоем», где исчезнут различия между напутствием и проклятием, скитаниями и наречиями.

Однажды, под одним из первых в вечереющей Москве снегопадов, мы ехали по Садовому кольцу вчетвером (по часовой стрелке: спереди справа — Хамдам Закиров, сзади справа — Шамшад, слева — Даниил Кислов и за рулем — я). «Так ехать бы и ехать...» — сказал Шамшад с полуприкрытыми веками, когда чей-то вопрос вывел его из транса.

А незадолго перед тем состоялся такой разговор. Едва в колонках нашего/

нашей audi зазвучали начальные аккорды босановы, я признался, что у меня пошаливает сердце от интонаций Аструд Жильберто.

— Странно, — сказал Хэм. — Я думал, ты уже переболел этим. В те далекие восьмидесятые.

«Tall and tan and young and lovely...» — пропел щемящий голос.

— Нет, — ответил я. — Заболеваю только. Не понимаю...

«...The girl from Ipanema goes walking».

— Стройная и загорелая, юная и сексуальная... — автоматически перевел Даня.

— Неужели ты знаешь португальский? — спросил Шамшад.

— Так она же поет на английском.

«*Все* прощает все».

Внутренности огромной воронки, дно солончакового озера, страшный и хлесткий бой безмолвной гармонии, черная тень крыла под сердцем — так вот он какой, этот мир.

Безнадежная борьба с непрерывностью времени: «а ты / читаешь, как умирал (умирает) Рембо: / слова, подсказанные болью, — «аллах карим», / но ангел уже на подхвате (в каждый / воскресный день)», или опять же «он приезжал сюда каждое лето / и ложился ничком на ковер (тот самый?)».

«The tragic emotion, in fact, is a face looking two ways, towards terror and towards pity, both of which are phases of it. You see I use the word *arrest*. I mean that the tragic emotion is static. Or rather the dramatic emotion is. The feeling exited by improper art are kinetic, desire or loathing. Desire urges us to possess, to go to something; loathing urges us to abandon, to go from something. The arts which excite them, pornographical or didactic, are therefore improper arts. The esthetic emotion (I used the general term) is therefore static. The mind is arrested and raised above desire and loathing» (James Joyce).

На том стою...

Русская поэтика, русская просодия, лексика — традиция, в конце концов, — ведет себя как мать, пожирающая собственных детей, практически не оставляя априорно иноязычному автору сохранять особенности — не то чтобы описания, но даже в*и*дения, внутреннего и внешнего.

Она, бесспорно, пожрала киргиза Айтматова; думаю, достаточно обкорнала горячо любимого мною белоруса Быкова. Сослужила недобрую службу чувашу Айги. И без того заикавшийся, пациент стал попросту темным (не Темным, увы!), благодаря чему закрепил за собой сомнительное звание главного шамана страны. Особо жестоко обошлась с евреями, склонив к вульгарному трамвайному акценту Бабеля, выхолостив Самойлова, подменив Бродскому высокую семитскую задышливость резиновой рациональной жвачкой.

Отчего Бродскому не идет холодный рационализм, как идет он Милошу и прочим «католикам»? Бродский — еврей и по типу восприятия не может быть индивидуалистом. Он в принципе не может *рассуждать* в диалоге с божеством, ибо последнее не говорит с ним, но говорит, посредством его, с евреями. Еврейские пророки вообще не могли быть — Шишков, прости! — интроверта-

ми, эзотериками, поскольку к ним никто и не обращался, так что не с чего было погружаться в себя, ничего не толкуя.

Скопческая проницательность, преподносящая зло как материально-техническую базу культуры, отрабатывает свою правоту в душном воздухе, обожженном до младенческой красноты наждаком пустыни. Нужно сдаться на ее милость, чтобы, довольствуясь двумя-тремя ходами на местном пейзаже, спастись, избежав служения чужому злу.

Некое дикарское восхищение консервными банками фильмов и мишурой магнитофонных бобин на фоне мудрого ведения достаточности горсти песка и капли амальгамы для наслаждения смутной и зыбкой многогранностью бытия.

Открытие мира странником, плывущим на стеклянном корабле, с посохом, рассыпающимся при ударе о сушу; с аллергической реакцией на сам сюжет путешествия: отсюда страсть к комментированию собственных стихов — в контексте, но вне контакта со стихией, их породившей.

Древняя память, ныне утраченная, или, по Фоменко, пока что не обретенная. Поиск соответствий там, где их нет, и подозрение (прозрение?) случайности в областях четкой зависимости и заведомой обусловленности.

Перенасыщенность реалиями, неумение остановиться в перечислении вех и ступеней, уход по которым от безымянного песка и придонного дыхания жизни настолько реален, что *соблазном* становится путь домой (вопреки Гераклиту), вниз. «Путник среди растительного пейзажа отпускает птицу, и сразу им "обоим становится легче"; двойные кавычки свидетельствуют о переключении голосов, авторокировка, лирическое "я" меняется местами с "птицей", сам путник исчезает в полуденном мареве».

(Невозможность — не есть неумение?)

Невозможность оставаться там, где стоишь. «Hier stehe ich und kann nicht anders», — Фергана не Виттенберг, бля буду.

«Кругосветное путешествие — лучшее лекарство для англичанина», — говаривал доктор Мортимер-Стеблов в ленте Масленникова.

Двойной полдень

«Глаза моих мертвых, у ног...» — пишет Шамшад.

Глаза моих мертвых у ног,
глаза моих мертвых — у ног,
глазам о их мертвых...

Свято место, как известно, пусто... Да и слова опьяняют, словно круговые движения дервиша вокруг собственной оси — оси мира, подчинившегося знакомому ритму с привычной жертвенностью. Наступает искушение акцентом — конечно, стихи имеют акцент: тюркский ли, греко-бактрийский — не важно. И в невесомости странных для русского уха долгот так легко соскочить «с наружного солнца», что, вероятно, и происходит с прозой, когда уже в третьем — от наугад взятого — абзаце истлевают и рассыпаются связи с двумя предшествующими.

В стихотворении же работают пауза, узор строф, белое поле.

И *там* как бы бессмысленное вращение — на весу, в паутине стесненного пульса — удерживает провяленный и прокаленный до пряной бестелесности ритм. «Мадьярская степь, как всегда, кружится перед камерой, / хотя какой-то

тип подъехал на велосипеде и спросил, который час, / ты обернулся, Иисус, только темные глаза». Это «ты обернулся, Иисус, только темные глаза» я могу прочитать двадцать раз подряд, замирая от наслаждения, и звуки будут таять на языке, как нежный фрагмент на loop аудиоустройства.

Художник и шпион, оба — свои среди чужих; нелегалы, убежденные в некой неизвестной окружающим правоте, *большей* правде, стоящей за ними, и полагающие святым свое служение — один искусству, другой — государству, пославшим их (сюда).

Парадокс художника — парадокс между званым и избранным, всеобщим и элитарным. Художник всегда и обязательно сверхдемократичен, антиэлитарен, но занятие его — условно, творчество — не только элитарно, но и сверхиндивидуально, эгоистично и даже негуманно. Реализация обыденной земной любви и привязанности отчуждает художника от низости земли, заставляя платить тем самым за высокое внимание небес.

Двойной полдень — под обоими солнцами: Шамшад служит верху и низу, поверхности и глубине, совмещая дар гениальной прямоты с лукавым визионерством. Иножанровость визионера прикрыта обстоятельностью процесса проявления однажды явленного («все уже сказано, — любила повторять Jeli Budantzow, — но не при всех»). Высший художник получает «то, что мы ищем (или то, что нас ищет)» сразу и куском, художник следующего уровня сначала видит (слышит), потом записывает. В первом случае рукой водит daemon, во втором — человек. Но визионеры обаятельны. А Гете кажется сухарем.

«Wenn das Gefühl, das uns das alles schon mal passierte, abgeht / Wenn dieses Gefühl aufhört, wichtig zu sein / Wirst du in diesem Cafe sitzen / Mit diesen Leuten / Mehr Mönch / Als jeder andere / In absoluter und vollkommener Meditation / Über eine Tasse Kaffee / Oder einem Glas Tequila / Über einem Kirchenkuchen / Oder über einem hartherzigen Aschenbecher / Und der gewaltige Mond / Der Abends rauskommt / Wird eine Bestätigung / Der Ideologie dieses Sommer sein / Dieser augenblicklichen Überzeugung / Dieses Aufblitzen von Bewusstsein / Dass alles ist in Ordnung / Alles so, wie es sein sollte / Als gabe es keine anderen Möglichkeiten» (Sergej Timofejew).

Когда закончится джаз

Вынужденное косноязычие взрывается изнутри двумя темами: женщины и смерти. В их блеске проступают невидимые доселе симпатические скрипты, контекст удваивается в окружающих зеркалах. Во множественных плоскостях отражены блестки — какие-то письма, чьи-то эклоги, обрывки музыкальных фраз, скриншоты неснятых фильмов... Остальное — вне экрана, по ту сторону языка. Хотя язык выбран неспроста. Не андрогинный английский; не немецкий, в коем смерть — der Tod (der Krieg — война, der Fluss— река) — мужеского полу.

Как евреи ринулись некогда в русскую революцию, поскольку она давала им шанс восстать на Господа, не теряя при этом своей мессианской сущности, так европеизированный узбек меняет свой несемитский, небогоизбранный язык на ортодоксальный русский. Из рук повивальной бабки к рукам плакальщицы тянется лексическая пуповина.

Желание изгнать из словаря имперский бэкграунд, так же, как ферганский (и всякий другой) социум, разрешается в идеально-точный очерк почти русской

тоски в условном антиутопичном ландшафте. ИМХО: вполне в духе западного романного канона, не слишком, впрочем, чтимого за отчетливое пристрастие к экшн и диалогам.

«Рядом с ними, рядом с их сочным многообразным присутствием / я казался себе одиноким, отторгнутым, почти невидимым».

Классическая асоциальность главного героя обыкновенно продиктована необходимостью вывести его за пределы нашего *типа* христианского общества с тем, чтобы он мог восхищаться и прославлять жизнь как таковую, земную и плотскую, — вино под солнцем вместо фонтанов в раю. Отсюда Дон Кихот, Уленшпигель, Швейк — волшебная красота любви и любовь красоты — нежная, сладкая, полная жалости, страданий и надежды.

И здесь, несмотря на периодически декларируемую обмирщленность, обнажаются корешки поизысканней и поароматней, нежели обгорелый остов бесплодной смоковницы. Всплывает (всплывает, кстати, многое: «звездчатые черви, донный мусор, утопленник, сжавший в левой руке нардовую фишку, эту маленькую чалму без муллы») явное различие между гуманитарным западным мышлением, куда Распятье встроено подобно бошевскому комбайну в кухонный гарнитур, и гуманитарным же восточным, мятущимся между горисполкомом и медресе. Меж их полюсами бедная русская просодия захлебывается своим одиночеством и начинает тонуть.

Русский как-то не дорожит тем, что имеет. Напротив, само обладание возбуждает тенденцию к отторжению. «Манит, — говорят, — страсть к разрывам». Строки, полные накалом именно сей, данной минуты, встречаются лишь у наших европейцев Пушкина и Тютчева (а Пастернак, несмотря на еврейство, гораздо более «исконно-посконный» — недаром не дался (ведь не дался!) ему перевод «Фауста»).

«Нам, страдающим избытком нравственных возбуждений и недостатком нравственной восприимчивости» — слова Ключевского, между прочим. Мы однозначно нечутки, неличны и нетактичны. Русская смерть и та *красна* на миру. Несдержанность русской экспрессии играючи превращает поэтическую позицию в небесспорную и неокончательную.

(Поэтическая) игра предполагает наличие зрителей. Игрок должен знать, что он — в кругу играющих, что ему сопереживают: то есть, круг игры — круг званых. Боясь на самом деле «шаманской манеры быть не с вещью, но заговаривать ее на расстоянии», поэт преодолевает игровые барьеры, добиваясь и достигая мгновенной ритуальности поэзии.

Он перестает вовсе проникать взглядом во внешний мир, его круг окукливается, остается единственно сущим. Званый становится избранным. В качестве проездных документов в ход идут: весомость слова, его ответственность среди необязательности рифм и обходимости метафор; наличие не контекстуальной, но текстуальной связи...

Видевший шаха

...Неаккредитованность, поэзия за наличный расчет, кэшем, налом, калом, потом и рвотой. Куски подгоревшей жирной курицы, горячий плавленый чеснок в плове, пахлава, изюм, запах курений, ворс ковра или, напротив, дерево пола

или раздвижных ставней, предчувствие спасительного вечера, прохладная, строго дозированная ласка женских пальцев, терпкость меда и ломкость ссохшегося теста.

Каждый кус или глоток — поддержка живого огня, священного дыхания жизни. Все на пороге: сладкая горечь, душистый чад.

Ритуальность восточного быта связана с априорным присутствием божества во всех отправлениях естественных надобностей. Западный же быт предельно актуализован, неритуален, поскольку божество полностью самоустранилось из бытовой ситуации, заявив, что, дескать, «царство Его не от мира сего».

Зато в мире тварном божеству соправительствует некая Красота, то ли истина, то ли премудрость, и, будучи заведомо отлучен от царства небесного, художник — человек красоты — творит в царстве земном, пытаясь путем его эстетизации и ритуализации достичь небесной гармонии. Напротив, мир восточный реально знает одного лишь *Бога*, художник в нем — слуга, стенающий под бичом фатума. Естественное средство преображения — обытовление ритуала.

«Бывает — после мессы или партии в шахматы; встав из-за стола, засыпанного марсельским Таро — делаешь характерный жест, как бы желая намотать на пальцы вселенную: и она сворачивается до размеров руки, повторяя изгибами радуг и рек узор на ладони. Не то ковер! Его не свернешь одним ловким и горделивым движеньем; но, будучи размотан, он обнимает горы и города, заменяя собой покров дня и ночи. Тогда у самого края садится Шах, глядит на тебя, и ты начинаешь таять в пристальном взоре» (Серж Онжером).

Старшие Арканы Таро, за вычетом Шута, разбиваются на три группы по семь, и, по-видимому, это разбиение можно трактовать как деление на *по сю, по ту* и *по обе* стороны; на жизнь, смерть и их сопряжение: гармонию, равновесие. Игральные карты, в отличие от ритуального Таро, центрально симметричны. Считаю, это сделано для того, чтобы снять с действа раздачи, факта выпадения карт *тем* или *иным* образом, привкус необратимости судьбы и придать им более или менее игровой характер.

Ритуал — предельный случай игры.

Автобусы с надписью «Ритуал» обычно перевозят сыгравших в ящик.

«Ритуалы того, кто видел Шаха, выше гнева и доброты, неверия и религии» (Джалалуддин Руми).

Для придания fair play тимспирита по эту сторону официально разрешен сатана. У него есть свой заповедный уголок с часами приема пищи и посещений. «In jeder Kirche Gottes hat der Teufel ein Altahrchen» (Wilhelm Muhller). Он даже самого Христа искушать право имеет. Есть зона, в которой властен только дьявол, и простой облатке позволено ожечь лоб женщины, укушенной вурдалаком.

Однако обидно, противно и страшно то, что человек становится полем битвы между Богом и сатаной (типичное бородино — гноище Иова). Как строятся их отношения? «Синоптический» вариант: сначала Бог создал человека, потом дьявол принялся оспаривать единоличную власть Его. Тогда нет необходимости выделять в хоре внешних сил голос дьявола, его влияние можно рассматривать как часть влияния божественного. В истории с Иовом очень трудно избавиться от мысли, что Сущий торгуется за страдальца сам с собой, ведя, так сказать, партию бытия на два голоса.

«Пневматический» вариант: сначала над человеком потрудился дьявол (сле-

пил голем), потом Бог вдохнул в него свою искру. Тем самым мы навеки связаны с князем формы (и тьмы). Старый биданабоз стравил меж собою строфы; распутать их вязь — *значит* раскрыть тайну нашего письма.

Поэзия и смерть

В предположении того, что прекрасное от Бога, ужасное от сатаны (или наоборот?), мучительно ясно, почему так удручают девушки с тонким лицом и толстыми икрами. Или фигуры вроде Никиты Михалкова, безусловная одаренность которого находится в жутком противоречии с наследственной черствостью. Долгое время я не мог объяснить себе, чем Тарковский круче Михалкова, пока вдоволь не насмотрелся на Бивиса и Баттхеда. Впоследствии транзитивность отношений сделалась очевидной: Тарковский все же покруче Beavis&Butt-Head, а уж они, в свою очередь, плавно делают Никиту Сергеевича (Как B&B отменяют Микиту, так Шамшад Абдуллаев не то чтобы отменяет, но затеняет худшее в Сергее Тимофееве, спасая его от него же).

Любая вера, любое чувство, любая логика уязвимы по отношению к дьяволу, и поэтому там, где кадят ладаном и поют ангелы, всегда пахнет серой и слышен зубовный скрежет. Суфий — ускользающий колобок — вырывается из цепких когтистых рук и идет, танцуя, по огненному пути.

На свете одно занятие реально *реально* — охота. Актей, Аталанта, Гончие псы, апостолы Петр и Павел, король Стах, поручик Вронский, Эрнест Хемингуэй, Наль и Дамаянти, лебедь, рак и щука только и делают, что выслеживают, подкрадываются, преследуют и убегают. Охотятся на небе и на земле: Фобос за Аресом, Дон Гуан за женщинами, Гамлет за призраком, нумизмат — за монетами несуществующих царств.

В действе участвуют трое: охотник, собака и жертва.

Лучше всего быть собакой.

«Они упали бы в обморок от медлительных повозок Азии, от мерного шага наших верблюдов (Рика к Иббену в Смирну).

Je te parle librement, parce que tu aimes ma naivete, et que tu preferes mon air libre et ma sensibilite pour les plaisirs, a la pudeur feinte de mes compagnes (Zelis a Usbek, a Paris).

У нас любовь не влечет за собою ни смятения, ни ярости; это томная страсть, не нарушающая спокойствия души; многочисленность жен спасает нас от их господства и умеряет пыл наших желаний (Узбек к Иббену в Смирну)» (Charles Louis Montesquieu).

Вот такая любовь для тебя, чувак.

Земля, твои губы, красная птица.

Ритм; яркий запах; пес когтит нежную землю.

...в солярном буйстве порознь млеют мухи, вещи, равнина, рука.

Воздух, обремененный ширью. Пустынный ландшафт. Последнее пристанище. Солнце.

Великолепно.

Пасмурный вечер тянулся так,
как если бы мужчина мучил женщину,
не прикасаясь к ней; все тонет
в сладостном безразличии. Время течет
медленнее, чем... Даже
(«*Натюрморт*»)

в бессознательное — движение руки, намечающее рядом
нагой предмет:
лишь бы унять забытье, в котором
с красивых колен плавно сползает
мужская голова — потеплевшая от ласки, суровая стрижка, усы
эпохи Рисорджименто. Я открою окно. В толще синей воды
медленно тонут красные дужки
подстриженных ногтей; сердцебиение, пейзаж. Лопнул
(«*Мгновение, комната*»)

Я почти слышу твой голос — одним
трепетом меньше — перед линией моря
в гостиничном окне, оттуда, из Торре-дель-Греко.
(«*Записка*»)

Это особая форма поэтического риска, откуда гораздо удобней дотянуться до смерти или по крайней мере прикоснуться к дистанции, заботливо и аккуратно отделяющей молодого человека от его столь желанной будущности. Милость возносится над судом. Настоящая встреча — лицом к лицу — с полным пониманием собственной предначертанности, разумеется, намечена мудро на более поздний срок. Эта чудесная оттяжка и дразнящая длительность несуществующего бережно ведут нас к реке, к двери, к прощанию с одиночеством.

(«Поэзия и смерть»)

СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ

Татьяна Никитина

Маруся

От героев былых времен
Не осталось порой имен...

Евгений Агранович.
Песня из кинофильма «Офицеры»

Накануне нового 1943 года Марусе исполнилось двадцать три, столько ей и осталось навсегда...

Маруся мне не родня, у нас нет общей крови, но она — первая жена моего отца, мать моей сводной сестры, которую я никогда не видела, хотя временами остро чувствую наше родство. Света родилась намного раньше меня, в самом начале войны, и нормальной мирной жизни не знала. Судьба отмерила ей три года жизни, которые прошли в глухой, затерявшейся в лесу деревушке на оккупированной немцами Витебщине. Если бы не погибла Маруся, девочка, возможно, осталась бы жива. И если бы не погибла Маруся, не родилась бы я...

Трагическая история Маруси и Светы не дает мне покоя, хотя никогда при нас, детях, она в семье не обсуждалась — зачем, мол, им знать лишнее. Тем более что сами родители не знали в подробностях, как и почему все произошло. Вернувшись с фронта, отец узнал о гибели первой семьи от своих стариков-родителей да от соседей-односельчан. Но что они могли знать? Марию арестовали и казнили далеко от деревни, в райцентре Сенно. Маленькая Света осталась на руках у бабушки...

...Мне двенадцать лет, у меня зимние каникулы, а у папы короткий отпуск. Мелькают за окном поезда темно-синий в сумерках лес и заснеженные поля, постукивают колеса, а в купе тепло и уютно — мы с папой едем к бабушке, в деревню. Рано утром поезд останавливается на полустанке — всего на минуту, и нам надо успеть спуститься по обледенелым ступенькам на платформу, где нас уже поджидает с теплыми овчинными тулупами дядя Антон, папин брат. И вот мы сидим в санях-розвальнях на пахучих охапках сена, лошадка послушно бежит

Никитина Татьяна Кузьминична родилась в Гродно, окончила МЭИ, потом факультет журналистики Белорусского государственного университета в Минске. Несколько лет работала инженером, затем в газетах — областной «Гродненской правде», республиканской «Народной газете», публиковалась в «Беларусь сегодня», «Обозревателе», в белорусских выпусках — «Труда», «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов». В «Дружбе народов» публикуется впервые.

по наезженной колее, еще темно, но видно, как в стороне у кромки леса светят два зеленых фонарика. «Волки!» — небрежно бросает дядя Антон и косит на меня хитрым глазом. Но я знаю, что на этот случай у него припасено ружье, поэтому мы в безопасности...

Бабушка уже напекла блинов и сложила их горкой, сдобрив маслом. В глиняном кувшине — парное молоко. Для мужчин припасены бутылка белесого самогона и сало. После чарки-другой братья затевают свой вечный спор: почему немцы Антона отпустили, а Марусю — нет?.. Под их разговор я засыпаю в теплом закутке на печи, укутавшись стеганым лоскутным одеялом.

Фотография Маруси хранилась в нашем семейном альбоме — светловолосая девушка с короткой стрижкой и гитарой в руках опирается плечом на ствол векового дуба. У ног на земле — книга с серпом и молотом на обложке, а как называется, видно плохо, но похоже, «Наша Радзіма»... Краем уха мне доводилось слышать, что до войны Маруся была секретарем райкома комсомола на Пинщине, а в детстве воспитывалась в семье легендарного партизана деда Талаша, приходясь ему племянницей.

Незадолго до своей смерти отец успел рассказать мне, как для него началась война. Он и Мария жили в поселке под Пинском. Главным объектом в поселке был военный аэродром, на котором базировалось шестьдесят самолетов. В первые же часы войны немцы в пух и прах разбомбили аэродром, в воздух смогли подняться только четыре машины. На глазах отца осколком бомбы был убит дежурный офицер, с которым они вместе учились в Свердловске. Немцы вошли в городок через шесть дней.

— А до этого времени, — вспоминал отец, — мы пожгли лишние документы, самые важные отвезли на лошадях в Пинск, до которого было семь километров. Оттуда на грузовике доставили бумаги в Гомель. Потом я успел отвезти жену к моим родителям, в деревню Тесище в Витебской области, ей вот-вот предстояло рожать... И сразу — в Витебск, сначала на велосипеде, а когда тот сломался — просто бегом, тогда впервые и сорвал сердце... Из Витебска вернулся назад в Гомель, оттуда направили в Москву.

С Марусей они больше не виделись...

Почему отец повез Марусю в деревню под Витебском? Скорее всего, считал, что в восточную часть Белоруссии немцы не сунутся. Однако он ошибся.

...Света появилась на свет шестого июля. Весь этот день шел беспрерывный проливной дождь. А в двух десятках километрах от деревни шли бои. В райцентр Сенно, несмотря на отчаянное сопротивление мотострелковой дивизии (городок трижды переходил из рук в руки), вошли немцы. Света родилась под орудийную канонаду. Неугомонная Маруся, оправившись от родов и злясь на себя за то, что связана по рукам и ногам маленькой дочкой, когда надо активно помогать своим, начала искать связи с местными партизанами. Выходившие из окружения красноармейцы создавали боевые группы, к ним примыкали местные активисты. Укоры свекрови: «Одумайся! Поберегись! У тебя же дите!..» — были напрасными. Маруся все же добилась своего и присоединилась к подпольщикам...

Чем именно Мария помогала партизанам, какие задания выполняла и как погибла, долгое время оставалось мне неизвестным. Шло время, свидетелей

тех событий становилось все меньше, а досада на то, что толком так ничего и не знаю о Марии, угнетала меня все больше... И я начала поиск. Первой откликнулась Галя, дочь дяди Антона, моя двоюродная сестра. Во время войны она была подростком, а окончив институт и выйдя замуж, перебралась в Россию, откуда и пришло это письмо:

«Марусю я помню отчетливо даже сейчас, она была очень живая и общительная. Начнет говорить — заслушаешься. Помню, как моей маме она все доказывала, что надо помогать своим: партизанам, Красной армии, иначе немцы надолго здесь засядут... И еще она чувствовала, что ее могут взять, потому что просила маму: "Если что со мной, Настя, случится — присмотри за Светкой..." Ее арестовали в Сенно. Это было зимой. Мама в то время лежала там в больнице. Папа собрался навестить маму. Маруся попросилась ехать с ним, папа согласился. Когда проехали пропускной пункт на въезде в Сенно, Маруся сказала папе, что везет секретный пакет бургомистру Боровскому.

— Знал бы, что везет пакет, высадил бы в деревне — хоть кнутом! За восемнадцать километров в такой мороз не пошла бы! — сокрушался потом отец.

Боровский до войны был директором школы в Рясно, а потому знал Костю, мужа Маруси, как своего бывшего ученика. В пакете были указаны сроки сдачи Сенно партизанам. Видимо, они рассчитывали на поддержку Боровского**.** Но он резко заявил, чтобы она отнесла пакет туда, где взяла, и выпроводил из кабинета. Ее сразу арестовали, и тут же полицаи приехали в больницу за папой.

Потом начались аресты: было схвачено много людей. Я не знаю, сыграло ли это какую-то роль, но дедушка тоже пытался что-то сделать: зарезал поросенка и возил в Сенно. Для кого возил, не знаю, но он вернулся, его не арестовали. И папу потом отпустили.

А сейчас о главном. Маруся занималась подпольной работой. С женщиной-врачом Эйсман она познакомилась у нас. Мама часто болела, и папа привозил врача к нам домой. Вот тогда они и встречались: Маруся, Эйсман и Харламов (он был командиром какой-то партизанской бригады). В курсе ли были тогда папа и мама, что Маруся занимается подпольной работой, я не знаю. Это выяснилось потом. Всех арестованных расстреляли в Сенно, а где их захоронили, не знаю: никто об этом никогда не говорил».

Так благодаря Гале я впервые узнала про Анну Эйсман, Харламова и человека, выдавшего Марусю немцам.

Отчего же гибель Марии и ее связь с партизанами нигде не зафиксированы? Сколько я ни искала — нет таких документов! В списках погибших партизан и подпольщиков, которыми располагает Национальный архив, ее нет. Если Марусю с секретным пакетом посылал Харламов, значит, она работала на его отряд. Но ни его имени, ни даже названия отряда у нас нет. Среди партизанских командиров и комиссаров Витебщины вскользь упоминается лишь один Харламов — Григорий. На основе его группы и двух других был создан отряд имени Кутузова, который влился в бригаду Заслонова. Но вот загадка — в документах Белорусского штаба партизанского движения сведений о Григории Харламове (как и о Марии) тоже нет! Остается думать, что в книгу «Памяць» он попал благодаря чьим-то личным воспоминаниям. И ничего больше ни о нем, ни о его судьбе не известно. Тупик.

Спустя время я набрела в Интернете на упоминание еще об одном партизане Харламове — Алексее, из Сенненского отряда, которым командовал Александр Бардадын, позже прикомандированный к Белорусскому штабу партизанского движения в Москве. И тоже никаких деталей или ниточек, ведущих к этому Харламову, нет. Так кто же встречался с Марусей — Григорий или Алексей?

А может, и не Харламов вовсе, а Харланов? Эта фамилия больше известна в партизанских кругах. Михаил Харланов — командир, потом комиссар отряда «Истребитель», вошедшего в бригаду Заслонова. Харланов руководил группой контрразведки бригады вплоть до освобождения Белоруссии и в 1948 году был награжден орденом Красного Знамени. Значит, дожил человек до Победы? Сейчас ему было бы девяносто восемь лет, и даже если он жив, то рассчитывать на его ясную память нереально. Всех троих я пыталась искать. Безуспешно.

И все-таки: когда, как и почему погибла Мария? Отчего в партизанских архивах нет ни строчки об отчаянном поступке молодой женщины, решившейся на опасное задание и бесславно погибшей? Может быть, она в пытках выдала других и потому ее имя замолчали? Или наоборот — ее подло предали, подставили и этот факт умышленно замаскировали, не оставив никаких следов? Хотя все может быть гораздо проще: таких комсомолок-героинь, оставшихся безымянными, было много. Может, и отчитаться об их гибели порой было некому — те, кто могли рассказать, сами сложили голову...

Недавно узнала, что о последних днях прославленной Веры Хоружей, ее гибели и месте захоронения тоже ничего доподлинно не известно. А ведь Вера действовала в подполье Витебска, большого города, где множество свидетелей, а Мария — в глухих деревушках... Обе, к слову, попали на оккупированную Витебщину с Полесья: Хоружая до войны работала в Пинском обкоме партии, Мария была секретарем Жабчицкого райкома комсомола — они вполне могли друг друга знать. Хоружая погибла в ноябре 1942-го. В те же дни в бою с немцами у деревни Куповать был убит Заслонов. О его гибели Мария наверняка знала — до соседней Куповати рукой подать, а бой партизан с немцами был долгим и кровавым, далеко по округе слышались его отголоски. Могли слышать партизаны и о разгроме подпольной группы Хоружей. Помимо гнева и горечи гибель людей, которых Мария так или иначе знала, вызывала еще большее желание мстить фашистам.

Мои поиски в архивах Минска, Витебска и Бреста, поездки в Сенно и отцовскую деревню, разговоры со стариками, которые пережили войну, по крупицам добавляли новую информацию. Из личного дела Маруси, которое хранится в брестском архиве, я узнала ее довоенную биографию. Рано оставшись без отца, девочка воспитывалась в семье тети, после школы работала телефонисткой, потом начальником почты, в восемнадцать вступила в комсомол, в девятнадцать — в партию и скоро была избрана секретарем Петриковского райкома комсомола, а спустя год — Жабчицкого. В документах времен оккупации, хранящихся в витебском архиве, нашла упоминание о бургомистре Владимире Боровском как о предателе и пособнике немцев. Но я все еще не знала, когда именно погибла Мария и сколько же тогда было Свете. Точно не помнил этого никто: мол, дело было зимой, уходила из дому в полушубке... Тайна, как это часто бывает, скрывалась неподалеку... Письменное свидетель-

ство односельчанина о дне, когда расстреляли Марию, отыскалось в личном деле отца.

Попробую реконструировать события того дня так, как они мне представляются. Место действия — деревня Пурплево на берегу Оболянки, где жил дядя Антон с женой Настей и дочкой Галей. Отсюда до Тесища, деревни его родителей, — рукой подать, всего километр. Во время войны в зависимости от обстоятельств старики вместе с внучкой несколько раз перебирались к Антону. Там же, в его хате или по соседству в баньке встречались подпольщики.

Постучав в окошко кухни, Харламов отряхнул снег с валенок и вошел в отворенную ему дверь — его прихода уже ждали. Маруся и молодая докторша Анна сидели на лавке у стола, кутаясь в теплые шерстяные платки, а Антон, впустив лесного гостя, сразу направился в дальнюю комнатку посмотреть, спит ли дочка, да покараулить, нет ли кого на улице.

— Наши пошли в наступление под Ленинградом, со дня на день прорвут блокаду!.. — с порога обрадовал женщин Харламов. Расстегнув тулуп, он присел к столу и с готовностью обхватил обветренными руками протянутую Марусей горячую кружку с «кавай», так здесь называли заваренный кипятком молотый ячмень. — Освободили Элисту под Сталинградом, берут немцев в кольцо. Вот список отбитых у немцев городов. — Алексей достал из-за пазухи тетрадный листок. — Покажите своим комсомольцам, пройдитесь по хатам, расскажите...

— Мы и в хаты заходим, и листовки, где можем, оставляем, — быстро проговорила Маруся и, перейдя на шепот, добавила: — Ребята опять оружия насобирали у Куповати и в тот же тайник снесли, за кладбищем...

— О, молодцы! Это подмога, — обрадовался Харламов. — Так и мы не сидим сложа руки, — усмехнулся он. — В Алексиничах дали гадам прикурить, и в Рясно, и в Янове... Готовится большой рейд, девчата. Бригада пройдет с боями от Лепеля до Витебска — покажем немцам, кто здесь хозяин!

— Тут бинты и лекарства, как всегда... — Анна, выудила из-под платка тугой сверток и протянула его Харламову.

— Что бы мы без вас делали, Анечка! — Алексей благодарно улыбнулся, сунул сверток в заплечный мешок, посмотрел на часы и кивком поманил Марию: «На минутку!»

Та выскочила за ним в сени.

— Надо в Сенно попасть, к бургомистру, — зашептал Харламов ей на ухо. — Пакет передать, важный. Ни мне, ни кому-либо из хлопцев туда не сунуться, сразу задержат. Как ты на это смотришь?

— Пакет? С миной? — насторожилась девушка.

— Да нет! — пряча усмешку в бороду, успокоил ее партизан. — С письмом. Вокруг Сенно уже семь партизанских бригад, которые готовы отбить город у немцев.

— Правда?! — обрадовалась Маруся и уточнила: — А Боровский уже на нас работает?! И когда успел?

— Да, уговорили его сотрудничать... Так сможешь? — Алексей тронул Марусю за плечо.

Она задумалась. Ей давно хотелось получить серьезное задание.

— Настя лежит в больнице, в Сенно. Антон собирается туда на днях, так, может, и я с ним?.. Но пустят ли меня к бургомистру? Там же охранник...

— Как пройти, мы придумаем, — успокоил ее Харламов. — Завтра в это же время я принесу пакет, тогда и обсудим детали.

Антон запряг коня, бросил в сани свежего сена, теплое рядно, и еще затемно они тронулись в путь. Маруся надела в дорогу кожушок, взятый на денек у свояченицы — добрая душа не пожалела, дала, все равно в хате сидеть с хворающим мальцом. Мороз был будь-будь, добрый хозяин собаку не выгонит, но Маруся его словно не чуяла, в мыслях она прокручивала свой диалог сначала с охранником управы, потом с бургомистром...

Когда въехали в Сенно, Мария призналась Антону, что везет секретный пакет. Тот обмер и взвился:

— Ты что, девка, сдурела? Куда лезешь? Тебе это зачем? Пусть сами партизаны и носят эти пакеты. Ишь ты, Настю она вызвалась навестить!..

Но Маруся, не слушая брани родича, легко соскочила с саней и зашагала в сторону управы. Не на шутку озадаченный Антон потянул вожжи на себя и направил коня к больнице.

К бургомистру Марусю пропустили как сельскую учительницу.

— Чем обязан? — осведомился Боровский.

— Я не учительница, — сразу уточнила она, — но хочу учить детей. А директор школы говорит, что учителей пока хватает, все равно платить нечем...

— Там кто, Тарасевич директор? — Боровский хорошо знал своих бывших коллег.

— Да, дядя моего мужа.

— ?..

Оказалось, бургомистр помнит и Костю, своего бывшего ученика. Маруся коротко рассказала, как попала в здешние края, и вдруг резко переменила тему.

— Владимир Лукьянович, у меня к вам пакет, от партизан, — снизив голос, сообщила она Боровскому.

Тот оторопел:

— Что еще за пакет?!

— Письмо, там все сказано. — Мария вытащила из потайного кармана конверт и передала Боровскому.

Он быстро пробежал глазами текст и, помрачнев, вернул гостье:

— Отнеси туда, где взяла!

Обескураженная, Мария направилась к двери. На пороге вырос охранник, девушку арестовали, вместе с пакетом.

В тюрьме, которую немцы устроили в здании бывшей школы, Марию посадили в камеру, служившую когда-то винным погребом. Теплый тулупчик сразу отобрали, а взамен бросили под ноги видавшую виды телогрейку. В тот же день в камеру втолкнули Антона и Анну Эйсман вместе с шестилетней дочкой. «Плохо дело! — ужаснулась Маруся. — Неужели и Свету привезут?!..» Боялся такого развития событий и Антон.

— Как Настя? — спросила у него Маруся.

— Молчи! — прикрикнул в ответ Антон.

Это по ее милости Галинка и Света оставались сейчас под присмотром его старой матери. А что будет потом?.. Он не мог себе простить, что силой не

удержал Марию. Видя, что Антон совсем повесил голову, женщины стали его подбадривать:

— И чего ты горюешь? Твоя фамилия не фигурирует ни в каких списках — значит, отпустят!

Скоро в тюрьму привезли из Пурплево Валю Новикову и Васю Межевича, членов подпольной комсомольской ячейки, потом ребят из дальних деревень. Всех по очереди водили на допросы, выбивая кулаками и пытками признания: кто еще помогает бандитам?! Именно так немцы называли партизан. Мария от пыток, издевательств и унижений совсем потеряла рассудок, она уже плохо понимала, на каком свете находится, сквозь красную пелену перед глазами иногда проступало личико дочки и тут же исчезало, а в висках стучало одно только слово: молчи, молчи, молчи!.. Она не выдала мучившим ее эсэсовцам ни Харламова, ни место, где укрывался отряд, ни на кого работает Боровский. Она и в самом деле не поняла, свой он или чужой. Но раз вернул ей пакет, значит, думал только о себе...

Конвоиры вывели их из тюрьмы поздно вечером, школьный двор по колено замело снегом, Маруся еле держалась на ногах. Так хотелось упасть на снежную перину сугроба, но Вася и Валя крепко держали ее под руки. Антона в группе заключенных не было, как и Ани с девочкой. «Неужели отпустили?» — мелькнула в голове надежда. Подталкивая прикладами, обессиленных людей погнали через пустынную площадь в сторону костела. На улицах — ни души, только тусклые фонари мерцали на столбах. На краю оврага арестованных выстроили в ряд, эсэсовцы с автоматами и полицейские с винтовками отступили назад. «Это конец? Не может быть! А как же Света?!» — пронеслось в голове у Марии, но прогремевший залп сбил ее с ног. Цепочка узников дрогнула, обмякла и вразнобой покатилась вниз. Добивать еще шевелящихся на дне оврага людей отправили полицейских. Потом те закидали тела снегом вперемешку с валежником и поспешно выкарабкались наверх. Это было 16 января 1943 года. На улице стоял трескучий крещенский мороз.

Партизаны тем временем готовились к масштабной акции. С января по апрель бригада имени Заслонова с боями проделала трехсоткилометровый марш по Сенненскому, Богушевскому, Бешенковичскому, Чашникскому, Лепельскому и Витебскому районам. Очищая родные села от гитлеровцев и их пособников, заслоновцы разгромили несколько комендатур и волостных управ и уничтожили более сотни немецких солдат и офицеров.

Жарким июньским полднем над Тесищем загудели самолеты, забухали пушки вдали, земля фонтанами взлетала вверх от взрывов. Настя схватила за руку спотыкавшуюся на ходу Свету, рядом, уцепившись за юбку матери, бежала перепуганная Галинка — пригибаясь, они кинулись к баньке, что стояла внизу у речки, и там укрылись. Ни живы ни мертвы, тесно прижались друг к другу и так сидели, пока не услышали ликующий вопль соседского паренька: «Наши! Наши идут!» Вслед за рокотом, от которого закладывало уши, они увидели, как по дороге к разрушенному мосту над Оболянкой ползут танки с красными звездами...

Скоро от Кости, впервые за всю войну, пришло письмо — из Польши, где стоял его полк. В конверт была вложена фотокарточка: на ней красивый молодой офицер с волнистым чубом и двумя орденами на груди держит в руках

газету «Правда». Надо же, Костя! Жив-здоров и шлет всем привет. Света, которой показали фотографию папки, не выпускала ее из рук и всем, кто ни заходил в дом, радостно сообщала: «Это мой папа! Он скоро приедет и маму привезет». Так ей пообещала бабушка.

Костя, демобилизовавшись, вернулся в 1946-м, но Свету уже не застал. Незадолго до наступления наших дом бабушки сгорел от налета немецкой авиации, с маленькой внучкой старики перебрались к Антону, потом — в наспех вырытую землянку, а когда деревню уже освободили от немцев и теперь, казалось бы, только жить да жить, Света заболела корью и умерла...

Я не знаю, в каком именно месте расстреляли Марию и где похоронили Свету, одни говорят, что в Пурплево, где жили Антон и Настя, другие — что в Тесище, где жили дедушка с бабушкой. Поэтому гранитную плиту с именами Маруси и Светы мы установили рядом с могилой бабушки.

Пусть обе они еще немного поживут и в этих строчках...

Анри Рачков

Эвакуация

Странички из дневника подростка

Великая Отечественная началась для меня несколькими днями позже, чем для всей страны...

В июне 41-го, сдав экзамены за седьмой класс, я, подросток четырнадцати лет, поехал в пионерский лагерь в Поленово, что на Оке в ста двадцати километрах к югу от Москвы. Мы с ребятами успели уже подружиться, и лагерная жизнь била ключом. Начальником лагеря была моя мама. Когда 22-го разразилась война, она была в шоке и попросила взрослых работников «пощадить детей» — ничего им о ней пока не говорить. Наивно, конечно. Или надеялась, что война продлится недолго?

Только через несколько дней мама под большим секретом сообщила мне эту сногсшибательную новость, которая вызвала у меня неожиданную реакцию. Я стал смеяться:

— Этот Гитлер, оказывается, такой дурак! Говорил же товарищ Сталин, что война будет идти на территории противника. Ведь против фашистов на защиту СССР поднимутся все трудящиеся мира. Он самоубийца! Еще посадят в клетку и повезут показывать в других странах... Ведь правда, мам?

Но мама только кивнула и, тяжело вздохнув, промолчала. Она была секретарем партийного бюро в одном большом культурном учреждении, и иметь собственное мнение ей не полагалось.

Спустя некоторое время я поделился своими соображениями с друзьями. Они были уже в курсе дела и придерживались примерно того же мнения. Однако взрослые его не разделяли. Когда я их спрашивал, они мрачнели и отмалчивались.

Прошла еще пара недель, наши войска переходить на территорию противника не спешили. Ну, значит, разгадал я планы нашего командования, еще немного повоюем, заманим их поглубже, разобьем в пух и прах и потом уже пойдем освобождать наших братьев — немецких рабочих от фашистского гнета.

Рачков Анри Васильевич окончил Военный институт иностранных языков в Москве, в 1951 — 1954 гг. работал военным переводчиком в Группе советских оккупационных войск в Германии (ГДР), затем переводчиком-референтом в журнале «Проблемы мира и социализма» в Праге, позже — в ТАСС, в том числе и корреспондентом в ряде стран Африки. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Ничего особо страшного, таким образом, не предвиделось, и веселая лагерная жизнь с ее играми и спортивными соревнованиями, ухаживанием за девчонками понеслась дальше. У меня был даже настоящий роман с одной тринадцатилетней девочкой — Олей. Состоял он в том, что вечерами во время игры в садовника: «Все цветы мне надоели, кроме...» — я все время выбирал ее цветок. Как сейчас помню, ромашку. Она очень стеснялась, а потом набралась храбрости и... тоже выбрала мой цветок.

А однажды даже — поздним вечером, когда все уже легли спать, — мы убежали и гуляли по освещенной полной луной дорожке.

— Ты мне нравишься, — сообщил я. — А я тебе?

Она сорвала ромашку, стала гадать. Получилось «к сердцу прижмет». Тут мне, видимо, следовало ее поцеловать, но не хватило смелости, чем, наверное, я немного разочаровал ее.

Война между тем продолжалась. Немцы и не думали отступать, напротив, они наступали и брали наши города. Стали доходить слухи о бомбежках самой Москвы. Мы даже слышали гул чужих самолетов — более густой и низкий, чем у наших. И вдруг над нашим лагерем, совсем низко, пролетел большой темный зловещий самолет с крестами на крыльях. «Это фашист! — кричали ребята. — А наши, наши-то где?» Через несколько минут показались и наши — тройка ястребков, скрывшихся в том же направлении. До нас донеслось несколько пулеметных очередей, и мы были уверены, что фашист не ушел...

Потом за Олей приехал отец и увез девочку в Москву — семья собиралась в «эвакуацию». Так я впервые услышал это еще мало понятное слово. Без Оли лагерь словно опустел, на душе стало тяжко. И еще эта несчастная война, которая все продолжалась и продолжалась.

Нас стали водить на колхозное поле удалять сорняки. Колхозницы учили нас, какие растения выдирать, какие оставлять, что мы и делали под палящими лучами летнего солнца. Сами же они больше были заняты бесконечными разговорами — видно, работа не представляла для них большого интереса.

Я как сын своей мамы прожил в лагере все это жаркое лето, и в августе, к началу учебного года, вернулся домой. Вернулся к началу учебного года, а попал... на картошку. Правда, не сразу.

Москва изменилась. Она помнилась весенней, яркой, веселой, а теперь, три месяца спустя, стала серьезной, потемневшей. Бомбежки действительно случались, но еще довольно редко. С продовольствием тоже было пока сносно. В столовых можно было пообедать, но на хлеб и мясные блюда уже требовали талончики от недавно введенных карточек. Появились коммерческие цены.

В школе нас ждала неожиданность: нас стало меньше — часть учеников уехала с семьями в эвакуацию. Да и начало учебного года откладывалось до 15 сентября. В этот день мы сели за парты, но проучились всего четыре дня. На пятый старшеклассников собрали в общем зале, и директор суровым голосом сообщил о трудном положении на фронте. Еще он сказал, что в это нелегкое время женщины заменяют ушедших на фронт мужчин и что нам тоже надлежит внести свой вклад в общее дело.

На следующий день мы явились в школу с вещами и отправились на «трудовой фронт» — помогать колхозникам убирать картошку. Мы, признаться, были даже рады предстоящему приключению. От железнодорожной станции привезли нас на подводах в деревню. Тут пока мало что напоминало о войне, за исклю-

чением, быть может, заметного отсутствия мужчин. Кормили нас, как говорится, от пуза — мясом, хлебом, картошкой и молоком. Я, большой любитель молока с хлебом, в первый же день надулся так, что едва мог дышать.

Днем мы возились в поле — собирали в грязном намокшем грунте картошку, а по вечерам приходили на площадку перед сельсоветом, где устраивались «гулянки» — танцы под гармошку. Я познакомился с дивчиной, которая привлекла меня своим именем — Ольга, напомнившим о лагерной Оленьке. Но через пару дней, заметив разницу между ними, я оставил без внимания ее благосклонность и готовность чему-то научить меня.

Эта довольно беззаботная деревенская жизнь скоро кончилась. Пошли слухи о наступлении немцев, говорили даже, будто они уже недалеко от Москвы. В это верилось с трудом. Но к 10 октября за нами пришел автобус и срочно увез домой. В столице с каждым днем становилось все тревожней. Слухи о тяжелом положении на фронте подтверждались. Все, кто еще не уехал, собирались в эвакуацию.

Собрались уезжать бабушка и мамина сестра — тетя Лина с двумя малыми детьми. Ехать думали в Ульяновск, где жила их другая сестра с семьей. Мама отправляла с ними и меня. Я отказывался, но она сказала, что я должен помочь тете Лине, да и учиться надо — московские школы закрылись. Она достала нам билеты на 15 октября. Кругом заговорили, что немцы приближаются к Москве, и мама с моим старшим братом решили тоже ехать с нами.

Однако 15-го сесть на поезд не удалось. Народу на Курском вокзале — тьма-тьмущая. Ни о каких билетах и речи не было. Поездов приходило мало, и погрузиться удавалось только счастливчикам. Мы просидели на собственном багаже три дня — 16, 17 и 18 октября, то есть в знаменитые панические дни в Москве. Раз я сбегал за какой-то вещью домой — благо, до Покровки было недалеко. По улицам спешили толпы людей, на еще ходивших трамваях люди висели гроздьями сосисок. Все были уверены, что через несколько дней Москва будет сдана. Директоры и начальники бросали работу и бежали из обреченного города.

Уже потом, в послевоенное время, родилась красивая легенда, будто в те самые дни, когда мы сидели в зале ожидания, по перрону вокзала у пригнанного для него состава мрачно вышагивал сам товарищ Сталин. Уж не потому ли мы так надолго застряли? После долгих и мучительных раздумий о том, не предпочесть ли старой столице новую — в Куйбышеве, вождь решил остаться. И тем-де Москва была спасена...

В один из моментов мама решила заглянуть на работу, в свое учреждение — узнать, как там. А там ей сказали, что с паникой будет покончено и Москву сдавать никто не собирается. Мама вернулась ободренная и заявила, что никуда не поедет, остается вместе со старшим сыном. А если что — «уйдем пешком вместе с армией». Браво, мама! Вот какая она была боевая, хоть и немного наивная. В общем, взяли чемоданы и ушли. Мама — на свою ответственную работу, а брат — через год — в военное училище. И погиб в 43-м на Днепре.

А мы, оставшиеся на Курском, стали однажды свидетелями незабываемого зрелища. Один луч из множества прожекторов, бродивших по ночному небу, наткнулся вдруг на вражеский бомбардировщик, давно гудевший где-то в вышине. Сразу же на нем перекрестились сотни лучей. Зенитки со всех сторон яростно били по ярко освещенному самолетику, а он, пытаясь удрать, все ухо-

дил, пока, к великому нашему огорчению, не скрылся за крышами домов. Но спустя минуты на том месте вспыхнул горизонт, и все радостно закричали: «Немцу капут!» Пожалуй, той осенью это был единственный светлый миг...

Погрузились мы только 18-го, в эшелон, шедший, как и все, на восток и состоявший из так называемых «классных» — дачных, без верхних полок — вагонов. Еле разместились на узких скамейках и между ними. В таких же условиях оказались и другие семьи с детьми и стариками. По проходам, заставленным громоздкими вещами и сумками, продраться можно было только с большим трудом. Теснота ужасная, грязь и духота. Хлебом и некоторыми продуктами запаслись на 5–6 дней, а ехать пришлось более двух недель. Больше стояли. Купить что-нибудь по дороге было практически невозможно, деревни у железной дороги были опустошены проходившими мимо эшелонами.

Еще на вокзале в последний момент с нами увязался соседский шестнадцатилетний паренек — Слава, у которого вообще почти ничего не было. Питался он у нас, и тетя Лина была, естественно, недовольна. Голодали. Во время долгих остановок мы со Славой промышляли в столовых поблизости от станции. Иногда удавалось перехватить у добрых официанток тарелочку супа. Тетя Лина меняла дефицитные вещи на продукты.

Как-то она дала мне кусок мыла и велела обменять его на хлеб. Я постучался в близлежащую избу и показал вышедшей женщине свой товар. После некоторого колебания она вынесла ломоть хлеба, который показался мне маленьким. Но она замахала руками — у самих ничего нет. Результат такого обмена произвел на тетю плохое впечатление:

— Половину ты съел по дороге!

Она была права, но только отчасти: не устояв перед соблазнительным хлебным духом, я в самом деле отщипнул кусочек, в чем, разумеется, не признался. И все равно был наказан — лишен причитавшейся мне доли.

На одной из станций случилась беда: мы со Славой отстали от эшелона. Впрочем, для тети Лины, думаю, это было облегчением — все-таки меньше ртов. Пошли мы с ним на промысел. В какой-то столовой нам что-то пообещали. Прождав пару часов, получили по тарелке бурды, возвращаемся, а эшелон — тю-тю... Обычно он простаивал на станциях не менее полусуток, а тут на тебе...

Случилось это уже за Сызранью на станции Батраки, ныне Октябрьск. До Куйбышева, то есть Самары, куда шли поезда, оставалось каких-то полтораста километров, но на них ушло целых три дня. Сначала мы даже и не испугались, товарняка кругом полно — догоним. Но шли поезда какими-то уж очень мелкими шажками и все время останавливались. Мы приспособились вскакивать на ходу, когда они притормаживали на станции.

...На полустанке была уже ночь, и мы никак не могли найти подходящий состав. Бродили по путям между вагонами и посвистывали, чтобы не потерять друг друга. Вдруг в темноте кто-то большой и сильный хватает меня и скручивает намертво. Вижу, ведут и Славу. Запихивают в товарный вагон:

— Командир, вроде диверсантов поймали!

На диверсантов мы походили мало. Но, выходит, водились они там, коль военные бдительность проявили. Рассмотрели наконец. У Славы обнаружили комсомольский билет. Теплушка, огонь в печурке, тепло, уютно. Стучат колеса. Ну, слава богу, доедем до Куйбышева, там найдем своих.

Недолго радовались. На первой же остановке нас отвели в комендатуру:

«Разбирайтесь». Никто разбираться не стал. Отпустили. А где военный эшелон? Его и след простыл. Ушел вместе с уютной теплушкой. Спихнули, в общем.

Добираться пришлось на открытых платформах, а то и просто на подножках вагонов. Мерзли, есть было нечего. Хорошо еще в одной столовой накормили мясными объедками. Пожалели добрые тети.

Наконец Куйбышев, ставший негласной столицей страны, куда успело переехать большинство правительственных учреждений. На вокзале никого из своих не нашли. Нам посоветовали обратиться в эвакопункт. Там нам выдали талоны на хлеб, а до Ульяновска, сказали, добирайтесь как сможете, билетов на пароход нет. Получили по свежей буханке теплого черного хлеба, до того вкусного, что тут же стали уминать его. Я умял половину, мой товарищ — почти всю буханку, и у нас с голодухи жутко разболелись животы.

Добрели до пристани. Тут творилось что-то страшное, в здании присесть негде. Тети Лины мы и тут не обнаружили. Переночевали прямо на полу. Не на улице же — там холод собачий. На грязном полу приснились мне былые денечки: родные лица семьи, вкусная еда. А еще — пионерский лагерь на Оке, Оленька. Как же хорошо все было! Прошло-то всего несколько месяцев, но та золотая пора ушла в далекое прошлое.

Разбудили нас громкие крики. Подошел пароход, наполовину уже заполненный. Толпа ринулась на затрещавшую деревянную пристань. О билетах никто и не спрашивал. Нам повезло: героическими усилиями протиснулись на палубу и долго-долго, все еще мучаясь животами, плыли до Ульяновска.

В Ульяновске с трудом поднялись по бесконечно длинной деревянной лестнице на высокий берег Волги. Сразу же попали на нужную нам улицу Рылеева и как с луны свалились на голову бедной тете Вере. Она встревожилась ужасно:

— А где же Аполлинария с детьми и матерью?

Их и тут не было. А ведь после нашего расставания прошло уже много времени. Словно в воздухе растаяли.

Только несколько дней спустя прибыли наконец и они. Оказывается, в связи с новым статусом Куйбышева и большой массой эвакуируемых город закрыли и все эшелоны прогоняли мимо. Поезд с тетей Линой примерно с того места, где мы потерялись, промчался напрямую, уже не останавливаясь, чуть ли не до самого Урала. Мы же, «соскочившие» с него, просочились в новую столицу, можно сказать, нелегально. Тетя Лина вынуждена была добираться обратно на случайных попутных поездах. Ей с семейством было труднее, и времени потребовалось больше.

В Ульяновске мы только пришли немного в себя — отмылись, наелись, — как нам со Славой вручили повестки: явиться туда-то. Собрали целую группу и отправили поездом на трудовой фронт — копать окопы. Окопы за Волгой? От станции километров тридцать топали по промерзшей дороге. Морозы в тот год уже с осени стояли лютые, а мы — в простой кожаной обуви. «Что ж вы, — спрашивали нас, — в голой обувке-то?» Ветер пронизывал насквозь… Останавливаясь на отдых в деревнях, жались к печке, замерзшие пальцы ног совали чуть не в огонь. Но стужа пряталась где-то глубоко, и потом долгие годы, чуть похолодает, я ощущал ее противную дрожь внутри себя.

На окопах пробыли мы с неделю. Получили рабочие карточки на хлеб, но на работы выходили всего раза три, не больше. Да и работой назвать это было трудно — ковыряли лопатой промерзшую землю. Никто нас не контролировал и

интереса к нашим окопам не проявлял. Может, где-то наверху уже знали о готовившемся контрнаступлении под Москвой?

Народ стал потихонечку разбегаться. Говорили, что до Ульяновска напрямую всего километров сорок. Выяснилось между тем, что на эти работы привлекались лица, достигшие шестнадцати лет. А мне только недавно пятнадцать исполнилось. Славе было больше, но мы оба оставили в нашей комнате заявления, что нам нет шестнадцати, забрали паек и ушли пешком. Действительно проделали весь путь за один день, смутно помню какой-то мост, и вот снова — Ульяновск.

Слава, чувствовавший, что он тут все-таки лишний рот, уехал на Урал, к родственникам. Я поступил в восьмой класс. Дома я был почти отличником, а здесь голова соображала туго, местные учились лучше. Мне приходилось вставать рано утром, вместе с теткой выстаивать в очередях — отоваривать карточки. А морозы — все время за сорок.

Но вот, как и обещал товарищ Сталин, наступил и на нашей улице праздник! В первых числах декабря началось контрнаступление наших войск под Москвой. Сводки, не придуманные, настоящие, ежедневно сообщали об освобождении все новых населенных пунктов, о трофеях, об успешном развитии наступления. Боже, какое же бремя свалилось с плеч! Какая тяжесть гнула нас, которую мы и замечать-то перестали... Теперь вперед — до самого Берлина! Но на самом деле, как писал Константин Симонов, впереди была еще целая война...

Напоследок коротко об окончании моей ульяновской эпопеи. Жизнь моя с тетками, придавленными заботами о детях и больной матери, становилась невыносимой. Наверное, от недоедания и с тоски у меня на подкладке пояса завелись вши. Я писал жалостливые письма матери. Но Москва была закрыта: никого не впускала и не выпускала.

Наконец мама, будучи уже секретарем парткома своего авторитетного учреждения, вооружилась необходимыми документами и первого февраля 42-го прибыла в Ульяновск. Радость была неописуемая: свидание с родными сестрами, матерью. Но на первом месте, конечно, сын. Это — я! Мы пошли к кому-то в гости, мне предложили стакан горячего чая, положили целых два куска сахара, дали бутерброд с толстым слоем сливочного масла. Продукты, до того мне недоступные, вновь, как и в Куйбышеве, вызвали щемящие боли в животе.

Через несколько дней мы с мамой отбыли в Москву. На подъезде к ней, кажется, в Клину, началась нескончаемая проверка пассажиров. Меня, несмотря на все собранные мамой документы, долго не хотели пускать в родной город. Мама ушла к начальству и вернулась через час хмурая, заплаканная, но с радостной вестью: пропустили все-таки...

В Москве нас ждали новые тяжкие испытания... Но уже в кругу близких и друзей. С Олей мы переписывались и даже, когда она вернулась в Москву, несколько раз встречались. Но потом полудетская любовь в суматохе военных лет пошла на убыль... После возвращения в Москву я стал вести дневник. Он сохранился. Несколько страничек из него, посвященных воспоминаниям о начале войны, помогли мне написать этот рассказ.

Лев Симкин

Соседи-2

«Я поведу тебя в музей»

Сказала мне жена на второй день пребывания в Вильнюсе и уточнила, в какой именно — музей КГБ. Мы нашли искомое неподалеку от проспекта Гедиминаса, сразу идентифицировав его по именам литовцев — «жертв геноцида», выбитым на цоколе бывшего здания госбезопасности в начале девяностых, вскоре после обретения Литвой независимости. Собственно, музеем КГБ это здание именуют лишь в обиходе, официально же оно так и называется — Музей жертв геноцида.

Геноцид вообще-то означает вполне определенные вещи, связанные с намерением уничтожить полностью какую-нибудь национальную группу, какового желания по отношению к литовцам у советской власти при всех ее злодействах вроде бы не наблюдалось. Впрочем, вдаваться в терминологию, если хочешь о чем-то рассказать, — последнее дело. Тем более сам музей впечатляет, особенно сохраненная в первозданном виде «внутренняя тюрьма».

Правда, ни под одним из экспонатов нет подписи на русском языке, все на литовском и английском, что, по всей видимости, объясняется особым отношением со стороны музейной администрации к бывшему «старшему брату — великому русскому народу». На русском — лишь крохотный буклет, выдаваемый посетителям из сопредельных стран, не владеющим названными выше языками. Авторство буклета принадлежит Центру исследования геноцида и резистенции жителей Литвы, расположенному в том же здании, что и музей. Как видим, и в названии Центра вместо русского «сопротивление» употреблено иностранное слово «резистенция». Вероятно, переводчиком был молодой человек — мне показалось, литовская молодежь, в отличие от старшего поколения, плохо знает русский язык, во всяком случае, с юными официантами и продавцами в Вильнюсе нам приходилось общаться по-английски.

Называется буклет так: «Потери населения Литвы за период оккупации». О какой оккупации идет речь? О двух сразу. Две трети единственной странички буклета располагаются под заголовком «Советская оккупация» и только внизу совсем немного говорится об оккупации нацистской. И далее цифры, цифры, в том числе такая, остановившая мое внимание — «погибло во время Июньского восстания 1941 года — 700».

Симкин Лев Семенович — доктор юридических наук, профессор Российского государственного института интеллектуальной собственности. Публикации в «Дружбе народов»: «Путч» (№ 11, 2011); «Дейл Карнеги как зеркало русской революции» (№ 7, 2012).

Заглянул в Википедию, в ней нет статьи об этом восстании, хотя, как там сказано, в 2011 году в Литве шумно отмечался его юбилей. Зато в Интернете обнаружил прошлогодние литовские газеты (на русском языке), где на этот счет есть кое-какая информация. Например, рассказы Альфредаса Рукшенаса — историка из известного нам Центра исследования геноцида и резистенции и Витаутаса Дамбрава, представленного читателям в качестве «легендарного посла» и старшего члена дипломатического корпуса Литвы («Обзор», 6 и 20 июля 2011 года).

Июньское восстание, по словам этого историка, началось сразу после нападения немцев на Советский Союз, когда Красная армия хаотично отступала. Подпольщики или, как они сами себя именовали, «партизаны» были проинформированы заранее немцами, что война начнется 18–26 июня. Им было велено пребывать в боевой готовности и ждать активных действий немецкой армии. О самом восстании Рукшенас сообщает следующее: «Арестовывали не успевших убежать или скрыться советских активистов. Готовили засады против советских солдат, в некоторых случаях даже удавалось сбросить поезда с рельсов». Сказано довольно-таки общо, без фактологических деталей.

«Радость от того, что большевики бегут, не вмещалась в груди. В воскресенье 23 июня, когда я шел по Старому городу, мой друг партизан успокаивал меня: "Витаутас, будь добр, не показывай так своей радости; кто знает, кого на улице встретишь"». Это из опубликованных воспоминаний Витаутаса Дамбрава. Однако о конкретных действиях друга-«партизана» у него нет ни слова.

Правда, были и те, кто не испытывал в те дни особой радости. «На улицах масса вооруженных людей с национальными повязками. Лица очень несимпатичные, зверские, ходят с ружьями наперевес», — записала в своем опубликованном дневнике доктор из Каунаса Елена Буйвидайте-Куторгене 25 июня, когда ковенское радио от имени «партизан» призывало «радостно встречать входящие немецкие войска», и «партизаны (какое глупое и неверное название) убивали испуганных, бегущих, отступающих красноармейцев, безоружных, усталых, разбитых...». И вообще, по ее мнению, «в партизаны пошли или глупые мальчишки, обманутые лозунгом "независимой" Литвы, или подонки — для грабежа и безответственных убийств».

Словом, мне не удалось обнаружить, в каких именно боях пали упомянутые в музейном буклете семьсот участников восстания. Почему-то и по другим источникам относящиеся к восстанию факты трудно отыскать, историческая память не сохранила ни одного боя против частей Красной армии, хотя вроде бы существовали десятки повстанческих отрядов. В то же время цифра *семьсот* показалась смутно знакомой, всплыв откуда-то из памяти как связанная с событиями в Литве. Пришлось полистать свои записи, сделанные во время изучения материалов архивных уголовных дел на пособников фашистов, копии которых собраны в Музее Холокоста в Вашингтоне. Среди них оказалась выписка из одного такого дела: «Всего отрядом Петрониса расстреляно в июне–июле 1941 года около *семисот* советских граждан, в основном еврейской национальности».

«Белолитовцы»

«В первый день войны сыном помещика Альгердасом Петронисом, сыном помещика Петрониса Пятраса из имения Роша Малетской волости, в имении был сформирован белоповстанческий карательный отряд из местных жителей в количестве пятидесяти человек».

Это — из приговора военного трибунала Прибалтийского военного округа от 18 апреля 1951 года, которым двое членов этого отряда — Климас Вацловас, сын Томаса, и Кулешус Игнас, сын Венцаса, приговорены к ВМН (высшей мере наказания) — смертной казни. О сути дела читатель узнает чуть позже, покуда же отмечу отпечаток времени, лежащий буквально на каждом слове судебного вердикта, особенно при упоминании белого цвета.

В материалах дела отряд Петрониса именуется то белоповстанческим, то белолитовским, хотя речь идет о событиях не Гражданской, а Великой Отечественной войны, к моменту начала которой Белой армии уже двадцать лет как не существовало. Впрочем, «незнаменитую» впоследствии советско-финскую войну газеты в те годы называли войной с белофиннами. Соответствующая приставка придавала врагу еще более зловещий оттенок, совмещая (в сознании тогдашних молодых людей) финских снайперов-кукушек с каппелевцами, идущими в психическую атаку в «Чапаеве». Мне же вспоминается роман Владимира Войновича «Солдат Иван Чонкин», героя которого судили в 1941 году как «белобандита» и организатора «белочонкинской банды». Правда, ближе к концу пятидесятых годов (с вынесением приговора Климасу процесс над ним не закончился) приставка «бело-» из судебных документов куда-то исчезает, остается просто — «повстанческий» или «националистический» отряд Петрониса.

Дожившие до наших дней участники Июньского восстания ныне в большой чести — ведь это они в сорок первом, как пишут в прославляющих их текстах, «объединившись в боевые отряды, наносили удары по отступающей Красной армии». Вот только что это были за удары, как я уже говорил, конкретно сказать трудно. Что же касается удара по Красной армии, нанесенного отрядом Петрониса, то он был довольно-таки слаб. Повстанцы поймали двух отступавших солдат, оторвавшихся от своей части, и, выяснив их этническую принадлежность (один — русский, второй — еврей), первого отпустили, а второго расстреляли. В уголовном деле, правда, этот факт не нашел отражения, а узнал я о нем из видеоинтервью, взятого у Климаса Вацловаса, сына Томаса, в последующем буду называть его просто Климас) спустя 66 лет после восстания, 20 апреля 2007 года.

В Музее Холокоста в Вашингтоне, наряду с архивом, имеется отдел устной истории, где собраны записанные на видео беседы с очевидцами и даже участниками Холокоста. Естественно, захотелось поискать там фигурантов тех дел, которые мне уже удалось изучить. Шанс обнаружить таковые был невелик (мало кто из них дожил до нулевых да к тому же был расположен к рассказам о прошлом), и тем не менее мне повезло, одно совпадение обнаружилось. Прочитав материалы архивного уголовного дела о деяниях Климаса — молодого человека, удалось внимать ему же, достигшему преклонных лет, сравнивать и сопоставлять два его рассказа о его участии в том самом Июньском восстании.

...На дисплее — пожилой человек в клетчатой рубашке, лысый, остроно-

сый, с тонкими губами. Он у себя дома, лежит на диване и охотно отвечает на вопросы невидимого интервьюера, улыбается, время от времени почесывается. Разговор идет на литовском, рядом со мной у компьютера — переводчица-американка, она уверяет, что переводить его совсем нетрудно, ведь речь Климаса, по ее словам, незамысловата и выдает малообразованного человека, простого крестьянина. Из его дела мне уже известно, что он закончил три класса и происходит из крестьян-середняков. Правда, в протоколах первых допросов он записан выходцем из крестьян-бедняков, но, видимо, потом следователю показалось, что его поведение компрометирует благородное бедняцкое сословие, и он перевел подследственного в другую, менее благонадежную категорию.

«Белоповязочники»

Начинается интервью 1940 годом, когда Литва стала советской республикой. «С приходом русских, — вспоминает Климас, — мне было нормально, ведь я был простой человек. Но за неделю до начала войны они депортировали людей в Сибирь, и там несколько моих односельчан умерли». 22 июня 1941 года помнит хорошо, это было воскресенье, он пошел в церковь и от священника узнал о начале войны с немцами, потом началась бомбежка.

На следующий день, 23 июня в соседнее имение вернулся сын его владельца-помещика Альгирдас Петронис, военный летчик, майор литовской армии. В середине июня вся семья Петронис была выслана в Сибирь, а ему каким-то образом удалось скрыться.

От себя добавлю, что депортация проводилась согласно постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 14 мая 1941 г. «О выселении социально чуждого элемента из республик Прибалтики, Западной Украины, Западной Белоруссии и Молдавии». Высылка началась 6 июня, но большинство из 12 тысяч репрессированных литовцев — представителей «социально чуждых классов» было выселено в печально знаменитый день 14 июня 1941 года. Никто не сопротивлялся, подпольщики сидели тихо, поджидая немцев — восстание, как я уже говорил, началось позже.

Объявившись на второй день войны, Альгирдас Петронис стал формировать из окрестных жителей отряд, чтобы наконец поквитаться с коммунистами за оккупацию Литвы. Климасу передали, что Альгирдас хочет его видеть, и он подчинился приказу старшего по званию. Почему его позвали? По мнению Климаса, Петронис послал за ним, так как знал, что тот служил в литовской армии в чине унтер-офицера, и потому рассчитывал на его помощь в формировании боевой единицы. Климас, в свою очередь, попытался получить взамен какую-то выгоду и в ходе разговора с крестьянской хитрецой пожаловался «барину» на то, что у него недавно пала лошадь, и в ответ Петронис, не задумываясь, пообещал новую. Еще он поинтересовался, будет ли у членов отряда какая-то форма. Командир ответил, что у него нет ничего, кроме белых нарукавных повязок с надписью «Литовская военная академия», и такая повязка была немедленно Климасу выдана. Вместе с винтовкой, разумеется, куда ж без нее.

«Белоповязочники» — не только в их глуши, но и в Вильнюсе и Каунасе

участники июньских событий тоже должны были распознавать друг друга по нарукавной белой повязке. Все это немного напоминало европейское средневековье (Литва — часть Европы все ж таки), а точнее Варфоломеевскую ночь, во время которой католики, громившие гугенотов, узнавали друг друга по белым крестам на шляпах. О том, кого громили «белоповязочники», читатель скоро узнает. А где громили, скажу сразу, приведя выдержку из изданной в 1928 году книги Бориса Кушнера «Сто три дня на Западе»: «Литва начинается пустым местом, необъятно раскрывающимся перед вами непосредственно за станционным домиком пограничного пункта Ионишки. Пусто до совершенной безмятежности». Помимо Ионишек назову еще одно, соседнее местечко — Интурки, в них обоих с конца XVIII века до 1941 года жили евреи.

История лошади

На первом же допросе у следователя Климас показал — 25 июня он был вызван Петронисом в имение Роша, 26-го — вступил в «белоповстанческий отряд», 27-го в составе отряда, взяв выданную ему винтовку, отправился в Интурки (15 км от имения). Отряд арестовал тамошних евреев в количестве 120 человек, их доставили в Роша и, отделив мужчин от женщин, посадили в подвал. Ночевать Климас отправился домой, а вернувшись утром на службу, узнал, что мужчин расстреляли. Женщины и дети опасности не представляли (можно подумать, что ее представляли остальные перед лицом вооруженных «партизан») и могли подождать. Петронис выстроил отряд в шеренгу и спросил, кто желает принять участие в расстреле женщин и детей, все подняли руку, и Климас тоже. Но в расстреле не участвовал, он лишь копал яму и закапывал расстрелянных.

На последующих допросах Климас делился подробностями происшедшего — как приехали в Интурки, собрали евреев, велели погрузить на подводы свое имущество и отвезли всех в имение Петрониса, а потом погнали туда же принадлежавших им лошадей и коров. Поскольку следствие вменило ему в качестве обвинения, заодно с изменой родине, присвоение чужого имущества, этому эпизоду при допросах уделялось самое пристальное внимание, едва ли не большее, чем соучастию в убийствах. Сам Климас не отрицал, что примерно в те же дни у него появилась лошадь, но утверждал, что к грабежу в Интурках она не имела отношения. Вначале он уверял, что заплатил немецким властям за ту лошадь 50 марок, потом, что отобрал ее у литовца Юргелевичуса, и в конце концов рассказал следующее: «Имущество расстрелянных граждан складывалось в сарай, и кто хотел из белолитовцев, тот и брал оттуда различные еврейские вещи». Сам же он себе ничего не взял, только старую лошадь с упряжью, которую ему обещал Петронис. Лошадь держал в своем хозяйстве, она пала в 1944 году.

Видно, ему было немного стыдно — брать чужое нехорошо, аморально, а убивать можно, если, конечно, за идею. Что же это была за идея?

Еврейский процент

Почему, в самом деле, за деяния советской власти мстили евреям, отчего именно против них обратился весь антисоветский порыв «партизан»? Дело в том, что существовавший всегда антисемитизм в предвоенные годы «наложился» на то, что немало евреев пошли работать в советские учреждения, благодаря чему среди литовцев сложилось впечатление, будто коммунистический режим — это «еврейский режим». Жители местечек ответили за «своих», к тому же можно было под шумок разжиться их имуществом. В сознание людей вернулась из далекого прошлого (а может, никуда и не исчезала) идея коллективной ответственности народов за мнимые или даже подлинные прегрешения их представителей.

Увы, мне не удалось найти обнародованных цифр о количестве евреев в аппарате новой власти. В Интернете обнаружились лишь отголоски разгоревшейся в Польше публичной дискуссии историков, одни из которых (Томаш Стшембож) разделяли господствующую точку зрения на этот счет, а другие (Анджей Жбиковский) — с документами в руках доказывали, что процент евреев в администрации на присоединенных к СССР территориях был невелик по сравнению с украинцами, белорусами и даже поляками.

«Я не могу сказать, какой процент составляли евреи, но их присутствие было хорошо видно, — вспоминает упомянутый выше Витаутас Дамбрава. — Достаточно широко ходили разговоры о том, что списки жителей, которые будут наказаны, депортированы, составляли евреи». Правда, посол тут же сам себя опровергает последующим рассказом: «В вагоне, в котором была заперта моя мама с братиками и сестрой, я увидел старую еврейку из Утены. Она была женой шляпника. В чем было ее преступление — я не знаю. Они только продавали шляпы и жили тихо. И вот она с моей мамой была отправлена в Сибирь».

Всего из Литвы было сослано 2 тысячи евреев, с учетом их доли в населении, не так уж мало. Впрочем, и эту акцию, обрекшую людей на ужасные лишения, можно при желании истолковать в их пользу — как ни парадоксально это звучит, им повезло, ведь останься они в Литве, у них не было бы шанса выжить.

Летчик-пулеметчик

Вернемся, однако, к делу Климаса, следующий эпизод которого — расстрел в Ионишках в начале июля. На этот раз к отряду Петрониса примкнул еще один под командой другого «повстанца», Григолявичуса. Сошлюсь на показания свидетеля Бронюса Шикавичуса, сына Юргиса, входившего в этот, второй отряд. «С его слов», как пишут в такого рода документах, следователем было бесстрастно записано, как местечко Ионишки оцепили повстанцы с пулеметами, а остальные выстроились в шеренги, один отряд напротив другого. Затем Петронис раздал «партизанам» карточки с фамилиями и адресами еврейских семей и приказал доставить их в сарай якобы для допроса. Видимо, к визиту хорошо подготовились, чтобы никого не упустить. Всего было арестовано 150 человек.

Климас, в свою очередь, на следствии и в суде рассказывал, как все они, «белоповязочники», на велосипедах отправились в Ионишки, как ходили там от дома к дому и арестовывали евреев, а потом заперли в школе, мужчин и женщин отдельно. Вначале, по уже привычному сценарию, на расстрел вывели мужчин, а потом женщин и детей. Расстреливали на берегу большого озера, летчик-пулеметчик Петронис не только командовал расстрелом, но и сам палил из пулемета, остальные — из винтовок. Климас стрелял вместе со всеми, сделал два-три выстрела, кого убил, не знает, «не смотрел». Смотрел позже, когда закапывал мертвых, а Петронис добивал еще живых.

В упомянутом видеоинтервью Климас разоткровенничался. Не очень охотно, но все же ответил на прямой вопрос интервьюера, убил ли он кого-то — «да, убил пять человек». Сказал, что признается в этом впервые, на суде про то по понятным причинам умолчал. На вопрос, сожалеет ли о случившемся, ответил утвердительно, но, подумав, добавил, что, если бы и не стрелял, все равно ничего бы не изменилось, кто-то это сделал бы вместо него. Да и сами евреи тому способствовали — «мы-то думали, они будут сопротивляться, разбегутся, наконец, а они тупые, как овцы, молча шли на погибель».

После расстрела повстанцы пошли спать, усталые, но довольные выполненной миссией. Эту ночь они собирались провести в той же школе, где перед расправой держали евреев. Но когда Климас проснулся перед рассветом, увидел, что вокруг никого. Оказалось, «партизаны» пошли грабить опустевшие дома. Перед отправкой домой наутро у всех были набиты сумки, а у Петрониса — целая телега. При воспоминании об этом Климас первый и последний раз за все интервью улыбнулся, ему эта деталь показалась забавной.

Подобных эпизодов в деле могло бы быть больше, но по не зависящим от Климаса и его товарищей по «восстанию» причинам ограничилось двумя. Дело в том, что после Ионишек, вдохновленные успехом, они «отправились в райцентр Маляты с целью расстрела тамошнего еврейского населения», но местные повстанцы посоветовали им убираться к себе домой. К тому моменту «партизанские» отряды стали расти как грибы (вероятно, в силу выгодности революционного промысла), и в каждом районе возник свой такой отряд, а то и два. Климас откровенно пояснял на следствии, почему в Малятах местные не разрешили им участвовать в расстреле и даже арестах евреев — «имущества на два отряда могло не хватить».

Судя по информации одной из сетевых еврейских энциклопедий, «местные» в Малятах в том же июне расстреляли шестьдесят живших по соседству молодых мужчин, остальные ждали своего часа до августа. Об Интурках в Сети трудно что-нибудь обнаружить, но относительно Ионишек есть кое-что. Оказывается, с участием Климаса расстреляли только часть ионишских евреев, остальным же дали дожить до осени, причем эту жизнь «партизаны» постарались испортить насколько возможно — следили за обязательным ношением ими звезды Давида, соблюдением запрета ходить по тротуарам. Есть еще упоминание о судьбе ионишского врача Гитель Мильвидской, дальней родственницы поэта Маршака — ее расстрелять не успели, вместе с мужем и дочерью она приняла яд накануне неизбежной участи.

Лучший друг евреев

Комическое иной раз ходит неподалеку от трагического. Когда я просматривал в музее видео в надежде обнаружить на нем тех, чьи дела я успел изучить, то наткнулся на интервью со Стасисом Велишкой, взятым тоже в середине нулевых годов. В отличие от угрюмого Климаса, этот жизнерадостный и улыбчивый старик охотно отвечал на вопросы, попыхивая в длинные усы сигаретой.

Велишка почти год служил в литовском батальоне безопасности, отправленном из Каунаса в Белоруссию для участия в карательных операциях. Эти батальоны оставили о себе страшную славу. Учиненная одним из них расправа с евреями Слуцка поразила даже немцев — сохранился отчет, адресованный генеральному комиссару Белоруссии Кубе, о недопустимом садизме этой акции (людей закапывали в могилы живыми).

— Я был только поваром, приготовил суп, и все дела, поэтому советская власть меня не преследовала, — рассказывает Велишка (вновь цитирую по устному переводу).

Что ж, поверим ему на слово, хотя на самом деле советская власть преследовала и не за такое. Впрочем, дела на него я не нашел. Но во что уж решительно невозможно поверить, так это в его рассказ о дружбе с евреем-каменщиком и чем она завершилась. В Минском гетто, по его словам, «был один еврей, каменщик, он приходил что-то ремонтировать в эсэсовском бараке». И, представьте, они сдружились, «я ведь был не такой, как другие, и к евреям относился очень даже хорошо».

— Но ваш батальон убивал евреев, — это уже слова интервьюера.

— Ну и что, а мне этот еврей однажды сказал: «Какой же ты замечательный человек, я никогда такого не встречал в целом мире!» Это было в апреле сорок второго, но я уже тогда кое-что предвидел и попросил его записать все, что он произнес. И он написал что-то на маленьком клочке бумаги, по-русски и по-еврейски. Что там было, я не знаю, не читал, я просто хранил это в своем бумажнике.

— Вы его сохранили?

— Нет, когда меня забрали в МГБ в сорок седьмом году, я его туда отдал. Начальник МГБ был еврей, и он сказал: «Если бы все были такие, как ты, наш народ не потерял бы столько людей». Он даже не бил меня.

Все это наивная ложь, конечно. И все же рассказ весьма симптоматичен, поскольку отражает представления литовского крестьянина (к тому же не владеющего русским языком) о советской власти и ее карательных органах, состоявших, по его представлению, исключительно из одних евреев. Одного такого, из МГБ он себе навоображал.

Тем не менее замечу, что желание расположить к себе интервьюера вполне нормально, особенно при таком прошлом, и присуще отнюдь не только малообразованному человеку. У Льва Гинзбурга есть книга «Потусторонние встречи», в которой он описывает состоявшиеся в семидесятые годы прошлого века встречи с деятелями Третьего рейха, и в их числе с гитлеровским министром по делам молодежи Ширахом. Тот на голубом глазу рассказал советскому писателю, как при Гитлере у него дома стояло «полное собрание сочинений Ленина в сто пятьдесят томов». Интервьюер, как каждый советский человек с высшим

образованием (всем нам приходилось конспектировать труды вождя), знал число томов полного собрания его сочинений (55), да и те были выпущены после войны. Тогда-то до Гинзбурга дошло, что перед ним не кто иной, как «Иван Александрович Хлестаков в его германском обличье».

Изображая жертву

Вернемся к Климасу и его словам о том, что евреи вели себя подобно овцам. На самом деле овечку он сам изображал из себя на судебном заседании в апреле 1951 года. Упирал на то, что в отряде Петрониса провел всего три недели. Так оно и было, потому что в июле 1941 года он получил повышение. Славящийся своей честностью (не стал присваивать чужое имущество, взял только «старую лошадь со сбруей»), был назначен деревенским старостой. Немцы доверили ему контроль за исполнением распоряжений германских властей, сбор с крестьян обязательств на поставку сельхозпродуктов и проверку их реализации. Сам Климас рассказывал, что «собирал теплые вещи с населения для немецкой армии», а в жалобе на приговор писал: «во время работы старостой от меня или через меня не был арестован, расстрелян или выслан в Германию на рабство ни один яурей (так в подлиннике)». Да откуда ж им было взяться, если со всеми покончили в сорок первом? В то же время соседи, судя по их показаниям, «особых зверств и грубостей» от него не видели.

С возвращением советской власти в 1944-м ушел в подполье, год провел в «банде Калинскаса», «на нелегальном положении» (цитирую обвинительное заключение и приговор). Потом, скрыв свое прошлое, легализовался, потупил на работу в леспромхоз складским сторожем. При этом винтовку добровольно не сдал, оставил на всякий случай, ее обнаружили только при аресте и обыске в 1950 году. Видимо, после войны помогал «лесным братьям», хотя признавал, что снабжал их продуктами только однажды. Правда, это мало сочетается с его же словами, что в «белоповстанческом» отряде участвовал не по своей воле, его заставили. Кто заставил и как, осталось невыясненным.

У читателя, наслышанного о методах следствия тех лет, может возникнуть вопрос, а не заставили ли самого Климаса оговорить себя? Не похоже на то, принимая во внимание его интервью в наше время, да и материалы дела в целом производят впечатление достоверности, признания подсудимых подкрепляются другими доказательствами — показаниями свидетелей, списками расстрелянных, актами вскрытия могил. А вот что касается законов того времени — что было то было — законы и вправду были немилосердными.

В последнем слове, согласно протоколу судебного заседания, Климас просил сохранить ему жизнь и не применять репрессий к его семье. Союз «и» поставлен неточно, надо было ставить «или». Если бы ему сохранили жизнь, вопрос о репрессиях к семье не возникал бы вовсе. Согласно постановлению ГКО «О членах семей изменников Родины» от 24 июня 1942 года совершеннолетние члены семей лиц, осужденных к высшей мере наказания, подлежали аресту и ссылке в отдаленные местности СССР на срок в 5 лет. К членам семей причислялись не только супруги и дети, но и родители и даже братья и сестры. Исключение делалось лишь в случае, если «после проведения надлежащей про-

верки в составе семьи изменника Родины будет установлено наличие военнослужащих Красной Армии, партизан», такие семьи аресту и ссылке не подлежали.

Судебное заседание военного трибунала состоялось 18 апреля 1951 года и продолжалось с половины двенадцатого до половины пятого, когда суд в составе двух подполковников и одного старшины удалился на совещание для вынесения приговора. Приговор был вынесен в тот же вечер, как написано на нем, «в единственном экземпляре». Последующие два месяца тридцативосьмилетний Климас провел в камере смертников, и спустя шесть десятилетий в интервью он вспомнил всех сидевших в той камере. 22 июня 1951 года Климаса оттуда выпустили, так как его ходатайство о помиловании было удовлетворено, ВМН заменили 25 годами лишения свободы. Не всем так повезло, проходившему с ним по одному делу Игнасу Кулешусу отказали, 3 августа назначенный ему смертный приговор привели в исполнение в Вильнюсе, в той самой внутренней тюрьме МГБ, которая нынче открыта для посещения. Справка об исполнении приговора (с грифом «совершенно секретно») подшита в дело, а на приговор поставлен штамп — «меры к репрессированию членов семьи осужденого (вставлена фамилия Кулешуса) приняты».

Следом — немало страниц, в основном просьбы Климаса о пересмотре приговора, написанные при помощи сокамерников (сам он русским не владел, да и они — весьма относительно, судя, скажем, по частому употреблению слова «яурей»). Еще там хранится характеристика из лагеря для досрочного освобождения, датированная 1960 годом, где сказано о его добросовестном труде на благо социалистической родины — «нормы на лесозаводе выполняет на 140 процентов».

Сосед с аккордеоном

За последние четверть века в Литве, как и на остальном постсоветском пространстве, оценки многих событий сменились на прямо противоположные, и ничего, люди к ним постепенно привыкли. Не знаю, как это совместить — называть свой народ жертвой геноцида и осознавать его роль в геноциде другого народа. Вероятно, поэтому придумана и завоевала популярность такая *концепция* — дескать, с июня 1940 года евреи участвовали в геноциде литовского народа, а с июня 1941 года литовцы участвовали в геноциде по отношению к евреям, то есть сами евреи виноваты, они первыми начали. Еще немцы виноваты: «можно смело констатировать, что абсолютное большинство акций против евреев не только организовывали, но и осуществляли сами нацисты» (вновь цитирую того же историка из «Центра исследования геноцида и резистенции»). Организовывать-то они организовывали, но начали убивать евреев литовцы сами, без участия немцев и по степени вовлеченности местного населения опередили всю Европу. Общее число литовских евреев — жертв Холокоста составляет не менее 215 тысяч, или 95 процентов довоенного еврейского населения, именно здесь геноцид (в том смысле, в каком его обычно принято понимать) впервые стал тотальным.

Убивали соседи, открыто и зверски, те самые, что еще вчера относились друг к другу с «взаимным респектом», судя по воспоминаниям все того же посла

Дамбравы. «В субботний день матери, помню, на улицах успокаивали расшалившихся литовских детей: детки, ведите себя тихо, у евреев — святой день, и в этот день шуметь нехорошо… Самым большим скандалом было, конечно, если еврей женился на католичке литовке или наоборот. Тогда обе семьи сходились и вместе плакали: что нужно нашим детям?»

История походов отряда Петрониса в Интурки и Ионишки пока мало кому известна, но в Интернете есть многое другое, например, фото молодого человека в рубашке с засученными рукавами с железным ломом. На глазах у аплодировавшей толпы он убил этим ломом примерно пятьдесят человек, после чего взял аккордеон и, взобравшись на тела убитых, заиграл литовский национальный гимн. Это случилось в гараже «Летукис» в Каунасе 27 июня 1941 года. Временное правительство Литвы, образованное в результате Июньского восстания, так отозвалось на случившееся: «…несмотря на все действия, которые следует предпринимать против евреев ввиду их коммунистической деятельности и вредительства немецким войскам, партизаны и отдельные жители должны избегать публичных экзекуций». Сами экзекуции никак не возбранялись. Возглавлял это просуществовавшее чуть больше месяца правительство премьер-министр Юозас Амбразявичус. Совсем недавно, 18 мая 2012 года в Каунасе были с почестями перезахоронены его останки, привезенные из США.

Справедливости ради надо сказать, среди литовцев были и те, кто смотрел на все это иными глазами, как доктор Елена Буйвидайте-Куторгене, записавшая в своем дневнике: «С ненавистью и омерзением глядела я на глазеющую толпу, на злорадно гоготавшую чернь, потешавшуюся над несчастными».

Между прочим, в соседней Польше вот уже двести лет, по выражению одного польского писателя, верят в миф, что поляки на протяжении всей своей истории были лишь жертвами насилия со стороны других, но сами никого не обидели. Вот почему там вызвала просто-таки шок вышедшая в 2001 году книга Яна Томаша Гросса, которая так и называлась — «Соседи». В ней с использованием документов и свидетельских показаний рассказано о том, как 10 июля 1941 года поляки, жители местечка Едвабне под Белостоком по собственной инициативе сожгли в сарае тысячу шестьсот своих еврейских соседей, женщин, детей, стариков. До этого считалось, что погром был совершен немецкими карателями. Кстати, Едабне перед войной входила в СССР.

Расставание с привычными мифами вообще процесс болезненный, а тут не только жертвы превратились в палачей, но оказались в одном ряду со злейшим врагом польского народа — немецкими фашистами. Признать такое нелегко, в прессе завязалась полемика, были и те, кто заговорил о «еврейской вине» перед поляками и о том, что потомки не отвечают за деяния отцов, но в любом случае встряска была полезной. Люди с ужасом увидели отсутствие границы между бытовым антисемитизмом и сознательным участием в убийствах своих сограждан, ближайших соседей.

…Едвабне, как уже говорилось, расположено неподалеку от Белостока. В этом городе стоит православный Свято-Никольский собор, куда из России не так давно передали «по территориальности» мощи святого Гавриила Белостокского. «Святой младенец Гавриил родился в 1684 году в семье крестьянина в Белостокском уезде Гродненской губернии. В 1690 году Гавриил был выкраден из дома иудеем и вывезен в Белосток, где был зверски замучен». Последнее — цитата с официального сайта российской государственной телекомпании, ин-

формировавшей о посещении собора Патриархом Кириллом в августе 2012 года. Как о чем-то само собой разумеющемся там говорилось о христианском младенце, ставшем жертвой совершенного иудеями «ритуального убийства». Правда, спустя какое-то время новость с сайта (лишь этого) сняли, но, как говорится, осадок остался, да он, собственно, никуда и не исчезал со времен возникновения кровавого навета.

Что же должно было случиться с обычными людьми — не только в Литве, едва ли не во всей Восточной Европе, — чтобы они словно с цепи сорвались и бросились терзать своих же соседей с невесть откуда взявшимся энтузиазмом? С чего вдруг привычная для многих нелюбовь к евреям перешла все мыслимые и немыслимые пределы? Или же все намного проще, и антисемитизм явился лишь поводом для проявления в человеке звериного начала?

Сплошные вопросы. Добавлю к моим другие, из одной недавно изданной книги (П. Полян, А. Кох «Процесс о шести миллионах»). «Вот скованный присягой и оболваненный многолетней пропагандой немецкий солдат должен выполнять преступный приказ командира. Хоть и ужасно, но объяснимо. Но зачем тебе-то — латышу, украинцу, поляку — во всем этом участвовать? Чего ты лезешь со своим доносом? Тебе что, больше всех надо? Да еще и сам участвуешь в расстрелах. Зачем? Необъяснимо... Похоже, что все это делалось из чистой любви к искусству».

...Не знаю, сохранились ли следы полуторастолетнего пребывания евреев в литовских местечках. На сайтах, посвященных достопримечательностям Литвы, упомянутые мною географические названия присутствуют, есть фото тамошних пейзажей, костелов, старых домов и улочек — и ни слова о живших там когда-то евреях.

В Вильнюсе, где до 1939 года евреи составляли половину жителей, сохранилась напоминающая о них архитектура, взглянуть на которую изредка приезжают издалека их немногочисленные потомки. Едва ли не во всех старых восточноевропейских городах, какой ни возьми — Прага, Львов, Краков — дело обстоит примерно так же. Здания-то остались, а их обитатели со всем своим этническим своеобразием исчезли, и в этом смысле названные города — памятники Холокоста не в меньшей степени, чем остатки лагерей смерти.

Александр Кораблев

Европейские ценности и славянский союз

Досужие соображения о будущем наших языков

Будущего мы не знаем, настоящего не понимаем, прошлого не помним. Тем не менее пытаемся сообразить, что с нами происходит. Повторяем расхожие понятия, наполняя их своим содержанием. Соединяем, как нам кажется, в логические цепочки. Что-то слышим в ответ. Но слышит ли нас история?

«Европейские ценности»

Не странно ли: в не самой благополучной стране, каковой, к сожалению, является Украина, где кричащее количество социальных проблем усугубляется давлением и шантажом соседних государств, самым острым и болезненным вопросом оказывается языковой.

Конечно, если судить по данным соцопросов, этого не скажешь. Но, во-первых, знаем мы эти соцопросы, а во-вторых, в том-то и странность, что когда на них отвечают рассудительно, то более насущными, действительно, называются другие проблемы, а стоит хоть как-то ущемить язык — что начинается! В парламенте, на площадях, на интернет-форумах страсти накаляются до полной неспособности слышать и понимать друг друга.

Еще страннее видеть, как, едва выбравшись из очередной политической потасовки, отряхнув костюм и поправив галстук, какой-нибудь депутат бодро говорит в телеэкран, что никакой языковой проблемы нет. Просто приходится время от времени, особенно перед выборами, как-то электризовать электорат.

Тоже ведь верно. Пока нас не разводят на «+» и «–», мы же находим общий язык. Но это не значит, что проблемы нет. Если эта мина всякий раз срабатывает, значит, что-то взрывчатое в ней все-таки есть. И если эта проблема взрывается в моменты потрясений, то, значит, она — глубинная, внутренняя.

Человек, живя в обществе, обретает множество различных форм, определяющих его свойства и статус. Это социальные одежды, которые, если они стали тесны или не comme il faut, можно сменить: образование, работа, должность, семья, друзья, связи, репутация и т.д. Есть и более личные, интимные атрибуты —

имя, язык, вера. Их тоже можно сменить, только последствия будут радикальнее. Если изменение внешних форм приводит к жизненным переменам, то изменение внутренних — к переменам судьбы.

В прежние времена, вплоть до самых недавних, язык и вера утверждались массово и авторитарно. Князь Владимир, загоняющий язычников в Днепр, или другой Владимир, загоняющий пролетариат в светлое будущее, — это один и тот же тип мышления. Костры, на которых сжигались еретики, и костры, на которых сжигаются книги, — это один и тот же способ полемики. Что-то меняется, но что-то остается неискоренимо неизменным. Есть пастыри, знающие путь, и есть стадо, ведомое ими.

И вдруг — даром, что ли, горели костры и кипела вода? — возникло нечто иное. Иное отношение к иному. Не то удивительно, что такое отношение возникло и что оно вообще возможно, а то, что оно стало провозглашенным и узаконенным, принципом человеческого сосуществования. Пусть не везде и не всегда — не важно. Пусть остались прежними, став изощреннее, техничнее, циничнее, те же аппараты насилия, а также прилагаемые к ним политические квесты и медиальные манипуляции — все это тоже понятно. Куда важнее, что человечество, хотя бы декларативно и проективно, стало человечнее — определило себе такую форму бытия, которая отличается от жизни роя, стаи или стада.

Это достижение называют европейскими ценностями. Наименование условное, поскольку это ценности мировые. В сущности, это ценности любой высокой культуры — как опыты освоения особого, творческого, сверхприродного бытия. Но Европа эти ценности не просто произвела, она сумела их возвести в ранг не только неписаных, но и записанных законов. Возможно, сказались древнехристианские основы, где «нет ни эллина, ни иудея». Возможно, способствовали исторические обстоятельства. Как бы там ни было, эти ценности заслужили называться европейскими. Они не выдуманы — она выстраданы. Они выведены, словно в алхимическом тигле, в огне и крови инквизиций, революций, мировых войн.

«Европейские ценности» определяются и трактуются по-разному, часто приблизительно и произвольно, но еще чаще вообще никак. Так что каждый волен объяснять их по-своему. И в этом тоже проявляется одно из следствий нового, европейского мышления. Коротко говоря, европейские ценности — это право каждого быть собой. Еще в XVIII веке этот принцип афористично выразил Вольтер: «Я не разделяю ваших убеждений, но я отдам жизнь за то, чтобы вы могли их высказать».

Быть «европейцем» — значит, уметь жить вместе, уважая чужую приватность. Быть добрым соседом. Быть толерантным, учтивым, деликатным. Только и всего. Не просто не убивать иноверцев или инородцев, но даже в мыслях не позволять себе презирать и отвергать кого-либо лишь за то, что он какой-то другой. Это не значит не замечать человеческих различий, это значит принимать их как условие такого же отношения к себе.

Можно сказать и конкретнее, основываясь на революционной европейской традиции. Европейские революции — это ведь не только казни и козни, это кардинальное изменение ментальности. Может быть, в этом главное их истори-

ческое оправдание — утверждение в сознании новых принципов сосуществования: liberte, egalite, fraternite — свобода, равенство, братство.

А точнее так: свобода-равенство-братство. Потому что важно, что эти ценности взяты в единстве и нераздельности. В этом и состоит их ценность, их европейскость. Взятые в единстве, они уравновешивают друг друга, полагая себе разумные пределы, обеспечивают необходимую опору для строительства. Взятые порознь, эти лозунги превращаются в социальные риски. Недавняя конфронтация капитализма и социализма наглядно показала, что происходит, когда общество уклоняется в какую-нибудь крайность.

Скажем, свобода. Сладкое слово, славное дело. Но что такое свобода без границ? Джунгли. Борьба за власть, за кость, за жизнь.

Так же и равенство, понятое как самоцель и поднятое как знамя. Как тут обойтись без насилия? Надо же как-то нейтрализовать природное неравенство. Богатых сделать бедными (это же проще, чем наоборот). Устранить сословия, упразднить касты. Спросите, а как же быть с умными, свободными, гениальными?.. Тоже несложно. Надо поставить над ними дурака — и все уравняются.

Братство? Замечательный принцип! Но заметьте и то, как легко, когда нет других опор, братья становятся братками, их отношения — мафией, а социум — системой семейных кланов.

Так что провозгласить европейские ценности куда легче, чем осуществить. Но осуществлять придется. Потому что это не просто лозунги — это реальность социальных инстинктов. Их можно подавить, как это и делалось всегда, но их нельзя нейтрализовать, рано или поздно они проявятся, и чем сильнее они задавлены, тем мощнее социальный взрыв.

«Европейский национализм»

Национально-патриотические движения дискредитировали себя ксенофобскими высказываниями, расистской аргументацией, радикализмом и шовинизмом. Но если не отождествлять все движение с его радикальной частью и попытаться уяснить объективные причины его возникновения, то придется признать, что в глубинах этих выступлений, обычно политизированных и управляемых, есть нечто стихийное, самопроизвольное, природное — инстинкт народного самосохранения. Это он, могучий, пробуждаясь, побуждает к освобождению от колониальной или какой-либо иной зависимости. Национальному лидеру остается только в этот момент, как опытному серфингисту, оказаться на гребне народного гнева.

И вот нация обрела государственность и независимость. Отделилась от соседей границами, ввела свою валюту и языковые ограничения, вооружилась и воодушевилась. Кто решится теперь ей угрожать? Такая угроза есть, и она серьезнее, чем соседи. Она глобальна и тотальна. Она неотвратима, как лавина, потому что процесс уже пошел. Эта угроза — исчезновение наций.

Само понятие «нация» становится все более условным. Англичанин, получивший гражданство США, становится американцем. Русский, живущий на Украине, именуется украинцем. Писатель, не важно какой национальности, пишу-

щий по-русски, считается русским писателем. Более того, согласно новейшим представлениям, человек принадлежит той нации, с которой себя идентифицирует. Нация становится корпорацией, в нее можно войти, можно выйти. Свободный выбор свободного человека. В перспективе — свободное мировое безнациональное сообщество. О нем как о завтрашней реальности дружно пишут фантасты, адаптируют наше архаичное сознание. И вдруг какие-то инстинкты...

Человек разумный, скорее всего, пренебрежет ими. Но человек еще более разумный задумается. Что-то в них все же есть, в инстинктах, предусмотренных на те случаи, когда разум может не поспеть или чего-то не понять. Рука, рефлекторно отдернутая и только оттого не оторванная. Мать, знающая, что с ее ребенком беда. Ревность, реагирующая даже на невидимые признаки семейных разрывов. Ностальгия, реагирующая на разлуку с родиной...

А может, можно как-нибудь совместить интеллект и инстинкты — «европейские» и «националистические» ценности? Возможен ли респектабельный, корректный, европейский национализм? Положительный имидж — это ведь тоже европейская ценность, и еще какая.

Попробуем примерить респектабельные европонятия на самобытный корпус национальных интенций.

Свобода. Что может быть желаннее для истинного националиста? Это его главная цель, а нередко и единственная, объединяющая все другие. И нужно еще посмотреть, откуда эта ценность в европейской сокровищнице, — не завоевание ли она национальных освободительных войн?

Равенство. А вот на этот пароль ответ не всегда находится, и дверь в европейский клуб для наиболее рьяных патриотов резко захлопывается. Выяснять, чья родина всех роднее, всех краше и всех выше, там не принято. Потому что если начнется такое выяснение, то миром оно не кончится.

Братство. Это еще труднее. Потому что накопленный веками негатив в отношении в основном кого? — Соседей. — А соседи, если смотреть в корни, в генеалогию, это в основном кто? — Братья, кто же еще. Например, евреи и арабы, потомки ветхозаветных Исаака и Измаила. Или, например, потомки римлян, потомки германцев... Не говоря уже о русских и украинцах... И чем глубже смотришь, тем больше родни находится. В конце концов оказывается, что всякий раз, поднимая на кого-нибудь руку, мы поднимаем руку на брата.

Тогда в чем же вопрос? Поднимать или пожимать руки? Это вопрос?

Можем не напрягаться. Человечество уже давно интуитивно нашло на него ответы. Не иначе как из чувства самосохранения.

Во-первых, искусство. Величайший трансформатор человеческой энергии. Все пламенные и взрывоопасные призывы, чреватые мировым пожаром, оно искусно преобразует в виртуальные миры, где и происходит все ужасное, что могло бы произойти в реальном мире. Там можно сколь угодно широко и глубоко изливаться в своих патриотических чувствах — никого это не возмутит, любая гипербола будет воспринята фигурально, эстетически, и любые «uber alles» будут звучать мило и безобидно — как «моя мама лучше всех!»

Во-вторых, спорт. Утверждаешь, что твоя нация быстрее, выше, сильнее? Докажи. Выходи на ринг, на корт, на стадион. Садись за штурвал, за пульт, за шахматную доску. И мир увидит, какая нация на что способна. И никаких войн.

Спортивные игры — великая школа патриотизма, но неагрессивного, мирного, мирового. Это хорошо понимал инициатор современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен, написавший как раз накануне Первой мировой войны «Оду спорту»:

О спорт! Ты — мир!
Ты устанавливаешь хорошие, добрые, дружественные отношения между народами.
Ты — согласие.
Ты сближаешь людей, жаждущих единства.
Ты учишь разноязыкую, разноплеменную молодежь уважать друг друга.
Ты — источник благородного, мирного, дружеского соревнования.
Ты собираешь молодость — наше будущее, нашу надежду — под свои мирные знамена.
О спорт!
Ты — мир![1]

«Славянский союз»

Если послушать отдельные голоса, из которых складывается vox populi, нельзя не изумиться, насколько они разные и как редко среди них встречаются действительно мудрые, глубокие, взвешенные суждения. Откуда же итоговая народная «мудрость»? И мудрость ли? Умные политтехнологи давно поняли, что не логика и не информация по-настоящему взрывают массы, а нечто иррациональное, идущее из глубин, уносящее всех в едином потоке — свобода, равенство, братство. Проверено не раз — работает.

Маэстро знает, какие струны есть в душе. Есть высокие, есть низкие, есть откровенные, а есть глубоко сокровенные. Играя на них, он вызывает то ликование, то протесты, выкликает на площади, на экраны, на форумы. И когда публика, демонстрируя, что она res publica, дружно скандирует, голосует или аплодирует, он говорит одобрительно: «Народ мудр». И попробуйте ему возразить.

Но есть и предел его власти — сам инструмент. Народ. Или, как его некогда называли, обращаясь к его инструментальной сути, — язык. Благодаря ему могут исполняться и великие, и вульгарные, и попсовые вещи. Но — прислушайтесь. Язык и сам что-то знает, и он не безмолвствует, когда на нем пытаются вещать.

Язык знает, что такое свобода. Он сопротивляется и фальшивит, когда его запрещают или когда его насильно запихивают в рот. Он расцветает и приносит плоды только тогда, когда свободен.

Язык знает, что такое равенство. Какой бы он ни был, органичный или мозаичный, мелодичный или пластичный, сложный или простой, богатый или бедный, он достаточен для своего народа, для полноценного человеческого бытия, и в этом смысле все языки равны. Каков народ, таков и язык.

Наконец, язык знает, что такое братство, родство. Есть у него близкие родственники, есть дальние, а если смотреть в самый корень мирового языкового древа, то все языки — братья, происходящие от одного праязыка.

---

[1] Перевод с франц. В. Новоскольцева.

Европейские ценности — это способ сохранения языков и народов. Потому что в условиях экономической и культурной глобализации многоязыкость воспринимается как атавизм, затрудняющий процессы интеграции и коммуникации. Можно пафосно говорить о бессмертии народа, о его беспримерном языке как залоге этого бессмертия, не желая слышать о том, сколько народов уже исчезло с лица земли и сколько языков уже мертвы. Но в прежние времена не было такой интенсивной интеграции, такой всеобщей универсализации и унификации. Так что нетрудно предвидеть, что ожидает языки уже в обозримом будущем.

Русский язык, несмотря на стремительную технологическую экспансию английского, имеет шансы выжить. Во-первых, международный статус. Во-вторых, необычайный творческий потенциал, навсегда явленный классической русской литературой.

Украинский язык, судя по всему, обречен на новые страдания, причем не сравнимые с теми, что были прежде. Если прежде ему приходилось выживать в тесном соседстве с родственными языками, в основном с русским и польским, испытывая их влияния, но и тоже влияя, обнажая корневые смыслы, обнаруживая этимологические аллюзии и самовозрождаясь в таком общении, то как выжить теперь, в ситуации, когда ему предстоит конкурировать с интернациональными языками? Остается одна надежда — национальный ренессанс, притом такой неимоверный, который бы побудил потрясенную Европу перейти на украинский.

Другие славянские языки, даже польский, чешский или сербский, озарявшие в последние десятилетия читающий мир яркими эстетическими вспышками (Ч. Милош, М. Кундера, М. Павич и др.), тоже оказываются в лингво-культурной изоляции, усугубляемой разрывом или ослаблением межславянских контактов.

Все просто. Обыкновенный языковой дарвинизм. Актуальными останутся только языки межнационального общения. Все прочие, становясь постепенно реликтовыми, будут заноситься в красные книги, в хартии, браться под защиту, но мы же знаем, чем это заканчивается.

Впрочем, среди прочих, возможно, уцелеют те национальные языки, которые сумеют объединиться в языковые союзы. В пределах культурно-языкового ареала лингвистические различия — не помеха, а наоборот, духовно-нравственная взаимоподдержка и креативно-когнитивное взаимообогащение. При близкородственном общении богаче историческая память, понятнее закономерности этногенеза, яснее национальные особенности. Сохранятся ли отдельные языки в пределах этого ареала или образуют какой-то общий — предсказать сложно, но, как бы ни сложилось, это лучше, чем полное исчезновение.

Для славянских народов таким международным объединением, не обязательно межгосударственным, мог бы стать Славянский союз. Это нелегко. Это почти невыполнимо после всего, что произошло между славянами. Но мало ли что бывает в семье. На то и семья, чтобы находить общий язык.

Нужно различать — историю, которая творится, и природу, которая сотворена. Природа содержит предопределенность, которую история не всегда соблюдает, преследуя иные цели и проектируя всевозможные социальные утопии

и аномалии. Самая очевидная природная предопределенность — родство. Родство — как родовое, природное, порожденное происхождением. Родство во всех проявлениях — и телесных, и духовных. Так что языковое родство — это не формальное основание, а глубокая и прочная содержательная основа.

Славянский союз — это такая же культурно-историческая необходимость, как и Евросоюз. Такая же самозащитная модель. Может быть, менее организованная, но зато более органичная.

* * *

Рассуждая о мире, о народах, о человеке, мы многого не знаем. Может быть, главного. Не знаем, хотя и догадываемся, насколько глубоко и таинственно взаимосвязаны эти явления, насколько они едины. Нам кажется, что для того, чтобы изменить мир, нужно с ним что-то сделать. Но, может, для того, чтобы мир изменился, достаточно измениться самим?

Александр Джумаев

Между «большой Европой» и «большим Востоком»

Культура Центральной Азии в меняющемся мире

«Но довольно ныне заниматься зрелищем великого театра вселенной, на котором чудесная быстрина сцен весьма разительно вещает, что мир преходит...».

Записки сенатора И.В. Лопухина, XVIII век

Интеграция Европы и культурная ситуация в постсоветской Центральной Азии

Распад СССР приостановил пагубную саморефлексию европейской интеллектуальной элиты, ее «философские стоны» о собственной культурной обреченности. Приостановил он, как кажется, и ощущение распада и деградации европейских культурных ценностей у широкого европейского сообщества. Одновременно — придал новый импульс и новую энергию развитию идеи европейского культурного единства, временами перерастающей в неистребимый культурный европоцентризм. Идеи, способной оплодотворить процесс глобальной культурной взаимосвязи и культурного единения раздираемого противоречиями человечества. В этом иногда находят «утешительный» смысл трагедии распада СССР. Обрекая себя на гибель, оживить обреченно заболевшего.

Конечно, исцелить заболевшего — дело святое. Тем более когда мы его по-своему любим, чувствуем влечение к его образу жизни, и особенно — свою давнюю причастность к его культурным ценностям, к культуре в целом. Ведь и воспитаны были советской системой на лучших европейских и русских (в нашем контексте — европейских) культурных образцах — литературе, музыке, живописи, театре, кино... Классика была доступна и усваивалась почти вся, а из современного искусства — искусства XX века — отбирались, хотя и дозировано, но не худшие образцы. Если что и не попадало (конечно, к нам в регион, а не в Москву), так что тут сказать. Приходит на память старая народная мудрость: мак три года не родил, а голода не было. (Правда, теперь есть страны, где и один неурожайный год маковой культуры приведет, пожалуй, к голоду.) И так — начиная с самого детства, потом в школе, а потом в институте... Иной раз кажется,

что узнавали о европейской культуре не меньше, чем в самой Европе. По широте и глубине охвата классических культурных явлений — точно лучше. Даже в ущерб своей родной традиционной национальной культуре. Которую не знали в полном объеме, стыдились, принижали и критиковали ее. Такой парадокс.

Но и для «цивилизованного мира» распад СССР обошелся недешево. И он пострадал. Но там речь ведут больше и прежде всего о материальных издержках и затратах. Их так много, что самим нам этого никогда не узнать и не подсчитать. Но можно послушать других — тамошних информированных людей. Как-то в начале 2000-х оказался в Хороге (столице Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана) с одним из «больших советников» по вопросам культуры известного международного фонда. Двигаясь по главной улице города, мы остановились возле небольшого памятника — бюста В.И. Ленину прямо у дороги. И здесь «большой советник», положив в умилении руку на голову Ленина, патетически произнес: «Вы даже не представляете, сколько нам это стоило, сколько миллиардов долларов было затрачено, чтобы ускорить развал этой империи!»

Так что «Великий больной» ожил, поднялся и приступил в свою очередь к «исцелению» других по всему свету, в том числе и нас. Может быть, даже в благодарность за спасение с нашей стороны, за принесенную нами жертву. Европейский культурный опыт — опыт культурного строительства и культуртрегерства — имеет свои существенные отличия от советского культурного опыта. Особенно в республиках советской Средней Азии, на Советском Востоке. Не раз доводилось слышать: «то, что было сделано с традиционной культурой, больше не должно повториться», «мы все это исправим и сделаем по-другому» и т.п. Что было сделано раньше и как теперь «по-другому» — вопросы большие и серьезные. За результатами различных видов практической культурной деятельности стоит разное понимание задач и целей культурного строительства. Попытаемся коротко охарактеризовать эти культурные «опыты» — в Европе, Центральной Азии и в странах мусульманского Востока. Сравнивая их друг с другом, будем опираться большей частью на близкие нам по профилю основных (музыковедческих) интересов примеры из музыкальной культуры. И предупредим, что тема это огромная и никак не охватная в одной статье, а наше видение — во многом личное, субъективное.

Начиная со второй половины 1990-х годов, и особенно с начала нового тысячелетия, в Европе развернулась огромная, ни с чем не сопоставимая в прошлом деятельность по культурной трансформации в рамках новой европейской реальности. Десятки, если не сотни больших и малых правительственных (государственных), общественных и частных культурных организаций, различных фондов и центров синхронно, как будто по мановению дирижерской палочки, приступили к работе по формированию общего культурного пространства новой Европы. Нужно было заново открыть и осознать общие европейские культурные ценности, европейские культурные корни, сделать их частью сознания всех входящих в новую Европу стран; выработать понятный для всех общий культурный язык (язык культуры) и многое другое. А в конечном итоге — сформировать общеевропейскую культурную идентичность, на базе которой только и возможно сохранить целостность этого региона мира. А иначе все рассыплется как карточный домик. Процесс этот еще далеко не завершен и, как показывает время, в нем могут быть неожиданные повороты, возвратные движения и жест-

кие сбои. Но уже создана достаточно емкая концепция единого европейского культурного пространства, она хорошо осознается и принимается в целом, по крайней мере, интеллектуальной элитой «большой Европы».

В основном такая линия мыслится как часть мирового процесса культурной глобализации. Прямой придаток экономической глобализации. Развиваясь, она постепенно охватывает и вовлекает в свою орбиту и другие страны мирового сообщества. Но исцелит ли она самих европейцев от культурного пессимизма и скепсиса — сказать трудно. Европа — гигантское сосредоточение культурных ценностей со всего мира, огромное в своем культурном многообразии пространство, и оно трудно поддается обобщающим наблюдениям. Можно легко впасть в ошибку, обобщая то или иное частное наблюдение до уровня некой общей тенденции. Однажды спросил современного немецкого композитора, можно ли выделить какие-то ведущие стили в европейском композитор-ском творчестве. Удивляясь такой постановке вопроса, он ответил: каждый композитор — это свой стиль, каждый сам по себе. Этот частный пример, как кажется, во многом отражает суть европейского культурного состояния — его стремления к творческой неповторимости.

В культурном отношении в Европе есть все, есть познавательно-исследовательский интерес ко всему, что представляют самые различные культуры мира, но, разумеется, в разных пропорциях. Картина современной европейской культуры видится как некая «мешанина» стилей и свободных творческих самовыражений человека. Не только европейского, но и любого, осевшего или оказавшегося в Европе. Невольно на память приходит старая персидская поговорка, когда говорили о сумятице и неразберихе: «Шахри Фаранг аст аз хаме ранг аст» — «Как европейский город — все цвета перемешаны». Но в том-то и дело, что никакой неразберихи там нет, все благопристойно организовано, и все — «под контролем». В этом смысле Европа, так же как и США, формирует на своих пространствах «параллельное» мировое культурное пространство. Прообраз будущего мира в миниатюре. И такой подход поощряется и поддерживается. Русский владелец пельменной на одной из станций метро в Берлине с упоением рассказывал мне о своем проекте строительства в Германии гигантского парка, в котором будет воссоздан в некоем масштабе весь бывший Советский Союз. Там будут все республики с их традиционными культурами, музыкой и танцами, обрядами и кухней и т.п. Только что, видимо, без первых секретарей. Это туристическое ноу-хау как будто бы получило даже одобрение на разных уровнях тамошних властей. Интерес к культурам новых государств Центральной Азии также достаточно высок. Европа как бы наверстывает упущенные в советское время возможности. Многообразное культурное сотрудничество и культурное содействие дополняется фронтальным исследовательским интересом. За двадцать лет после распада СССР появились тысячи исследований о Центральной Азии, выполненные как самими европейскими учеными, так и в содружестве с учеными наших стран.

Тогда возникает вопрос: а чего там, в Европе, нет? Похоже, нет там ценностной иерархической шкалы национальных культурных традиций. Во всяком случае, в теории, на уровне концептуального построения (в жизни, конечно, может складываться по-разному). Все они — от «малой» и до «великой» — равноценны так же, как виды и формы художественного творчества. У нас все по-другому — «это наверху, а это внизу», это «свое, родное», а это — «привнесен-

ное», но будем надеяться, что рано или поздно они уравняются в «своих правах», времени-то прошло совсем немного.

Но есть ли вообще какие-то стабильные факторы в «море мобильности» и изменчивости европейской культуры? Самый устойчиво-стабильный и неизменный статус в культурной среде имеет только идея «проекта» — как придумать, обосновать и осуществить культурный проект. Где найти партнеров по проекту и источники финансирования. Проект — это и форма культурной жизни, и достаточно успешный способ выживания культуры в Европе. И значительная помощь «культурным партнерам» в самых разных странах мира, в том числе и в постсоветской Центральной Азии, откуда в последние два десятилетия «рекрутируется» немало участников — литераторов, художников, музыкантов, искусствоведов... Культурная «проектная мощность» Европы даже в период экономического спада остается весьма существенной. Отсюда — создание огромных и разветвленных культурно-информационных сетей. Отсюда и широкое распространение в культуре тренинга (мастер-класса) — великого евро-американского изобретения. Тренинг в течение недели, двухдневный тренинг, тренинг в течение часа... Им поддерживают творческого человека в хорошей форме, не дают ему расслабиться. «Учиться, учиться и еще раз учиться». И учиться на протяжении всей жизни. За последние два десятилетия столько было проведено тренингов и всяких интерактивных курсов в странах Центральной Азии культуртрегерами из Европы и США — не сосчитать. Но польза, разумеется, есть. Научились считать и планировать те, кому это надо было. Помню расхожую фразу в центральноазиатской культурной среде второй половины 90-х — начала 2000-х: «А ты бюджет (или бизнес-план) составить можешь?»

Таким образом, отказываясь от обобщающих заключений, можно лишь констатировать отдельные устойчивые признаки по отдельным европейским странам. Но и они переменчивы — Европа динамична в своем развитии. Понять Европу, при всем изобилии и даже избыточности информации, непросто. Особенно если находишься в Центральной Азии. Проще и надежней апеллировать к живому опыту ее коренных жителей — европейцев, связанных с культурой и деятельностью культурных организаций. Конечно, это создает субъективное видение, может быть, даже расходящееся с наблюдениями и выводами ученых-аналитиков, изложенными в научных публикациях. Но в то же время имеет некую ценность как частное свидетельство «изнутри», своего рода аналог популярной ныне «устной истории».

Неоднократно доводилось беседовать с европейскими культурными деятелями по разным проблемам культурного развития и в Европе, и в Центральной Азии. Понятное дело, здесь существует огромный разброс мнений. Но можно выделить и некие устойчивые точки зрения. Вот, например, довольно типичные «тезисы», представляющие пессимистическое видение культурной и общей ситуации в Европе (беседа состоялась три года назад с деятелем культуры — культурным менеджером в Голландии): Европа идет по нисходящей линии, везде чувствуется упадок и кризис. Причем кризис не только экономический, но прежде всего духовный. Люди стали индифферентными, равнодушными ко всему. Избыток информации, огромные возможности выбора. Но человек не делает выбора, он равнодушен. Люди не дают оценок тем или иным явлениям искусства и культуры, они не способны оценить, что там хорошо, а что плохо, просто смотрят. На всем чувствуется огромное негативное влияние американ-

ской культуры. Учителя уходят из школ, не хотят работать с детьми, потому что дети стали невыносимыми, грубыми, своевольными. Большинство давно уже не верит в Бога. В обществе преобладают материальные интересы, только выгода и прибыль. Сложилось негативное отношение к русским. В Голландии есть даже специальные туристические поездки, где турагентства в качестве дополнительной приманки сообщают, что в местах отдыха «не будет русских» («Russian free tour»). Русские ведут себя вызывающе, не считаются с нашими культурными традициями, правилами и законами. В пессимизм и депрессию ввергают экологические проблемы. Сильно возросло число больных онкологическими заболеваниями, они охватывают разные возрастные группы населения. Продукты напичканы химикатами. Огромные потоки автомобильного транспорта, которые невозможно убавить или урегулировать. Если сегодня рядом с автомобильной дорогой построить еще одну дополнительную трассу, то на следующий день она уже будет заполнена потоком новых машин.

Разумеется, существует и оптимистическое видение культурной ситуации, отдельные признаки которого можно также перечислить (они обобщены на основе бесед и собственных наблюдений во время пребывания в разных странах Европы): в Европе самые различные формы и виды культуры, мировые культурные ценности доступны разным слоям населения. В культурной жизни европейских городов постоянно присутствует широкая панорама мирового искусства. Здесь проводятся идеи и практика мультикультурализма. Достигнута полная свобода творческого самовыражения, свобода перемещения в поисках творческих идей и сюжетов по всему европейскому пространству и по большинству стран мира. Отсутствуют какая-либо цензура и контроль со стороны каких-либо организаций. Имеется возможность получения финансирования для осуществления творческих проектов из различных источников на грантовой основе; возможность создания творческих объединений и групп по интересам не только «национального», но и широкого международного состава и многое другое.

В то же время не всем европейцам понятна политика, когда рядом с заботой об общеевропейской культурной идентичности развивается линия на оживление и достраивание национальных культурных идентичностей в странах посткоммунистической Восточной Европы. Она поддерживается культурными общественными и правительственными организациями. Считается, что в социалистическое время в этих странах из-за политики интернационализма (для многих деятелей культуры в Европе и поныне слова «интернационализм» и «дружба народов» — ругательные) сильно пострадало национальное самосознание. И чтобы войти на равных в общеевропейское культурное пространство, нужно подтянуть до должного уровня собственную национальную культурную идентичность. До какого — точно неизвестно, да и вряд ли можно определить. Сумма этих идентичностей, скрепленная общими европейскими культурными ценностями, и составит новое культурное качество объединенной Европы. На данном этапе национальные идентичности и общеевропейская идентичность еще серьезно не противоречат друг другу и не вступают в противостояние. Во всяком случае, «прилюдно». Но не получится ли в будущем, что за счет средств, «отпущенных» на культурное объединение, будут взращены местные национализмы? И не повторится ли печальный опыт советской культурной политики, стимулировавшей в последние два-три десятилетия расцвет национальных культур и в результате способствовавшей разрушению единого советского культурного

пространства? Бурному всплеску «национальных идентичностей» с охватом практически всей гуманитарной сферы?

Еще одно, возможно, самое значимое направление в европейской культурной деятельности, сложившееся в 90-е годы, — развитие навыков осуществления культурной политики и связанной с ней экономики культуры, направление, которое стало активно осваиваться в творческой среде по всему постсоциалистическому и постсоветскому миру. Это своего рода культурный прагматизм, политико-экономическая составляющая культурного процесса. Первое время выражение «культурная политика» сильно резало слух. Уж больно прагматично по отношению к творческому процессу, даже в сравнении с советской культурной политикой. Казалось странным, что культурный процесс можно рационализировать, прогнозировать и управлять им. Для нашего региона смысл был в том, чтобы понятие «культурная политика» сначала, как говорили аналитики, вбросить в виде «дискурса» в общественное сознание, пусть там немного «повращается», а потом уже — сделать обязательной частью государственной политики. Развитию этого направления было уделено много внимания в регионе — проводились многочисленные семинары, конференции, круглые столы, тренинги, которые в основном имели практическую направленность. Нужно было научить наших культурных деятелей влиять на проводимую в своих странах культурную политику и даже по возможности определять ее, корректировать. Со временем все как-то попривыкли и к этому новшеству, и оно, как кажется, в основном так и осталось на уровне дискурса. Влиять на культурную политику и устанавливать диалог с властными структурами, ответственными за культуру, — дело очень сложное. Не только в центральноазиатском регионе, но даже и в России — все еще чрезвычайно богатой интеллектуальными силами стране. И там и тут хозяин положения чиновник. Как говорилось в старые времена, «кадры решают все». Руководящие кадры, разумеется. Вот они и решают, что отрезать, а что нарастить и соединить, что умертвить, а что оживить, поднять из небытия. И не удивительно, особенно для нас: культура на данном этапе — это мощный рычаг государственно-национального строительства и формирования положительного образа страны на международной арене. А положительный образ — это экономика, приток инвестиций.

Другая задача — формирование нового вида профессиональной деятельности в культуре: культурных менеджеров, или арт-менеджеров. В конце 90-х арт-менеджмент выделился уже в новое самостоятельное дисциплинарное направление. Сотни книг и тысячи статей, специальные дисциплины в учебных заведениях узаконили это новое явление в сфере культуры. Именно арт-менеджмент вкупе с культурной политикой должны, по замыслу европейских культурологов и специалистов в области современного искусства, обеспечить на разных уровнях выживание культуры в условиях современной рыночной экономики. В особенности при отсутствии (или недостаточности) государственного финансирования и патронажа культуры. В условиях полной творческой свободы.

Разновидность арт-менеджера на поле конкретной деятельности — это куратор-искусствовед. Куратор — выразитель нового опыта творческой свободы. И он уже стал привычной фигурой в культуре большинства центральноазиатских стран. Наши кураторы слегка двинулись и в мировое культурное пространство, то там, то тут представляя культуру Центральной Азии. Хотя временами кажется, что кураторы нередко воспроизводят в новой упаковке «старый опыт»,

впрочем, не осознавая того сами. Ставя себя вровень с творческими людьми, они навязывают им свое понимание путей развития искусства, форм и стилей через свои «оригинальные» концепции проектов. А художники, естественно, уже под них должны создавать свои произведения. Если, конечно, хотят «попасть в проект». Хорошо, когда это касается скоротечных современных форм искусства и мало затрагивает традиционную культуру. А иначе последняя обречена на подлинную «кураторскую кастрацию». Случаи имеются. Невольно возникает мысль о возможных «производных» от куратора — «курачество», «курочить». Но не будем порочить профессию в целом, благодаря кураторам много интересного происходит теперь в художественной жизни наших азиатских стран. А потом: куратор куратору рознь.

Разброс мнений и практик в Европе может завести в тупик «жителя Центральной Азии» — деятеля культуры, пытающегося на их основе дать оценку культурной политике и культурной ситуации в собственной стране. Вызвать у него состояние подавленности, удрученности и пессимизма по формуле — «как нам еще до них далеко». (Слава богу, что никто не призывает догнать и перегнать.) Но они нередко заводят в тупик и самих европейских экспертов при попытке анализа культурной ситуации в Центральной Азии, когда они сознательно или неосознанно опираются на культурные реалии своего (европейского) региона или американский опыт. И тоже впадают в уныние, но уже по другой причине: «какая богатая культура, но совсем нет рынка», то есть, грубо говоря, не умеют они продавать свое искусство и зарабатывать на этом деньги.

И вновь о нашем единстве

В отличие от ситуации в Европе, в постсоветской Центральной Азии продолжается однолинейный процесс достраивания «национальных самосознаний» и национально-государственного строительства. Другие идеи, когда-то озвученные и сформулированные, незаметно ушли в тень. Там они и остаются до времени, выражаясь больше как застольные благопожелания и кулуарные откровения политиков. Они как бы отодвинуты политиками до лучших времен. Но придут ли эти времена? Сказано было поэтом: «Времени не будет помириться» (Булат Окуджава). Причины, видимо, не только в отсутствии волевых политических усилий, но и в хронически неразрешимых старых региональных проблемах. А к ним постоянно прибавляются новые, еще более сложные. Похоже, что и их решение также откладывается до лучших времен. А что тогда говорить об общем культурном пространстве. Совершенно естественно, что другого в нынешней ситуации, кроме как национально-государственное строительство, не дано. Это самый надежный и, по-видимому, пока что единственный инструмент становления (а для кого-то восстановления) в новом мире. Не только для Центральной Азии, но и для большей части постсоветского пространства. В этом, как полагают политики, — и есть главный смысл исторического процесса и прогресса тоже. В этом, добавим, и спасение в условиях размывающей все берега и границы глобализации. С глобализацией можно «говорить» на равных, пожинать ее положительные плоды и нейтрализовать или ослаблять негативные, находясь на твердых основаниях национальной государственности. Она (глоба-

лизация) и замыслена-то была, и исходит из государств — лидеров мировой экономики и стабильного развития.

Не противоречит ли этим «национальным строительствам» или, более того, не угрожает ли им региональное культурное единство? Не только не противоречит, но и выступает как бы «вторым эшелоном» защиты. Нравится нам это или нет, хотим мы того или нет, но мы уже давно и основательно воспринимаемся в мире как региональная культурная общность. Сплошь и рядом в России о нас говорят как об «азиатах», и в негативном, и в позитивном смысле, а в Европе и США — как о «постсоветской Центральной Азии» (post-Soviet Central Asia) и тоже как об «азиатах». А не так давно еще говорили как о «русских». Помнится, в начале 90-х при пересечении границ в европейских паспортных пунктах и таможнях повторялась забавная ситуация. Спрашивают: откуда? — Отвечаю: из Узбекистана. — А-а, Пакистан? — Нет, говорю, Узбекистан. — А-а, Афганистан? — Да нет же, говорю, бывший Советский Союз, рядом с Афганистаном. — А-а, теперь понятно... Русский (Russian).

Современный культурный и художественный процесс может представлять себя и с конкретно национальных, и с региональных позиций. Что же касается истории, то здесь в большей степени преобладает региональное видение (будь-то «искусство Центральной Азии», археологическое наследие ЦА и т.п. во множестве проявлений). Невольно возникает мысль о региональной культурной солидарности как более-менее устойчивом «средстве защиты», а не ситуативном явлении, по необходимости в экстремальных ситуациях. Не приходится сомневаться в наличии европейской солидарности (особенно западноевропейской) при всех различиях внутри и несовпадении точек зрения. Так же, как и латиноамериканской, в определенных пределах. Трагический пример противоположного свойства — поэтапного разрушения стран и государств — показывает так называемый «арабский мир».

Странно в этой ситуации, что региональная культурная целостность выпадает из поля зрения политиков государств Центральной Азии. Говорится о региональной безопасности, энергетической безопасности, экологической безопасности и т.д., но не о региональной культурной целостности, культурном единстве или, скажем, региональной культурной безопасности. Нас больше объединяют и подталкивают к диалогу такие общие острые проблемы, как, например, водные ресурсы или энергетика. Фактор же общей культуры, общего культурного пространства не принимается в расчет, как нечто неизмеримое и аморфное. Но когда речь идет об одном народе — тут вопросов нет. Повсеместно взят курс на закрепление и усиление собственных национальных культурных различий, национальной самобытности, национальных историй, национальной исключительности. На разъединение работает и целый ряд хронических синдромов — синдром «имперского мышления», «возрождения СССР в том или ином виде», синдром «37 года и массовых репрессий» и др. В отличие от объединенной Европы, никакой работы по созданию концепции региональной — центральноазиатской — культурной идентичности и ее продвижению в жизнь не проводится. Нет у нее значимой общественной и государственной поддержки. Когда-то это должно будет привести к непредсказуемым (или предсказуемым?) и печальным последствиям. Когда — это вопрос времени.

Почему получилось такое отчуждение властных (а теперь и не только властных) структур от идеи единого центральноазиатского культурного про-

странства? Кроме уже названных много и других причин — внешних, внутренних, объективных, субъективных. Говорить в нынешней ситуации о каких-то формах политического объединения в Центральной Азии не приходится. Но общее культурное пространство, общее культурное наследие и культурную идентичность можно было бы поддерживать на постоянной основе. Одна известная шведская ученая — политолог и исследовательница Центральной Азии — как-то в сердцах посетовала (а нужно знать, что в Европе немало тех, кого искренне огорчает наша разобщенность): «Я не совсем понимаю, почему Центральная Азия пошла "африканским путем"? Ведь был же альтернативный путь!» Конечно, «африканский путь» — некая метафора, и исследовательница подразумевала под ним не только нашу странную разобщенность, но и кое-что другое, в том числе, по-видимому, коррумпированность властных структур сверху донизу. А тут еще «политическая турбулентность» в Центральной Азии — постоянные колебания и изменчивость во взаимоотношениях неизменных субъектов политического процесса, что напрямую влияет на культурные связи и взаимоотношения между государствами региона. То они на короткое время улучшаются, а то ухудшаются. То раздаются негласные команды (о них можно только догадываться) — «открыть-открыть», а то — «перекрыть».

На этом неблагоприятном общерегиональном культурном фоне удивительным «диссонансом» звучит частная инициатива известного казахского культуролога Мурата Мухтаровича Ауэзова. Она заставляет о многом задуматься. Вот уже несколько лет Мурат Ауэзов и возглавляемый им «Фонд Мухтара Ауэзова» при поддержке других организаций в Казахстане проводят встречи центральноазиатской интеллигенции — «Беседы на Шелковом пути». Последняя такая встреча, прошедшая в Алма-Ате в конце ноября 2012 г., была посвящена теме «Центральноазиатская историко-культурная самоидентификация». На встречах у Ауэзова не бывает навязанной и жесткой концепции и установленной программы действий, не преследуется некая главная и обязательная цель. Понимание через общение — в этом, наверное, суть этих встреч. И найденная форма близка вековым традициям центральноазиатского культурного общения. Беседа — сухбат (в разных национально-произносительных вариантах) — это и форма сокровенной передачи духовного сакрального знания. Беседа не совместима с тренингом и его интерактивностью, но она и не отменяет его, не претендует на исключительность. Беседа медитативна, предполагает свободное течение мысли, не ограниченное рамками чередующихся «проблем» под руководством «куратора». Вспомнилось даже, как долгое время европейские интеллектуалы — культурологи и арт-менеджеры — не могли понять и принять нашу «азиатскую приверженность» (или «евразийскую приверженность», присущую и русским) к общению на наших культурных мероприятиях, на их взгляд, общению совершенно бесцельному и бесполезному. Тогда как было бы лучше, с их точки зрения, на этих встречах заняться практическими вопросами тренинга, файндрайзинга, арт-менеджмента и т.п.

Как совместить «наше» и «их»? И совместятся ли они, отражающие каждый свое мирочувствование и обобщенные до символов двух типов культур в одном пространстве («тренинг» — «сухбат»)? Или одно одолеет другое? Вероятнее всего, одолеет «евро-американский старший брат», с его прекрасной натренированностью и в силу все возрастающей для нас экономической необходимости. Культура будет спасена от «голодной смерти», но будут потеряны некоторые

ее сущностные доменные черты. А пока незримое и не объявленное противоборство медленно и неуклонно происходит в культурном пространстве Центральной Азии.

Скажут: а нужны ли эти связи вообще, если история распорядилась так, что мы движемся к разным целям и каждый самостоятельно? И действительно. Может быть, они нужны в большей степени поколению советского времени, это, так сказать, «поколенческая проблема»? И совсем не нужны молодому поколению Центральной Азии? Ведь оно выросло в новой исторической реальности — открытого во все стороны мирового культурного пространства и новых возможностей. Все новые государства Центральной Азии так или иначе самостоятельно и в целом успешно «интегрируются» в мировое культурное пространство. Но что понимать под «культурной интеграцией»? Это не только ставшие известными за пределами Центральной Азии творческие достижения наших мастеров, но и возможность обучаться в Европе и США, работать и жить там, если удастся устроиться. Что, собственно говоря, и наблюдается повсеместно в новых государствах Центральной Азии. С распадом СССР возникло «движение», которое по аналогии с дореволюционным явлением в парадигме «село — город» можно было бы назвать «отходничеством». Все наши «отходники», кто смог, конечно, устремились на «западные хлеба» — и за лучшей долей, и чтобы как-то выжить в условиях обнищания науки и культуры, разрушения научного и культурного потенциала. И конечно, чтобы реализовать свои творческие и научные планы, у кого они есть. Да и ныне, это не секрет, значительный процент образованной или, как теперь говорят, «продвинутой молодежи» в государствах Центральной Азии хотели бы жить и работать в США и странах Европы или же в России, и при первой возможности уезжают из своих стран. Причина та же — более привлекательный имидж этих стран и главное — возможность зарабатывать достойные деньги и жить более комфортно. Есть и причины социально-правового порядка, особенно остро ощущаемые молодыми людьми, только вступающими в большую жизнь и еще не столкнувшимися с ее «сюрпризами». Это — несовпадение между провозглашенными идеалами независимого развития и грубой реальностью, где действуют не законы, а понятия, коррупция и произвол. Столкнувшись с несправедливостью, молодое поколение должно делать выбор — оставаться и приспосабливаться к созданной «взрослыми дядями» системе или — не приспосабливаться и уехать пытать счастья в другие края.

Происходящее, хотя и с оговорками, можно отнести к одному из способов интеграции в мировое культурное пространство. Тривиальная «народная мудрость» периода «первоначального накопления капитала» в бывшем СССР гласила: «Красиво жить не запретишь». Понятно, мол, и законно стремление людей разбогатеть любым способом, чтобы хорошо пожить. Как и их стремление к перемене мест с той же целью улучшения условий своей жизни. Такая практика — не изобретение нового времени. Она наблюдалась веками, и на Западе, и на мусульманском Востоке. Столетиями в пределах мусульманского мира люди культуры и искусства перемещались от двора одного правителя к двору другого, из одного города в другой, из одной страны — в другую. Особенно в периоды крушения империй и государств. Правда, тогда все перемещения происходили в пределах единого цивилизационного пространства. Почему же сейчас это должно кого-то беспокоить? Это дело — сугубо частное. Но есть отличия в категориях «мигрантов». Миграция из стран региона людей рабочих профес-

сий обрекает последних на положение людей второго сорта в странах-работодательницах, им нередко приходится терпеть невероятные лишения ради заработка. А с другой стороны, как-то, хотя и временно, решается вопрос с безработицей, с устройством лишних рабочих рук на родине, снимается социальная напряженность, да и дополнительные немалые капиталы в валюте поступают в страну извне. Иначе с культурой. Здесь очевидны утраты, с трудом восполнимые или, скорее, невосполнимые. А добавьте к этому по сути дела самый настоящий исход русских, евреев и других народов в конце перестройки и во все последующие годы, да и по сей день, — и вы получите картину серьезного кадрового кризиса в культуре и науке почти всех государств Центральной Азии. Ее изменение в положительную сторону — длительный процесс.

Невольно или специально, но на протяжении многих лет почти во всех новых центральноазиатских государствах, да и практически почти по всему пространству бывшего СССР, велась политика ликвидации культуры и науки «как класса». Назвать это по-другому невозможно. Финансирование на уровне физического выживания, и то — через пень-колоду. Плюс к этому имитация чиновниками от культуры активной и бодрой деятельности — постоянные структурные изменения, трансформации, ломка сложившихся систем и насаждение часто совершенно бездарных и диких идей, заимствованных со стороны, так сказать, у «цивилизованного мира». Таким способом создавалась видимость соответствия «требованиям нового времени». А на самом деле — избавлялись от «лишних расходов» в бюджете, от «малоэффективных» (по их представлениям), не способных содержать самих себя структур. И не только. Экономически принуждая специалистов бросать науку и культуру ради заработка, заниматься «отходничеством», уезжать из страны, они вполне «демократически» избавлялись или радикально сокращали прослойку все еще организованных людей, способных объединяться и формулировать проблемы, анализировать культурную ситуацию и влиять на духовное и культурное состояние общества. Одним своим существованием как-то сдерживать его культурную деградацию. Был найден эффективный способ избавления — сознательно изменить социальную структуру (модель) общества, сохранившуюся от советского времени. С рабочим классом все ясно — он повсеместно упразднен за ненадобностью, превращен в люмпен-пролетариев и наемных работников. А вот с интеллигенцией — посложнее, она оказалась более живучей. Не хочет самоликвидироваться и все тут. Продолжает работать даже задарма, во имя самого культурного процесса, что ли. Кроет власть почти повсеместно, и в Центральной Азии, и в России, но дело свое не бросает. Да еще и сохраняет свои «корпоративные» связи по бывшему Союзу. Сохраняет, конечно, уже в остаточных формах, как некий вымирающий феномен советского поколения. Еще пытается советовать, как жить, как строить новое общество. Надоела уже. Особенно теперь, когда все так предельно ясно. Деньги — это наше все. Хватит воспитывать и просвещать народ. Зарабатывай, как можешь и как можно больше, и живи, разнообразя наслаждения. Вот и вся культура. На смену уже приходит новое поколение — «оплачиваемых интеллектуалов», знающих себе рыночную цену.

Вымирающая и трансформированная (гламуризованная) культура заставляет и помянуть добрым словом старые советские школы по разным видам искусства в советской Центральной Азии, в создание и деятельность которых внесли огромный и бескорыстный вклад представители русской и российской

гуманитарной интеллигенции. Через них, как и по другим каналам, шло приобщение к русской и европейской культурной традиции. Благодаря этим школам мы имеем теперь большое количество заявивших о себе в мире центральноазиатских деятелей искусства и культуры — музыкантов (пианистов, скрипачей, певцов) и композиторов, театральных деятелей и художников... Есть у нас свои крепкие композиторские школы, особенно в Узбекистане и Казахстане. Немало в молодом поколении таких композиторов, которые свободно владеют крупной формой (пишут симфонии, оперы, балеты). Но это не особенно радует крупных и средних чиновников от культуры, иные из них неоднократно высказывались — конечно, не в открытой печати — против такого «рода творчества», по-дружески призывая композиторов оставить это занятие и лучше сочинять побольше хороших песен. И не случайно употребил я слово «помянуть». Некоторые из этих школ, увы, уже прекратили свое существование, а оставшиеся переживают не лучшие времена, пребывая в состоянии скорее заката, чем расцвета.

Так случилось, судя по всему, в Туркменистане, где ярко своеобразное национальное композиторское творчество, сформированное в синтезе с европейскими формами художественного творчества, было предано забвению в новейший период истории. «Музыка не должна раздражать народ» — сказано было покойным лидером нового Туркменистана. Но даже в этих условиях творческий потенциал продолжает сохраняться. Лучшие из произведений туркменских композиторов без всяких скидок могут украсить репертуар любого европейского симфонического оркестра.

Ценность нашей композиторской музыки — в ее национальной почвенности, в отражении глубинных черт национальной картины мира, национальной психологии, национального художественного мышления. Эта художественная идея еще не так давно была предметом критики у отдельных европейских и американских «теоретиков», усматривавших в подобной музыке следование идеям «примитивного соц. реализма». К сожалению, реализм стойко ассоциируется с тоталитаризмом. Однако время все расставляет по своим местам. Очевидно, что советская культурная политика, направленная на глубокое развитие национальных традиций в искусстве посредством освоения европейской профессиональной техники, не была пустопорожней идеологической пропагандой. Несмотря на издержки и перегибы, на произвол отдельных чиновников-самодуров и другие негативные составляющие, она объективно обеспечивала, по сути, верное направление движения на перспективу в современном культурном мире. Результаты оказались весомыми в каждой из бывших советских республик Центральной Азии. Разумеется, это ни в коей мере не ограничивает свободу творческого выражения в иных — не национальных — стилевых и образных сферах. Да и в современном мире само разделение на «национальное» и «ненациональное» может показаться странным. Теперь оно проистекает исключительно из мироощущения самого художника. Однако очевидно, что интерес к национальному в художественных формах и потребность в нем будут возрастать (и притом в независимости от национальной принадлежности того или иного автора), в том числе и как реакция на культурную «интервенцию» инонациональных и «вненациональных» явлений, вызванных культурной глобализацией.

Интерес к нашей современной музыке и к нашему искусству в целом имеется и в Европе, и в Америке, и в Японии, и в других странах, и он будет увеличиваться по мере ее все большей открытости миру. Появились там и серьезные

специалисты, внимательно изучающие наше культурное наследие и современный художественный процесс, собирающие о нем самые разнообразные материалы и документы. Хотя мир сегодня переполнен музыкой, находится в нем место и для музыки, созданной композиторами Центральной Азии. Как и для других видов и форм художественного выражения. Но возникает новая проблема: будет ли это наследие востребовано в нашем регионе, в культуре Центральной Азии? Особенно молодым поколением, выросшим уже в период независимого существования государств? К сожалению, на эти вопросы пока нет однозначно оптимистических ответов.

Культурное своеобразие региона и проблемы «ре-территоризации»

Советский опыт создания новой культуры формировался, как известно, на основе синтеза европейских и национальных традиций. И в этом одна из главных особенностей, объединяющая культуры постсоветской Центральной Азии. Этот большой и мощный пласт в культуре — вопреки всем потрясениям и переменам — все еще существует. И основан он на общей концептуальной платформе, которая сближает нас и внутри региона, и с русской и европейской культурой. В этом виде центральноазиатское современное искусство несет в себе региональное своеобразие. Региональная узнаваемость, региональная знаковость позволяет ему уверенно экспонировать себя в европейском и мировом культурном пространстве. Наличие общей художественно-эстетической платформы — один из столпов формирования региональной культурной идентичности. Похоже, что даже те изменения, которые происходят в современной культуре Центральной Азии, не способны поколебать заложенных в ней закономерностей. И эти изменения парадоксальным образом напоминают знакомые процессы советского времени, но, конечно, в ином культурном контексте. Имею в виду некую общую «модель освоения» — усиление традиционного, этно-национального, «исконных архетипов», мифопоэтической национальной парадигмы — и поиски их сочетания с новейшими достижениями художественных «технологий» Запада. Тот же процесс синтеза внешне не соединяемых «частей», но дающий неожиданные художественные результаты. То, что когда-то, во второй половине XX века, один из европейских культурных деятелей и теоретиков — противников советского культурного и художественного эксперимента и вообще всякого эксперимента над традиционной культурой и классическим наследием — сравнил с «приклеиванием усов Сикстинской мадонне». Теперь, конечно, в той же Европе и в США не только усы приклеивают, но и бог знает какие еще «пластические операции» проделывают с разными традициями, соединяя их с европейским опытом. Так радикально переменился мир культуры.

Новая культура, созданная в XX веке, заметно отличает нас от наших соседей — стран Среднего и Ближнего Востока, в особенности от Афганистана, Пакистана, да во многом и от Турции, Ирана, арабских стран. Этот фактор нельзя не учитывать. Нередко наши культуры механически объединяются в одно целое, «создаются» новые культурные пространства с использованием (включением или выключением) культурного пространства Центральной Азии. При этом не принимаются во внимание, просто игнорируются фундаментальные отличия,

сформировавшиеся в XX веке. На таком зыбком фундаменте пытаются выстраивать теории изменения культурных потоков, «ре-территоризации» культурных пространств, ничего не зная при этом, к примеру, не только о таком специфическом феномене, как «макомный симфонизм» в Узбекистане и Таджикистане, но и в целом о центральноазиатских художественных школах в разных видах искусств. Даже там, где наши культурные пласты совпадают, они складывались, следуя разными несходными путями. У нас процесс проходил на базе параллельно выстраиваемой художественной теории и освоения опыта другой художественной системы, ускоренными и регулируемыми методами. В русский Туркестан, а затем в советскую Центральную Азию потоком хлынула великая русская литература и культура в целом, проникнутая социальными идеями и реалистическим отображением действительности. Она столкнулась здесь с не менее великим и всеохватным мистическим и мифопоэтическим мировоззрением. И в этом культурном противостоянии верх одержала новая синтезирующая концепция. Конечно, не без помощи государства, сделавшего ее на десятилетия приоритетом своей культурной политики.

Наиболее близкой нам по общему направлению культурно-политического процесса и особенностям освоения европейской художественной культуры представляется Турция. Не случайно с начала XX века и почти до середины 30-х годов именно турецкое культурное влияние сильнее других ощущалось в городской жизни просвещенного коренного населения Туркестана. Большими поклонниками всего турецкого — начиная с политической и культурной модели и до языка — были, как известно, некоторые среднеазиатские просветители — джадиды. А среди них особенно — Абдурауф Фитрат (репрессирован в 1938 г.), который даже практиковал в Бухаре со своими сторонниками общение на турецком языке. Широко применялись турецкие слова и термины, модной почтительной формой обращения были афандым (буквально: мой господин) и ханым (госпожа), модной стала турецкая одежда, распространялись турецкие методы обучения детей и молодежи (под руководством турецких учителей, бывших офицеров), смешанные браки и т.п. В Турции, так же как и в советской Центральной Азии, государство под руководством лидера нации Мустафы Кемаля Ататюрка применило для ускорения процесса модернизации и европеизации страны жесткие и даже жестокие репрессивные меры по отношению к целому ряду явлений собственного историко-культурного наследия, старых средневековых традиций и обычаев (оставим в стороне хорошо известные экономические и социально-политические меры и реформы): отмена арабографического алфавита и введение латиницы, отделение мечетей от государства, контроль над религией и отмена ее государственного значения, развитие светского образования, отмена требования носить чадру для женщин (с публичным сбрасыванием), жесткий запрет на ношение фесок и предписание носить европейские шляпы и многое другое. Значительно ограничено было мощное прежде влияние суфийских орденов в общественной жизни (проведение арестов влиятельных шейхов, закрытие крупных обителей-текке, конфискация земельной собственности орденов и т.д.). Интересно, что этот процесс хронологически почти совпал с аналогичным в Центральной Азии. Культурная политика Ататюрка и его сподвижников по расширению европейского влияния усиливается именно в 20–30-е годы. Если из центральноазиатских республик молодых композиторов, театральных деятелей, художников, режиссеров направляют на учебу в Мос-

кву и Ленинград (или их обучают на месте деятели культуры из России), то из Турции они едут в Европу. Делается это по прямому указанию Ататюрка, ориентировавшего страну на усвоение европейских художественных, в том числе музыкальных, систем и ценностей.

Конечно, наше сопоставление несколько прямолинейно. У каждого государства при проведении культурных преобразований были собственные особенности и отличия. Однако теоретически можно допустить, что аналогичный путь, со своими «нюансами», был бы избран и в случае укрепления в Центральной Азии позиций одного из направлений национального просветительского (джадидского) движения. Сходная концепция культурной модернизации достаточно ясно просматривается в трудах Абдурауфа Фитрата, также ратовавшего за освоение европейских культурных ценностей при сохранении тюркской национальной доминанты. Тем не менее вряд ли можно говорить о том, что небезболезненный процесс европеизации привел к разрушению национальной идентичности или традиционной культуры. Но то, что они изменились и трансформировались, — очевидно. Этот процесс внес в сознание турецкой нации, так же, как и в интеллигентскую среду Центральной Азии, некую ментальную раздвоенность, которая не преодолена и в современной культурной жизни наших стран. Но благодаря ей рождается поиск новых форм культурного взаимодействия, культурный процесс становится более динамичным.

В те же 30-е годы жесткие меры борьбы со старой традиционной культурой и традиционным укладом жизни предпринимаются властями в Иране. Иранское культурное влияние, конечно, не в такой степени, как турецкое, тоже было заметным в Центральной Азии первой трети XX века. Процесс европеизации в Иране сопровождался радикальной перестройкой городов, строительством новых улиц, проспектов и площадей по европейскому образцу, снесением в центральной части старой застройки с ее базарами, кладбищами, заведениями национальной кухни и т.п. Их место занимали кафе и рестораны европейского типа. Трудно представить себе в наши дни, что с середины 30-х годов в Иране начинается государственная кампания по борьбе с чадрой (паранджой), в которой допускаются послабления для женщин преклонного возраста, особенно в глубинке. Культура Ирана, как и других стран Ближнего и Среднего Востока, претерпела на протяжении XX века серьезные изменения. Однако здесь, судя по множеству фактов и свидетельств, не было того радикального разрыва в историческом движении и нарушения преемственности, которые наблюдались во многих других странах мусульманского мира. И которые, по-видимому, породили отмеченную выше двойственность, или раздвоенность культурного сознания, чтобы не сказать «культурный раскол». Двойственность, которая сделала условием развития культуры ее внутренние противоречия, противоборство разных сил и тенденций, сблизив ее с базовыми закономерностями европейской культуры. Опыт культурной политики и художественной жизни Ирана заслуживает самого пристального внимания и изучения.

Помню, какое глубокое культурное потрясение я испытал, оказавшись в Иране во второй половине 90-х годов на одной научной конференции. Особенно впечатляли книжные магазины и музеи. И это притом что не было возможности посмотреть старинные иранские города — конференция проходила в Тегеранском университете. Книжные магазины, до потолка забитые изданиями классической персидской литературы, памятников средневековой литературы, со-

временных иранских авторов. Можно было не торопясь, взобравшись на лесенку, погружаться в содержание выставленного на книжных полках и находить удивительные вещи. А цены — предельно низкие, как в бывшем Советском Союзе. Очевидно, здесь также предоставлялись государственные дотации, чтобы сделать эту литературу доступной широкому читателю. Но при этом полиграфическое искусство, с особым национальным своеобразием, было на большой высоте. В огромном разнообразии были представлены диваны (собрания стихотворений) великого Хафиза — от крошечных до огромных фолиантов в футлярах; бумага различалась разными цветами, иллюстрации продолжали традицию средневековой восточной книжной миниатюры. Еще большее удивление вызвала книжная витрина с огромным количеством оксфордских изданий и переводами с европейских языков. Чего только там не было — русская и европейская классика, современная литература и даже... Хичкок. Просто невозможно было поверить своим глазам. На всякий случай сфотографировал, чтобы показать коллегам в Ташкенте. Боялся, что не поверят на слово. Не меньшее удивление вызвало и иранское «музыкальное пространство». Слушая радио в фойе университетской гостиницы, обратил внимание на большое количество популярных мелодий европейских композиторов. Неожиданно прозвучала Токката и фуга ре минор И.С. Баха в исполнении на кеманче, а затем — уже полным сюрпризом — «Полюшко-поле» в инструментальном исполнении. Все увиденное и услышанное совершенно не вязалось с нашими представлениями об Иране и его культуре, со стереотипами, которые навязывались разными современными СМИ.

Можно обнаружить удивительные совпадения и параллели между культурами нашего региона и арабских стран. Во всяком случае, процесс был сходным. А иногда даже создается впечатление (конечно, ложное), что они чуть ли не координировались, синхронизируя событийную часть культуры. Всего четыре года разделяют два важнейшие для судеб разных традиционных музыкальных культур научные события. В 1932 году в Каире состоялась крупнейшая научная конференция, определившая дальнейшие пути развития музыкальной культуры арабского мира. В ней приняли участие многие музыканты и музыковеды из целого ряда стран, включая европейские. Аналогичная по своей значимости для культуры Узбекистана конференция состоялась в 1936 году в Ташкенте. На ней были приняты важные решения, заметно повлиявшие на дальнейшее развитие культуры — проводить реконструкцию национальных инструментов, осваивать европейские формы и жанры музыки и т.д.

Все эти сходные явления, исчезновения и возвратные движения свидетельствуют об общих циклических закономерностях в историко-культурном процессе и на Востоке, и в Европе, о которых применительно к российской культуре, истории, искусству обстоятельно говорят и пишут современные российские культурологи, философы и искусствоведы. И как в этой связи не вспомнить и о мусульманских философах, в особенности об Ибн Халдуне (XIV век), рассуждавшем о круговращении в судьбах человека и государства. В современном художественном творчестве государств Центральной Азии — в живописи, музыке, театре и особенно зримо в кинематографе — эта цикличность нередко находит выражение в форме некоего общего образно-эмоционального состояния, связанного с исторической памятью народа или с неким ностальгическим состоянием. Здесь ностальгия — это новое художественное переживание исчезнувших

картин былого традиционного образа жизни, некоторых пластов старой культуры и связанных с ними эмоциональных состояний. Исчезнувшая реальность трансформируется в художественные образы.

Все сложные и драматичные перипетии истории развития художественной культуры и в целом духовной культуры у народов Центральной Азии подтверждают тезис, что в ее оценке нельзя прямолинейно исходить из уровня развития художественной культуры западного мира, где действуют иные критерии и представления. Не всегда удачным оказывается применение такого подхода и ко многим серьезным явлениям современного творчества. Тем не менее нередко можно видеть, как подобного рода механистические схемы (своего рода «культурный дарвинизм») переносятся из одного, как бы «более высокого и развитого» культурного мира, чаще всего евро-американского, на другой. Такой перенос априори предполагает некий исторический прогресс в движении культуры, движимый европейской или, точнее, евро-американской культурой, и подчас приводит к забавным и странным умозаключениям. Припоминаю один примечательный случай. Как-то в Нукусе, ознакомившись с творчеством известного каракалпакского скульптора Жолдасбека Куттимуратова, один американский культурный деятель заявил, что он не находит ничего оригинального в скульптуре этого мастера, ведь это сплошной реализм. Здесь, как говорится, комментарии излишни. Очевидно, что в «искусствоведческом сознании» гостя присутствовала заданная матрица критериев, основанных на достижениях современной скульптуры западного мира. Но можно ли, основываясь на ней, судить о скульптуре гениального Жолдасбека, проникшего и погруженного всем своим существом в мифопоэтические образы родного ему Арала и его трагическую судьбу?

Более органично связывает нас со странами мусульманского мира — Ираном, Турцией, Индией, Афганистаном, арабскими странами — другой пласт нашей культуры, традиционный. Говорят, что традиционная культура, в том числе музыка, понесла потери в советский период истории. Это действительно так. Вместе с тем традиционная музыка, хотя и не была приоритетным направлением в культурной политике советского времени, сохраняла свой высокий статус в регионе Центральной Азии. Так же, как в экономике Узбекистана и других центральноазиатских республик советского времени в разной степени существовали свои «ниши», так и в культуре того времени были свои «национальные ниши» и «потаенные места» для сохранения и передачи традиций и различных форм традиционной культуры в их исконной неизменной сущности. В экономике это были базары, большие и малые, распространенные по всей стране, в любом районе города. На крупных базарах были всегда представлены все основные продукты питания, а в отдельные периоды изобилие их было настолько разительным, что торговля шла «на глазок», ведрами, а цены были чрезвычайно низкими. К тому же всегда был уместен торг в пользу покупателя. Об этом сохранилось много свидетельств современников 50–70-х годов, описывавших, например, жизнь Ташкента. Базар на Востоке спасал во все времена. Отвлекаясь, не могу не привести такой поразительный факт: в новой иранской многотомной «Энциклопедии исламского мира» феномену «базар» посвящена статья объемом почти в сто страниц.

В культуре такими «нишами» для сохранения, например, традиционной музыки, уже начиная с 20-х годов XX века и на протяжении многих десятилетий,

были национальные театры музыкальной драмы и комедии. Там собирались многочисленные коллективы музыкантов, обслуживавшие своими концертами целые города и районы. Другая «ниша» — мужские и женские «посиделки» и сборища. Было немало и других. Но существовала и целенаправленная политика государства (и каждой центральноазиатской республики в отдельности) поддержки классической национальной музыки. Изначально в советской культурной политике исключались коммерческое начало и принцип коммерциализации культуры; с ними велась постоянная борьба. В то же время применительно к традиционной музыке такой подход не распространялся на частную жизнь, на обслуживание музыкантами семейных обрядов, что являлось для них и дополнительным источником дохода. При наличии определенных негативных моментов, положительным эффектом такой политики стало сохранение многих форм и жанров культуры в их неизменном, первозданном виде. Так были сохранены многие ценностные параметры культуры, оказавшиеся словно бы законсервированными. Речь идет не только о самой музыке, но и о системе отношений между музыкантами, об их отношении к своему творчеству и многое другое.

Классический репертуар (прежде всего макомное искусство) в Узбекистане и Таджикистане считался в советское время основой национальной культуры. С развитием радиотрансляции в программах передач большое место заняла именно классическая музыка, например, Шашмаком в исполнении лучших в то время певцов и музыкантов, больших и малых по составу ансамблей. Старожилы рассказывали, как, будучи любителями музыки того времени, они каждый вечер ожидали начала этих передач и слушали их по несколько часов кряду. Такое же, говоря модным ныне словом, культовое отношение к классике наблюдалось в Москве и по всему СССР. Известный ленинградский востоковед-иранист А.Н. Болдырев в своей «Осадной записи» (Блокадном дневнике) пишет о посещении в 1944 году, после снятия блокады, Москвы и о ночной (с 12 до 2 часов ночи) трансляции по радио концертов серьезной музыки. Свидетельствует он, между прочим, и об отношении к классической литературе, и не только русской. В том же году, согласно записи в «Блокадном дневнике», на его лекцию о Шота Руставели в Таврическом дворце собралось порядка 500–600 человек. Нужно ли говорить, насколько изменилось с тех пор само общество и положение в нем культуры. Как ни печально, но такого отношения к серьезной культуре уже нельзя представить в наше время. Конечно, и сейчас есть хорошие радио- и телепередачи о классической и народной музыке, но их мало, они ограничены во времени, и круг их слушателей уменьшился в разы. Теперь остается только надеяться на теорию культурных циклов и предполагать, что еще не все потеряно и когда-нибудь возвратится вновь, на новом витке развития культуры и в новом качестве.

Что же касается потерь, то они были и в мусульманском мире, за пределами советской Центральной Азии, и в наших республиках советского Востока. Но вызваны они были разными причинами. Наши потери связаны с чрезмерным администрированием и вмешательством государственной идеологии в культурный процесс. В мусульманском мире — с существованием культуры в условиях коммерческих и рыночных отношений. Они, по утверждению некоторых теоретиков и практиков музыкального искусства (в арабских странах, Турции и др.), привели к профанированию серьезных видов искусства, к утрате их живительной связи со своими истоками, приспособлению к требованиям рыночных

отношений, превращению культуры в «продукт» и «культурный товар». Такой процесс конечно же не новое явление, в отдельных странах он зародился довольно давно. Вспомним, что уже начиная с XVIII века ритуальные церемонии турецкого суфийского ордена Мевлеви стали превращаться в концертные представления, доступные обозрению европейских путешественников, а позже и туристов. Теперь это довольно разветвленная и успешная программа в туристической индустрии, очень популярный культурный бренд («вертящиеся дервиши»), собирающий на свои фестивали огромное количество зрителей. То же касается и целого ряда других форм и жанров духовной традиции Востока. Обычным стал показ церемоний суфийского зикра в различном исполнении на концертных площадках городов Европы и США. Появились и «замечательные» европейские аналоги. Один мой коллега из Европы сокрушался по поводу того, что у многих детей в Европе Моцарт стал ассоциироваться с «Моцарт кугелн» — знаменитыми кондитерскими изделиями: шоколадными шариками с портретом композитора. Это конечно же не умаляет значения Моцарта в европейской и мировой культуре, но показывает, как все сокрушающая и преодолевающая коммерциализация профанирует и превращает в обыденную «окружающую среду» вековые культурные ценности.

Теперь это направление развития постепенно становится и уделом культуры в целом ряде государств СНГ, которая, по замыслу «идеологов рынка», должна выживать и «кормиться» за счет собственных «внутренних ресурсов». Мы не берем в расчет художественные ремесла нашего региона, которые очевидно переживают период расцвета именно благодаря художественному рынку. Этот вид прикладного искусства всегда был ориентирован на рынок и рыночные отношения. Но и возвращаясь к нашему излюбленному виду творчества — классической музыке высокого художественно-эстетического значения, будем справедливы: здесь также есть большие позитивные изменения. В последние два десятилетия усилиями преимущественно американских и европейских музыковедов на зарубежном рынке появилось множество компакт-дисков с записями музыкантов из Центральной Азии. Это, несомненно, большое и положительное явление; оно открывает музыкальные сокровища наших народов западному слушателю. Вводит их в мировой культурный оборот. Однако приходится с сожалением констатировать, что влияние этого процесса на музыкальную культуру нашего региона остается минимальным. Вся эта продукция не просто недоступна нашим музыкантам и культурным организациям, но и вообще у нас неизвестна. Как водится в цивилизованном мире, на дисках встречается соответствующая помета — «все права защищены». Многие из тех музыкантов, чье исполнение успешно тиражировано на Западе, живут в очень скромных условиях. Когда несколько лет назад на одной из научных конференций, организованных ЮНЕСКО (а под ее эгидой также было выпущено немало подобных коммерческих компакт-дисков), мной был задан вопрос о том, ожидается ли изменение ситуации в этой области, он не вызвал ничего, кроме удивления. В кулуарных разговорах удивление сменяется полезным советом «от производителя» — что же делать? Развивайте сами свой рынок.

Очевидно, что, несмотря на все различия государств по их устройству и социально-политическим системам, на их обособленность друг от друга в прошлом, в мире, во всех его регионах, протекал, а ныне протекает в ускоренном темпе универсальный «наддиалектный» процесс. Нельзя сказать, что это исклю-

чительно процесс утраты или трансформации исконных традиций, их адаптации и профанации. Параллельно идет поиск новых форм сохранения и возрождения утраченных традиций. Формируется и новый тип художественного мышления, который, имея по своему происхождению отношение к разным регионам, приспосабливает одни национальные культурные традиции и формы к восприятию и потреблению в других регионах, другим населением. С Востока на Запад и с Запада — на Восток. И этот процесс неостановим.

Но неоспоримо и естественно то, что мы можем по-разному смотреть на одни и те же проблемы, иметь разные точки зрения, спорить и не соглашаться, сохраняя при этом уважение друг к другу. Одно и то же явление кто-то будет рассматривать как негативное, а кто-то как позитивное. Для кого-то оно будет благом, а для кого-то — утратой. Кому-то из приезжих улицы, носящие имена Пушкина, Глинки и Достоевского в наших старинных городах, кажутся недоразумением и нонсенсом (приходится слышать и такое), а для других — это знак давних и сохраняющихся культурных связей, реальной причастности к великой культуре. Так же, как улицы с именами Рудаки и Джами, Навои и Бабура в российских и европейских городах. Для одних изменение культурных границ — естественный исторический процесс, а для других — разрушение сложившихся традиций. Для нас же очевидно, что разрушение единого культурного пространства в пределах Центральной Азии равносильно разрушению единой центральноазиатской культурной идентичности.

В этом мире возникновения и исчезновения, противостояния и единения, утверждения и безостановочной борьбы различных интересов мы не растеряем себя только в том случае, если возродим и сохраним наше центральноазиатское культурное единство. Оно — основа целостности нашего региона как важного субъекта в мировом культурно-историческом процессе.

Владимир Шпаков

Негероическая история

Сталинская эпоха в нашем представлении выглядит двояко. Для одних это время социальной справедливости, прогресса, индустриализации и отсутствия коррупции в правящей верхушке. Для других эпоха предстает исключительно в мрачных тонах, в виде бесконечного ГУЛАГа и черных «марусь», раскатывающих по городам и весям советской империи. А как империя выглядела на самом деле? Как ни странно, зачастую привлекательно, особенно со стороны. Не будем забывать, что левые идеи не в России родились и в тридцатые годы они отнюдь не утратили своей популярности как в рядах западной интеллигенции, так и среди тамошних пролетариев. Помните, как в страну Советов приезжал Ромен Ролан, поначалу очарованный товарищем Сталиным? И другие западные деятели приезжали в СССР; и тоже зачастую восхищались невиданным социальным экспериментом.

Что тогда говорить о каких-нибудь финнах, живущих в американских Штатах! Пересидевшие революцию и гражданскую войну в прекрасном далеке, они легко восприняли левацкие призывы. И, не особо сомневаясь, отправились в страну, где тогда строили «самое справедливое в мире» общество. Почему нет, если финское население проживало в Карелии на правах вполне уважаемого национального меньшинства? Американские финны, конечно, были людьми из другого мира, но все ж таки возвращались к себе на родину, что и приятно, и благородно в каком-то смысле.

Эту малоизвестную российскому читателю страницу истории и открывает писатель Арви Пертту в романе под названием «Экспедиция Папанина».

Его главный герой — Якко Петерсон, американский финн, приехавший вместе с другими земляками в Петрозаводск, поработавший на лесозаготовке и вскоре ставший советским журналистом и писателем. Он отличается от большинства местных жителей и манерой одеваться, и отношением к быту, да и вообще по-русски (как и по-карельски) изъясняется не очень хорошо, лучше всего владея синтетическим наречием «финглиш» — той смесью финского и английского, что родилась в Америке в среде эмигрантов из Суоми.

Тем не менее поначалу жизнь в СССР кажется Якко довольно сносной; не лишенной проблем, конечно, но где их нет? В Америке проблем тоже хватало, особенно в период Великой депрессии, когда миллионы сидели без работы, как и наш герой. «У меня не было политических причин, — поясняет он своей подружке Тюнэ, — просто предложили работу, какой бы дурак отказался. Это была простая случайность. В тридцать первом на День благодарения я был у матери в Дулуте, там услышал от приятелей, что в Нью-Йорке

Арви Пертту. Экспедиция Папанина: Роман. Перевод с финского Яны Жемойтелите. — Петрозаводск: Северное сияние, 2012.

вербуют рабочих в советскую Карелию. По слухам, обещали за два года машину и собственную квартиру. Я же целый год сидел без работы».

То есть романтиком Якко Петерсона назвать нельзя, он, как и положено американскому человеку, в какой-то мере прагматик. В то же время Якко молод, он тянется к женщинам, любит посидеть за выпивкой в компании, послушать джаз, а это все в тридцатые годы было вполне доступно работающему советскому человеку. Одна из начальных сцен романа — пикник на лоне природы, в котором участвуют Якко и его коллеги по редакции, — свидетельствует о том, что иногда жизнь выглядела вполне приемлемой, она не была бесконечным лагерем, где царили ужас и страх.

Конечно, насчет машины с квартирой вербовщики приврали, но бытовая неустроенность в молодости переносится легко. А если учесть, что впереди светят определенные перспективы, как звезды на кремлевских башнях (наш герой довольно скоро становится членом Союза советских писателей), то на быт и вовсе можно плюнуть. Дают писать на финском языке? Вот и отлично, а если писать приходится нечто идеологически выверенное, не беда.

Однако тридцатые годы бегут, атмосфера в обществе меняется, а Якко Петерсон не слепой и не глухой. Он пока не чувствует давления на него лично, но наступление некой темной угрожающей стихии очень даже чувствует. «За слухами, услышанными у газетного киоска, таилось что-то большое и страшное, проступало в газетных статьях и испуганных лицах. Я не мог поверить, что мои знакомые сделали что-то плохое, но столь же безумным представлялось поверить в ущербность всей системы. Это же была страна, которую строил сам народ, и вожди были избраны тем же народом.

В подсознание закралась мысль, что страх рождает чувство вины. Надо было просто не бояться». Увы, не бояться не получается. Якко совсем не герой и не смельчак, он лишь внешне (шляпа набок, расстегнутое пальто, папироса в зубах) старается быть похожим на суперменов из голливудского кино, а на самом деле он обычный человек, коих было большинство среди тех, по кому сталинский режим проехался тяжелым катком.

Тоталитаризм, как известно, производит *неестественный отбор*, а именно: уничтожает лучших, оставляя на плаву серость. Якко довольно быстро разобрался в том, кто из его коллег и собратьев по перу является творческой личностью, то есть обладает подлинным талантом, а кто — посредственность и приспособленец. Талантлив, в частности, его приятель Теппо. А вот один из литературных начальников, Мякеле — абсолютно бездарен, зато он знает методы устранения конкурентов, эффективно работающие в обществе, где главное достоинство творца — лояльность и соответствие идеологической линии партии. Однако, разобравшись в этом, Якко не спешит высовываться, он если не труслив, то, во всяком случае, осторожен. Вроде не обладая ярким литературным дарованием, он все-таки имеет шанс написать настоящее, не идеологизированное произведение — вот только воспользоваться этим шансом не спешит.

Гром гремит в памятном 1937-м, когда во всех сферах и областях жизни лучших выкашивали, будто косой. Досталось, понятно, и писателям, в том числе (точнее, в особенности) — писателям национальным. Петерсон, Теппо, прочие литераторы, состоявшие в Союзе писателей советской Карелии, писали на финском, а Финляндия в то время, как мы помним, укрепляла свя-

зи с гитлеровской Германией, а к СССР была настроена довольно враждебно. Следовательно, финскому языку — стоп, даешь словесность на карельском, а всех подозрительных и идейно неустойчивых — вон из Союза писателей! Далее следовало лишение партбилета (если литератор был коммунистом), а потом в большинстве случаев — ночной «воронок» и лагерь либо расстрел.

Вот тут-то наш герой и дает слабину, то есть оказывается *не-героем.* Якко боится, им завладевает страх, и он пусть не с легкостью, через силу, но предает и Теппо, и Тюнэ, потому что чувствует: над ним занесена секира. Его, ответственного секретаря журнала «Знаменосец», исключают из Союза писателей, но это еще не обреченность, нанесут удар или не нанесут, зависит от поступков нашего *не-героя.* И он поступает так, чтобы отвести удар от себя и направить секиру на другие головы. Выбирает предательство — с содроганием, изъясняясь клише из газетных передовиц, он топит других, чтобы спастись самому. Окружающие в большинстве своем не лучше, многие даже хуже. И это еще больше говорит о времени, когда в верхах царили кровопийцы, а в низах процветали подлость и трусость.

Что важно: главный герой вовсе не выглядит ходульной «жертвой режима», он вполне живой человек, что доказывают, в частности, его эротические приключения и фантазии. Фантазий тут даже больше, чем приключений, герой, по сути, выдумывает для себя некую любовную историю взамен той жути, что творится вокруг него. И это привносит в роман кафкианский дух, что опять же вполне соответствует времени, которое всеми силами старалось «Кафку сделать былью». Сравнение приходит на ум еще и потому, что одним из рефренов повествования являются отчеты о подвигах папанинцев — в то время, как мы знаем, о попавшей в переделку экспедиции трубили постоянно. И эта повсеместная пропаганда героизма на фоне мерзости и предательства совершенно негероических людей создает сюрреалистический эффект.

Не будем, впрочем, бросать камень в Якко Петерсона, еще неизвестно, как повели бы себя на его месте ныне живущие «мастера культуры». Поговорим лучше о финском авторе, который рассказал нам эту историю. Почему его заинтересовал данный исторический период? Почему вообще, живя в Финляндии, автор берется описывать события, происходившие в другой стране много десятилетий назад?

Начнем с того, что финский прозаик Арви Пертту имеет российские корни. Он родился в Петрозаводске, прекрасно владеет русским языком и в свое время даже закончил Литературный институт им. А.М. Горького. Так что вполне естественно, что он описывает драмы, которые когда-то случились на его родине с его соотечественниками. Описывает, надо отметить, убедительно: тут и великолепное знание материала, и очевидные профессиональные умения налицо. Написан роман на финском, на русский же язык его перевела Яна Жемойтелите. Почему перевод не сделал сам автор, нам неизвестно, да это и не важно: представленный российскому читателю перевод — вполне качественный.

Финал романа закономерен. Якко оказывается в лагере, но считает это почти удачей, потому что многих из его окружения просто нет в живых. И вообще он не теряет надежды, мечтая — думаете, вернуться в Америку? Не тут-то было: он хочет «вновь врасти в эту жизнь», для чего даже пишет письмо лично товарищу Сталину!

Вот такая негероическая история.

Николай Анастасьев

«Художники — моя партия»

С автором этой книги мы примерно в одно и то же время учились в одном — Московском — университете, но на разных факультетах, и знакомы не были, так что, скорее всего, встречались, не узнавая друг друга, то ли в библиотечном зале на Моховой, то ли на спортивных площадках Воробьевых (тогда Ленинских) гор, то ли в Доме культуры на углу Моховой и Большой Никитской (тогда Герцена), где начинал строить «Наш дом» Марк Розовский.

А познакомились позже, в конце 60-х, когда Евгений Сидоров работал в «Юности», а я в «Вопросах литературы», и, объединенные общим делом, а также многочисленными поездками, ближними и дальними, в которых человека хорошо узнаешь, сдружились, и дружба эта продолжается поныне, и не повредил ей даже неожиданно случившийся в начале 90-х годов стремительный карьерный взлет Сидорова на министерские, а затем посольские высоты. Власть не то чтобы вовсе не изменила его, так, наверное, не бывает, однако же ничуть не испортила и не развратила, и я не улавливаю никакого лукавства либо желания как-то оправдать себя задним числом в таком, например, рассуждении, явно основанном на личном опыте: «Общее мнение: власть портит человека. Рискну заметить, что не всегда, потому что человек во власти сам кое-чего стоит, и никакая власть его не испортит, если он к тому не будет склонен или вовремя откажется от нее. Наоборот, власть может обогатить частное лицо таким знанием и такими потенциями, которые и не снились обывателю. Надо только вовремя отделить себя и свой внутренний мир от формы, которая господствует при любом властно-бюрократическом строе».

Удается, правда, не всем и не всегда. Евгению Сидорову, повторяю, удалось, и не зря, должно быть, осела в книге еще одна запись, сокровенно перекликающаяся с только что приведенной: «Ты сам, лично, разве не вкусил обольщения нового времени? Разве не получил интересную работу, общественное положение, возможность увидеть всю Россию? А сладковатый мед каких-никаких, но все-таки привилегий?.. Все так, все верно, и все же мед был отравлен. И шрамы в душе не заживают, несмотря на доводы рассудка».

К чему бы, однако, это затянувшееся предисловие? Да просто к тому, что мне трудно отделить текст от личности автора, сохраняя таким образом приличное рецензенту беспристрастие. Впрочем, главное даже не в этом: сам жанр сочинения всячески сокращает, порой до неразличимости, расстояние между высказыванием и его субъектом.

И что же это за жанр?

До известной степени — работа ученого, обдумывающего такие предметы, как геополитика, кризис культуры, мировой и российской, мера и формы участия государства в ее развитии и

Евгений Сидоров. Записки из-под полы. — М.: Художественная литература, 2012.

так далее. Рассуждения на эту тему образуют заключительный раздел трехчастной (условно) композиции книги, и тут я от комментариев воздержусь, заметив лишь, что при согласии со многими наблюдениями и тезисами, одна из существенных позиций автора вызывает у меня немалые сомнения. «Государственная поддержка культуры есть важнейший элемент строительства нового общества», — безоговорочно (что ему вообще-то не свойственно) пишет Е. Сидоров, а завершает пространную статью «На переломе эпох» так: «Русская культура сегодня на большом распутье. Не следует впадать в апокалиптические настроения, но и бить в литавры еще менее уместно. Ее судьба зависит от многих факторов, среди которых первостепенное место занимает осознанная, продуманная государственная политика и активная работа гражданского общества по защите и развитию ее лучших образцов и традиций».

Насчет гражданского общества — это хорошо и правильно, разве что где оно, это общество? Иное дело — государство. Не знаю, наверное, и даже наверняка, имеет значение точка обзора, и все дело в том, что у меня, рядового обывателя, как раз нет того знания и тех потенций, которые дает власть, и тем не менее мне ближе мысль мексиканского поэта и эссеиста Октавио Паса: культуре следует не искать высокого покровительства, а бежать от него, потому что все начинается словами о защите искусства, а кончается его упразднением.

Вернемся, впрочем, к книге. Вторую, срединную ее часть, составляют в основном заметки о писателях и писаниях — прозе Вячеслава Пьецуха, поэзии Татьяны Бек, Олега Чухонцева, Юнны Мориц и многих молодых, чьих стихов я, к стыду своему, не читал, по каковой причине увольняюсь от обозрения и этого раздела, заметив только, что в неюные годы сохраняет Евгений Сидоров и вкус, и слух, и живость восприятия, и упругую точность слова, короче — все то, что отличает его на всем долгом протяжении работы литературного, театрального и кинокритика.

Основной же корпус книги составляют те самые «записки из-под полы», что вынесены в ее заглавие. Тут снова возникает вопрос о жанре. Сам автор обозначает его так: «Не фига в кармане, не записки из подполья, а именно из-под полы. Как мелочь сыплется наружу из нечаянно продырявленного кармана плаща. Возвращаю известному словесному обороту буквальный смысл вопреки переносному, общепринятому. Это не отрывки из дневника, не эссеистские размышления, а именно записки. Что вспомнилось, то и записалось, а потом собралось на отдельную бумажку, чтобы не пропасть. Без сюжета и композиции. Вразброс. Как карта ляжет».

Серьезное, то есть, нет, как раз по тону не серьезное, а легкое и непринужденное, без пафоса, рассуждение на тему из тех, что не всуе называют судьбоносными, примыкает к наблюдению любого свойства, даже орнитологического, давний эпизод редакционной жизни соседствует с фрагментом из служебной записки президенту или председателю правительства, письмо товарищу по профессии — с воспоминанием из крымского детства, беглый взгляд критика на творчество поэта или драматурга — с выпиской из Герцена или Тютчева, каламбур — с афоризмом, романтика освоения целины — кстати, и там мы с Женей напрягались бок о бок, сами о том не подозревая, — с неожиданно-точным штрихом: «С Риммой Казаковой хорошо в два голоса петь популярные советские песни». Подтверждаю: действительно хорошо, даже если нет, как у меня, слуха, а о голосе даже не говорю. Жаль только, что больше уж не попоешь, и если кому-нибудь эта запись из-под полы вдруг покажется обидной,

то пусть не останется не замеченной другая, нежная и печальная: «Римма Казакова была чудной женщиной и хорошим поэтом. Она несла свою известность и вечную неприкаянность с каким-то вызовом и тайной надеждой, что все образуется. Исключительная общественная жилка билась в ней слышней, чем кровь в венах и аорте. Я любил ее авантюризм, талант товарищества и догадывался о ее глубоко спрятанном чувстве несчастья». И снова все верно, и снова лишь пожалеть остается, что в последние годы жизни Риммы нас отдалили друг от друга совершенно ненужные, дурацкие проблемы литературного быта.

В общем, и впрямь — не расставленный хоть в каком-то порядке строй слов, необязательная мозаика, ибо что общего, скажем, между радостным воспоминанием о спортивном триумфе пятнадцатилетнего капитана юношеской баскетбольной команды и грустной оглядкой на политического лидера: «У М. С. Горбачева быстро исчезло обаяние новизны. Все было сказано сразу. Дальше началось повторение. Он прост, но не как правда, а как очевидное, без глубины. И все-таки это лучше, чем то, что было. Искренность и угадываемая отвага: а чем черт не шутит». Неважно, верен этот взгляд или не вполне, а то и вовсе неверен — кому-то и так может показаться,- важно то, что он непосредственно соседствует с мемуаром, относящимся к событиям чуть не шестидесятилетней давности и не имеющем решительно никакого отношения ни к литературе, ни, тем более, к жизни страны.

И все-таки авторское указание — «как карта ляжет» — это либо добросовестное заблуждение, и тогда его следует развеять, либо, что вероятнее, законное лукавство, и тогда его следует разоблачить.

Но сначала все-таки договорим о жанре.

Хоть и иронизирует Е.Сидоров над распространившейся у нас модой сочинять эссе, «Записки из-под полы» — это чистой воды эссеистика, в том смысле, в каком употреблял это слово родоначальник формы Мишель Монтень и какое запечатлелось в каноническом русском переводе его сочинений, хоть и вольном, но точном — «Опыты». А по прошествии примерно трехсот лет еще один европейский писатель, Роберт Музиль, резко расширил само понятие эссе. Главная его книга, и вообще один из важнейших романов XX века, «Человек без свойств», осталась, как известно, незаконченной — почему? Возможно, потому, что именно таков был замысел. «Надо иметь мужество жить среди моральных противоречий», — пишет Музиль и поясняет: завершенный роман — разрешенное противоречие, или преодоление «эссеизма», являющего собой не только тип литературного высказывания, пусть даже богатый возможностями, но — ни больше, ни меньше — существенный принцип самой жизни, ибо «эссе чредою своих разделов берет предмет со всех сторон, не охватывая его полностью. Предмет же, охваченный полностью, теряет вдруг свой объем и убывает в полноте».

Ни одну из своих «заметок из-под полы» Е. Сидоров не доводит до завершения, любая обрывается многоточием, пусть типографски и не подтвержденным, большинство по отдельности, даже и отличаясь остроумием и порой стилистическим блеском, а то и изыском, лишены глубины и объема, но в соседстве, близком и отдаленном, с другими записями они их обретают, а в случайности проступают контуры системы. При этом неизбежно возникают те самые противоречия, о которых говорил Музиль. Без участия государства культуре не подняться, утверждает, как мы видели, Е. Сидоров, но он же высказывается и прямо противоположным образом, в том смысле, что задача сегодня, притом задача

глобальная — «разгосударствление культуры». И то сказать, как ей может дышаться, если «наша государственность — это обруч, стягивающий народное безмолвие». Позиции явно не сходятся, и очень хорошо, что автор даже не пытается убрать зазор, ибо, помимо всего прочего, что такое снятое противоречие? — просто банальность. То есть как раз то самое, чего Е. Сидоров бежит, как черт ладана, превозмогая общие места и смыслом, и стилем письма. Правда, постепенно начинает выясняться, что противоречие, оставаясь и дорожа самим собою, парадоксом все же не становится.

Есть несколько неявно проведенных или намеченных тем, придающих книге цельность общего смысла.

«Я бы не стал так неистово набрасываться на П. Проскурина за его словечко “некрофилия”, которое он употребил по отношению к публикациям ранее запрещенных произведений умерших авторов. Если бы писатель, заглянув в словарь, твердо знал значение этого слова, оно бы никогда и не вылетело. Стало быть, речь идет не о злокозненности, а о простой неосведомленности, непонимании того, что произносят твои уста. Эта младенческая невинность не такое уж редкое явление в нашей писательской среде».

Так оно и есть, сколько уж времени прошло с тех пор, как Иван Бездомный собрался было разоблачить христианскую легенду, а от невинности избавиться все никак не удается. И ладно бы речь шла о случайной обмолвке небесталанного, но действительно чрезмерной ученостью не блиставшего беллетриста, которого к тому же более десяти лет как нет на этой земле. Тут можно и ухмыльнуться добродушно, что Е. Сидоров и делает. Но когда тот же уровень грамотности демонстрирует профессор МГУ и популярный политический обозреватель, усмешку сменяет законное недоумение.

«Виталий Третьяков в “Известиях” (03.07.08) решил вступиться за РПЦ, обороняя ее от вольтерьянцев. Вот что он пишет: “Сегодня церковь все чаще выступает как едва ли не единственный (кроме плохо справляющегося с этим образования) влиятельный институт защиты высокого искусства от массового невежества и пандемии масскультуры. Парадоксально то, что многие, а в последние два-три столетия едва ли не большинство произведений классического искусства было либо антирелигиозным, либо антиклерикальным”».

Ну что тут скажешь? Остается только подивиться вслед за Е. Сидоровым: «...чего в этих словах больше — невежества или политики». Далее он поясняет, что как раз наоборот, классика, и Золотого века — от Гоголя до Лескова, и Серебряного — от Вячеслава Иванова до Ахматовой, насыщена духом христианства. Зачем бы, казалось, ведь это же общеизвестно, но, видно, не напрасно Михаил Леонович Гаспаров напомнил нам слова Аристотеля: известное известно немногим. Можно еще добавить, что, если от имени церкви в защиту высокого искусства будут выступать деятели вроде протоиерея Всеволода Чаплина, призывающего проверить на предмет наличия признаков педофилии «Лолиту», то от такого покровительства можно ожидать только беды.

Впрочем, тут действительно много политики, да даже и в давних сетованиях Петра Лукича Проскурина она улавливается, но нередко никакой политики нет, а есть одна лишь малограмотность. На протяжении нескольких месяцев на страницах «Литературной газеты» вяло тянулась дискуссия о постмодернизме. Честно говоря, затеялась она слишком поздно, когда «энергия заблуждения», питавшая творчество художников и философов, принадлежащих к этому направлению, выдохлась — о чем сами же они и говорят. Но мало того, выяснилось, что участники в подавляющем своем большин-

стве довольно смутно представляют себе предмет, о котором взялись судить. Иначе как можно объяснить то обстоятельство, что в клане российских постмодернистов оказались Людмила Петрушевская и Людмила Улицкая, Виктор Ерофеев и Татьяна Толстая и многие другие нынешние сочинители, может, и незаслуженно популярные, однако же имеющие весьма отдаленное отношение к эстетике постмодерна? «Одаренный Слава Курицын», пишет Е. Сидоров, обладает хотя бы «подростковой ученостью», многие авторы «Литературной газеты» не обременены даже и ею. Хотя бы в справочную литературу заглянули, что ли, и тогда выяснилось бы, что «симулякр», действительно одно из ключевых понятий в теоретическом и художественном пространстве постмодернизма, это отнюдь не синоним «симуляции», то есть притворства, а его порождение: «замена реального знаками реального» (Жак Бодрийяр), либо, как часто говорят, копия в отсутствие оригинала. Или хоть для приличия сослались бы на мэтров, на тех, кто действительно знает толк в деле, — французов по преимуществу. Дискуссия, о которой идет речь, началась и закончилась, когда, судя по срокам, «Записки из-под полы» уже находились в производстве, иначе автор наверняка нашел бы дополнительные примеры, укрепляющие его иронические реплики: «инфантильные пассажи», «наскок», «мальчишеский азарт погони за модным европеизмом», «смесь французского с нижегородским» и т.д. Прав он, конечно, и в том отношении, что лучше бы читать Батая, Дерриду, Лиотара, того же Бодрийяра в подлиннике, но это уж высший класс.

А иногда невежество принимает агрессивные формы, пусть и проявляющие себя как амикошонство и безвкусица. Как выяснилось, за биографию писателя можно взяться, не прочитав толком его книг, зато вдоволь нагляделевшись в замочные скважины и напитавшись всячески сплетнями. И вот уже усилиями Максима Чертанова Эрнест Хемингуэй превращается в зазывалу, усиленно творящего собственный образ «крутого пацана», а войну-то, хотя вроде прославился как баталист, толком написать не умеющего, даже у Константина Симонова это лучше получалось. Позднее обнаружилось, что «Максим Чертанов» — это псевдоним, за которым скрылась некая дама, с энергией, которой бы сам Дмитрий Быков позавидовал, пополняющая своими сочинениями портфель почтенной молодогвардейской серии «Жизнь замечательных людей». И вот эту скромность как раз понять можно — зачем саморазоблачаться? У производителей поделок имени и не должно быть.

«Сумерки культуры», — грустно роняет Евгений Сидоров, и эту печаль остается лишь разделить.

Но ведь просветы во мгле есть?

Ну да, разумеется, и из второго раздела книги («Литературные заметки») как раз и явствует, где автор их различает.

Наугад — то есть тоже как бы наугад, в стиле автора:

«Разве можно… спорить по существу с Д. Галковским и безжалостно гасить его философско-беллетристическое пламя, вырвавшееся наконец из подполья? Ведь он не столько мыслитель, сколько герой своего собственного лихорадочно талантливого и одинокого романа, романа с самим собой»;

«При нашей стойкой и многолетней публичной идиосинкразии к яркому литературному таланту появление Т. Толстой, В. Пьецуха, Е. Попова, М. Кураева, С. Каледина — само по себе замечательно»;

«Вадим Кожинов был артистичным провокатором, создателем репутаций»;

«Работа Ваша талантлива, а меня всегда трогает одаренность, если она

воодушевлена бескорыстием» (из письма Юрию Селезневу по поводу его книги «В мире Достоевского»).

И наконец в финале:

«Моя партия, в отличие от любителей поиграть в партийность, — это поэты, писатели, художники, музейщики, артисты, библиотекари. Если ты не фашист — ты моя партия. Монархисты (типа Н. С. Михалкова), коммунисты (типа Н. Н. Губенко), демократы, если это талантливые российские художники, — моя партия, независимо от политических пристрастий».

Вот в этом и заключено главное — на мой, по крайней мерей, вкус.

Невеликое достоинство — признать художественный дар всех тех, чьи имена прозвучали только что, а также Иосифа Бродского и Юрия Казакова, Олега Ефремова и Сергея Юрского, Василия Аксенова и Отара Чиладзе, да и многих иных артистов, художников, поэтов и прозаиков, которыми густо, как повесть персонажами, населены «Записки из-под полы». А вот поставить дар выше убеждений — это, верно, достоинство, встречающееся не так уж часто.

Когда-то, тому уж почти четверть века, наша общая литературная организация — Союз писателей — раскололась на несколько фракций, и во главе одной из них встали демократы. Это честные и пылкие люди, многих из которых я имел честь называть друзьями. Но ничего серьезного, как мне кажется, из их усилий не вышло. Почему? Да потому просто, что в забвении оказалось собственно писательское дело. Раньше его манифестально объявляли частью дела пролетарского, теперь — демократического. Но ведь это тоже путь в тупик, только с противоположной стороны. Помню, как сурово клеймили меня друзья-единомышленники, когда я позволил себе в какой-то публикации робко, с ненужными, как уже тогда было ясно, оговорками, заметить, что Анатолий Рыбаков-прозаик выше Анатолия Рыбакова-публициста. Нельзя, выговаривали мне, в суровый час борьбы с «красно-коричневыми», как их тогда называли, бросать тень на людей, эту борьбу возглавляющих. Я что-то неубедительно бормотал в ответ, тем более что и впрямь ощущал некоторую неловкость и даже вину, хотя и не ту, что мне вменяли. Тут мотив сугубо личный: Анатолия Наумовича я близко знал с детства (своего, разумеется), а с его сыном Сашей, к несчастью давно покойным, дружил.

Евгений Сидоров, младший, как он сам себя называет и как его называют другие, шестидесятник-либерал, ему явно близки гражданские воззрения Татьяны Толстой и Евгения Попова, и столь же очевидно не разделяет он ни монархических склонностей Никиты Михалкова, ни коммунистических Николая Губенко, ни националистических Вадима Кожинова. Чтобы признать это, не нужно ни личное знакомство, ни знание биографии этого человека — вполне достаточно пролистать «Записки из-под полы».

«Готовность нашего общества к свободе равна нулю. Страна рабской политической покорности, нравственной индифферентности не сможет проснуться по приказу или призыву, ибо привыкла тревожно дремать в течение многих десятилетий».

«Византия по-прежнему властвует в наших кремлевских структурах. Восток отторгает европейскую прививку. Ну скажите, чем питерская сановная группа отличается по существу от знати каких-нибудь правящих жузов, улусов, племен, диктующих волю своим народам? Да ничем не отличается, тот же трайбализм».

«Державно-милитаристский пафос с проклятьями Западу есть инфантильное и отчасти опасное занятие... Вовсе не либерально-демократическая идея губит Россию, как мнилось Леонтьеву, а как раз тот вожделенный византизм и спайка православия с властью светской, которые представлялись

замечательному мыслителю пусть слабой, но гарантией сохранения страны в ряду великих мировых держав».

Все как будто понятно, позиции определились. Только не мешает эта ошибка, или пусть даже не ошибка, пусть просто чуждое лично ему, Евгению Сидорову, представление, почувствовать страсть и величие, которые «выше любых правильных плоских суждений и прогнозов», как не мешают вступать в диалог с теми, кто действительно видит у автора «Византизма и славянства» никакое не заблуждение, но истину — хотя бы с тем же Н. Михалковым.

Талант выше принципа. А нет таланта — никакие убеждения, хоть самые правильные, не помогут: «...что же касается литературной критики, называющей себя либеральной, то... она поет однообразную корпоративную песню, хорошо если лебединую».

Таковы, стало быть, контраверзы: культура - бескультурье, талант - невежество. Может ли быть между ними мир, есть ли середина? Ну конечно не может, непонятно даже к чему этот столь дико звучащий вопрос.

И вот тут как раз не снятое противоречие обнаруживает свое отличие от бессодержательного парадокса. Почти в самом конце книги есть такая фраза: «После Великой Октябрьской революции ни о какой норме, ни о какой середине не могло быть и речи». А открывается заключительный раздел текстом интервью, которое Евгений Сидоров дал еще в своем министерском качестве и которое то ли тогда же, то ли сейчас, для книги, озаглавил так: «Россия — это сумма особенностей».

По-моему, ни это соседство, ни то, что возникло оно у финиша пути, когда хочется договорить какие-то важные вещи, не случайно. А если случайно, то это такая рассчитанная случайность, на которой держится вся композиция книги.

Насколько можно понять, Евгению Сидорову не нравится проза Томаса Манна, он находит ее скучной. Конечно, это дерзкая оценка, но спорить не собираюсь, тем более что у автора есть сильнейший союзник в лице Владимира Набокова, которому «Волшебная гора» либо «Доктор Фаустус» не просто не нравились, но казались эталоном столь ненавидимой им пошлости. Потревожил я великую тень вот зачем: романы могут оставлять равнодушным, но уверен, что одно высказывание Томаса Манна — а за ним целая философия жизни и творчества — показалось бы Сидорову близким. Вот оно (в примерной передаче): прекрасна решимость, но плодородна и творчески плодотворна только оговорка.

Что такое оговорка? — любовь к норме, к середине.

И что такое сумма особенностей? — некоторое целое со своим центром, то есть тоже середина, отдаляясь от которой, находил Паскаль, отдаляешься от человечности.

Евгений Сидоров — человек меры, человек середины. Он бежит любой экстремы. Он умеет не только говорить, но и слушать, что в наше время нечасто, к сожалению, бывает. Именно это позволяет ему искать и находить общий язык с людьми, чьи взгляды отличаются от его взглядов, но с которыми объединяет, по его же словам, любовь к культуре.

Именно это позволяет, памятуя о сходстве и дорожа им, спорить с единомышленниками, когда середину заменяет крайность.

Именно эта благодетельная и неизменная позиция придает цельность его последней по времени книге.

Иное дело, что у книги этой, скорее всего, нет переплета. Во всяком случае, нет задней обложки. Она продолжается, о чем свидетельствуют хотя бы появившиеся уже после нее публикации (в том же стиле, в том же жанре) в «МК» и «Огоньке».

Мелочь продолжает расчетливо сыпаться из вечно дырявого кармана...

Анастасия Ермакова

«У жизни не бывает черновика»

Немат Келимбетов (1937–2010) — известный казахстанский писатель, ученый, педагог, автор фундаментальных трудов по тюркологии. Человек, много лет мужественно боровшийся с недугом, приковавшим его к постели. Учитель в самом высоком понимании этого слова.

Пришедшие к российскому читателю его «Тринадцать диалогов» — философско-нравственные эссе, исследующие природу сложного и неистребимого чувства — зависти. Продолжая разработку острой темы в духе Франсуа Ларошфуко, Монтеня и других известных авторов, Келимбетов интерпретирует ее по-своему, исходя из личного опыта и особенностей национального характера.

Это полезное, душеспасительное чтение. Тот случай, когда морализаторство не просто необходимо, а художественно убедительно. «Не быть завистливым — великое счастье», — считает автор. Погружаясь в текст, читатель с удовольствием участвует в беседе двух умных и интересных людей — мудреца и его друга-аксакала, размышляющих не только о зависти, но и попутно обо всем на свете: о мужестве, об умении слышать друг друга, о любви, о человеческом достоинстве.

С одной стороны, кажется, что ты все это уже вроде как знаешь, с другой — текст настолько плотный по смыслу и оригинальный по исполнению, что поневоле увлекает, и понимаешь: столь дотошное художественное исследование феномена зависти, адресованное «обычному» читателю, явлено, возможно, впервые, по крайней мере, в казахской литературе.

Каждое эссе любопытно по-своему и открывает одну из граней этого парадоксального чувства. Разве не парадоксальна, например, такая мысль: «Сможешь ли ты простить, если твой друг станет счастливым?» Казалось бы — чушь, как можно простить или не простить кому-то счастье? Оказывается, можно. «Ученые-психологи делят завистников на два вида. Первые — "кроткие", "смирные", "безобидные". Вторые — "агрессивные", даже "дикие в своей озлобленности". Вот эти, дикие — самые опасные, они могут позавидовать даже Луне, до которой их руки никогда не дотянутся. А относящиеся к группе "кротких" и "тихих" завидуют только тому, на что хватает их фантазии. И если выпадет случай, будут вредить успешным людям там, где сами могли бы себя проявить — так они считают — там, до чего они тоже могли бы добраться, будь то вершины действительно возможные... Завистник внимательно следит, как люди, живущие и работающие бок о бок с ним, спотыкаются, падают, идут в неверную сторону, ошибаются, сталкиваются и дерутся друг с другом, заблуждаются, гоняются за миражами. Он ждет своего часа, и когда нужный момент настает, он торжествует, наслаждается жизнью, становится — на миг — счастливым. Ему хорошо, только когда кто-то не-

---

Немат Келимбетов. Зависть: Тринадцать диалогов. — М.: Художественная литература, 2011.

Немат Келимбетов. Скорбны думы, чуток сон...: О старости и долголетии. / Сост. Ш. Нематова, А. Нематов. — М.: Художественная литература, 2012.

счастен. Тогда и он считает, что не зря родился на этот белый свет, что есть смысл в его существовании, что вообще-то справедливость иногда встречается».

Язвительно и точно говорит Немат Келимбетов о зависти на литературном поприще — очевидно, сам столкнувшись с подобным явлением.

«— И что же это за "гениальная зависть"?

— У нее тоже много разновидностей. Например, один весьма даровитый писатель издаст очередную хорошую книгу. И знаешь, что сделают "друзья-завистники" писателя?

— Откуда мне знать?

— А я знаю. <...> В среде творцов художественной литературы завистники — критики, литературоведы и т.д., хорошо знающие все ходы и выходы, все приемы восхваления и уничтожения, сделают вид, что ничего не произошло. Будут молчать, как рыбы... А для прекрасной книги замалчивание может оказаться губительным. <...> В ходу еще один способ навредить хорошей книге. Он заключается в том, чтобы гениальное, рождающееся раз в десятки лет, сенсационное произведение начать сравнивать с бездарным произведением какого-нибудь второстепенного автора. От такого сопоставления великолепное, талантливое творение превращается в ничто...»

Зависть не только управляет многими поступками человека, но, по сути, движет историей. Из-за зависти к чужому богатству вспыхивают войны, из-за зависти совершаются грабежи и убийства, из-за зависти предают лучших друзей. Есть в книге неожиданные повороты и открытия. Скажем, почему во времена инквизиции самых красивых женщин объявляли ведьмами и сжигали на кострах? «Да чтобы люди не обращали излишнего внимания на красивых женщин... Например, в Германии в средние века на красивых и статных женщин надевались "маски позора". Причем это была самая легкая, утвержденная законом форма наказания красавиц. А ведь все, по существу, — из-за зависти к красоте и красивым женщинам». Задумываешься: ведь и в самом деле — монстра страшнее и в то же время незаметнее зависти не отыскать. Трудно не позавидовать более удачливому другу, трудно не пожелать чужой красавицы-жены, трудно прожить хотя бы один день с достоинством, никому и ничему не завидуя, благодаря Бога за все, что имеешь. Не побоюсь сказать: чтение этой книги нравственно очищает.

То же самое можно сказать и о книге «Скорбны думы, чуток сон...». В ней собраны эссе о старости и долголетии, благодарные размышления о жизни, напутствия сыну. Уже по названиям глав можно судить о содержании: «Главное измерение жизни — это ее полнота», «Стать старцем было моей мечтой», «Когда готовиться к старости», «Я боролся не за то, чтобы быть счастливым, а за то, чтобы жить среди счастливых людей». Удивительно то, что в размышлениях автора нет никакой обиды на судьбу, нет жалоб, нет разочарования: «Умение довольствоваться малым, наверное, признак мудрости. Степень человечности следует измерять не количеством, а качеством прожитых лет». Это не брюзжание немощного старика, а мудрая и светлая хвала жизни. Печаль, конечно, есть. Но именно печаль — как глубинное понимание трагичности жизни вообще, а не эгоистичное уныние, произрастающее из личного недовольство судьбой.

«— Если бы Всевышний дал вам возможность начать жизнь сначала, с детских лет, от каких бы недостатков и ошибок вы бы отказались?

— Увы, у жизни не бывает черновика. Она пишется только один раз... Я не особо верю некоторым людям, которые, уже прожив достаточно долго, на склоне лет подвергают ревизии свое прошлое... Уверен, дай многим людям возможность сызнова начать жизнь не только один раз, но и десять раз, они все равно не смогут отойти от своей первоначальной природной формы, первообраза».

Надо отметить, что вообще восточный подход к такому явлению как старость кардинально отличается от подхода западного. Западный подход утверждает, что старение — неизбежное несчастье, и нужно пытаться как можно дольше не поддаваться ему, используя различные средства: от пластически-косметических до морально-тренинговых, помогающих людям справиться со старением психологически. На Востоке старость — это прежде всего всего особый вид мудрости, закономерный этап духовного просветления, достойный итог жизни: «...Чем старше человек, тем он милосерднее, добрее. Считаю, что милосердие — самое великое чувство, присущее человеку. Поэтому мы в свое время воспринимали чужую старость как наш общий дар. Как возраст широты и доброты натуры человеческой. И лично я до сих пор убежден в этом.

О своем долге перед подрастающим поколением почтенные старцы казахского народа никогда не забывали. Даже в самую лихую годину. В этом можно убедиться, читая древние эпосы и сказания, легенды и мифы, поэмы и дастаны. Наша многовековая история, духовная летопись подтверждает это».

С большой теплотой и почтением говорит автор о своих матери и отце, садовнике, с любовью возделывавшем свой сад и проникновенно читающем односельчанам дастаны. С заботой и трогательной тревогой написаны «Письма к сыну»: «Сын мой! Я не раз делился с тобой своими мнениями и о богатстве, и о бедности. Но хочу, чтобы ты больше внимания обратил на мои размышления о внутреннем мире, о духовной состоятельности человека. Ибо только *нравственный* человек может сделать очень многое и для себя, и для общества... Как бы то ни было, сынок, не зазнавайся, когда сыт и богат. И не унывай, если ничего не имеешь... Главное — душа должна быть доброй и широкой. Если скуп на доброту, то что толку от широты самого этого мира?»

Всем известные прописные истины, не правда ли? Но многим ли удается жить, не отступая от них?

Георгий Кубатьян

Цитаты скажут сами за себя

Когда пишешь о стихах, без цитаты не обойтись; она, помимо всего прочего, демонстрирует их уровень, их выделку. В разговорах о прозе такого рода нагрузкой цитату почти не обременяют. Обсуждая же работу критика либо литературоведа, вовсе не заикаются, как тот управляется со словом, это, мол, дело десятое. Наперекор обыкновению, с десятого по важности дела как раз и начну. Цитаты не комментирую, не ставлю в скобках ехидных вопросов, устрашающих восклицаний, недоуменных восклицаний с вопросами.

Микаэл Налбандян «встал на путь свободы с самого рождения»; пере-

---

Зарui Айрян. Искусство поэтического перевода в творчестве русских поэтов II пол. XX — нач. XXI века (на примере армянской поэзии). — Ереван: «GSM Studio», 2012.

водчица «воспользовалась таким средством поэтического языка, как аллегория, где улавливается глубокий смысл мыслей поэта, призывающий к активным действиям»; «Перевод, как и подлинник, выразителен в своем звучании, который всецело передает мысли и чувства поэта-демократа, мыслителя и просветителя...»; «...блестяще передала не только душевное состояние поэта, но и его оптимизм, призывающий народ к восстанию»; «Вникнув в суть прогрессивных мыслей и чувств В. Терьяна, русская поэтесса воссоздала их аналоги, звучащие созвучно подлинникам»; «Перевод, являясь образцом вольного перевода, в котором переводчица попыталась близко к подлиннику передать смысл и стиль, построен перекрестной рифмовкой»; «...душевная пустота и пессимизм (А. Исаакяна. — *Г. К.*) были представлены русской переводчицей с большим лиризмом»; «Музыкальность стихотворения полностью воспроизведена. Данного эффекта З. добилась, сохранив перевод междометия "Ах"»; «она мастерски изобразила метамарфозность (так в тексте. — *Г. К.*) чувств героини»; «В переводе, как и в подлиннике, мысли поэта звучат в виде риторического вопроса, который обеспокоен судьбой бедняцких сыновей»; «Отметим, что здесь отражена и политическая лексика, которая звучит в речи Ленина: *Итак, вставайте на борьбу, / направьте на буржуя штык* <...> В переводе, как и в подлиннике, представлена и высокая лексика: *За власть Советов бедняки / ведут свой справедливый бой. / Сако, хоть нет второй руки, / сражался храбро и одной. /*, — эти строки и подобные им выражения передают патриотический пафос поэмы»; «В переводах З. проявила себя талантливым и высокоодаренным поэтом-переводчиком, мастером сплетения и кладки рифмы, которая благодаря своим вольным переводам воссоздавала их аналоги на русском языке»; «Образ родины в поэзии Шираза является источником его надежды и оптимизма, который тесно переплетается также с глубокой любовью к образу матери»; «Перечисляя и анализируя переводы З. из поэзии Шираза, бесспорен тот факт, что переводчица блестяще справилась со своей переводческой задачей, представив на русском языке аналоги, всецело раскрыв поэтическую сущность армянского поэта»; «любой поэтический перевод — соревнование, это выбор между содержанием и формой»; «Произведения Ов. Туманяна издавались на русском языке начиная с 1893 г., когда переводить их стали лучшие русские поэты-переводчики, такие как К. Бальмонт, М. Петровых, Б. Ахмадулина», «стихотворение <...> написано газеллой»; «это стихотворение <...> перевел также Б. Пастернак, чей перевод своим достоинством не уступает вышерассмотренному»; «Перевод выразителен в своем звучании, как и подлинник, он легко читается и имеет небольшой сюжет»; «Радостные чувства поэтического обновления С. испытал и в процессе своей переводческой деятельности с армянской литературы»; «глубокий философский смысл о вечности бытия»; «В переводе мысли Клеопатры звучат аналогично подлиннику, где царица справедливо называет себя богом, перешагнувшей в бесконечность»; «В переводе отразилось и настроение поэтессы, ее глубокая любовь к родной стране, понимая даже язык ее камней»; «В переводе <...> мысли и чувства поэта звучат искренне, в которых проявилось мастерство переводчика»; «Основой поэзии Е. является гуманность, в которую вошли идейные убеждения прогрессивного человечества с его взглядами и убеждениями»; «Е. тончайшим образом передал суть подлинника, который по всем параметрам переводческого искусства является его аналогом, который оставляет на читателей такое же впечатление, как и подлинник»; «Мысли и чувства Чаренца в переводе звучат искренне и смело, раскрывая лучшие черты его характера, мечтающего

быть самим собой, не теряя при этом свою честь и достоинство».

Во избежание недоразумений — перед вами не перевод, изуродовавший оригинал. Автор, оговорено в пространной справке, окончила филологический факультет университета по специальности «русский язык и литература», защитила кандидатскую диссертацию и носит ученое звание доцента; ей принадлежат монография и статьи в научных журналах и сборниках, включая российские.

При всем том ученый-литературовед не знает, что такое поэтика («поэтика армянского поэта сохранила свой стиль и поэтическую форму»; «поэтика Е. Чаренца, в которой отражены мысли и чувства поэта», «великолепие лирики Шираза <...> грациозность его поэтики»), прототип («Образ Сако является собирательным образом, прототипом многих неимущих крестьян»), метафора (переводчица «стремилась быть предельно близкой и в передаче поэтического языка поэта, состоящего из целого ряда метафор: <...> голос звонкий, мир узок, тернист и тяжек будет путь»), сравнение (перевод «богат разнообразными сравнениями <...> Например: звезд мерцают свечи, потекла беседа их рекою, свет рождало мудрое перо»), стиль («Перевод соответствует поэтическому стилю В. Терьяна, который состоит из трех четверостиший и одного заключительного двустишия», «Следуя стилю подлинника, З. представила перевод первых двух четверостиший кольцевой рифмовкой, которая в третьем четверостишии выполнена перекрестной рифмовкой»), синтаксис («Поэтический синтаксис перевода <...> состоит из таких фигур, как риторическое обращение и вопрос»), топоним («такие топонимы, как *лаваш, пшат, хачкар*»), транслитерация («такие транслитерации, как *дэв, Дзорагет*»), эпитет («привнесение эпитета *пшатени* — армянская олива»), строфика («строфическое несоответствие с подлинником, который состоит из двадцати пяти стихов, в то время когда в переводе насчитывается тридцать шесть»; речь об эквилинеарности); вдобавок автор относит существительное *строфа* к мужскому роду: «последние стихи первого и последнего строф», «перестановка стихов в первом и последнем строфах»).

Иной раз автор явно знает отдельные термины, даже поясняет их в специальных сносках, однако, зная в абстракции, не узнает на деле. Вот, скажем, анжамбеман. Имеется сноска, понятие растолковано. Позже следует и пример: «Последняя строка перевода выполнена анжамбеманом: «Дождит. Одиноко»». Или вот еще. «Перевод Л., — пишет автор, полностью приведя стихотворение Геворга Эмина, — выполнен в форме свободного стиха». Сноска разъясняет, каков он из себя, свободный стих (верлибр). А в цитате — правильный рифмованный пятистопный ямб.

Особо пристрастна Заруи Айрян к рифме. «Рифмически подлинник состоит из мужской рифмы, где звуковые окончания стихов чередуются неточной рифмой. В переводе же рифма выполнена в сочетании мужской и женской рифмы, где фонетическое звучание обеспечивается точной рифмой с перекрестной рифмовкой». Пробиться к смыслу сложно, приведу фразу попроще: «Строфически перевод представлен перекрестной рифмовкой, при помощи которой мысли и чувства поэта звучат выразительно и лирично». Речь о стихотворении Паруйра Севака «Твоя незрелая любовь...»; в оригинале — белый стих, в переводе — нерегулярная рифма; перекрестной рифмовкой и не пахнет. Или же характеризуется «Свобода» Микаэла Налбандяна: «В переводе наблюдается сочетание женской и мужской рифмы». Но такого сочетания не наблюдается, рифма везде женская: звонкий–ребенка, приро-

да–свобода, и схема ее не АБАБ, как утверждает автор, но АБВБ. «В переводе (одного из стихотворений Наапета Кучака. — *Г. К.*) мужская рифма сочетается с женской». И пример: перевал–шквал–забушевал–поцеловал... Похоже, З. Айрян вообще плохо понимает, что такое рифма. В переводе, где повторяется строка «Меж двух слогов, что в имени твоем», она видит рифму *твоем–твоем*. Иной раз она путает рифму с клаузулой; в оригинале стихотворения «Язык воды» Аветика Исаакяна нет ни единой рифмы, зато З. Айрян усматривает здесь и мужские, и женскую.

Исследовательница разбирает переводы стихов. И только два-три среди множества не восхищают ее. Прочим она щедро раздает восторги. Немудрено. К примеру, Сильву Капутикян переводили «такие гениальные русские поэты, как Е. Николаевская, В. Звягинцева, Б. Окуджава, М. Дудин, М. Петровых, В. Потапова, М. Светлов, И. Снегова, М. Матусовский, Л. Мартынов, А. Вознесенский, Б. Слуцкий, Эд. Балашов, Б. Ахмадулина, Евг. Евтушенко и другие». Да, богата русская поэзия гениями. Говоря же серьезно, в книге превозносится ряд откровенно слабых, исполненных, что называется, левой ногой текстов; исследовательница по простоте душевной принимает всё за чистую монету, за высшее мастерство. «Большинство рассмотренных нами переводов настолько совершенны...»; «Из вышеперечисленных переводов З. следует, что все они совершенны»; «Поэма Ов. Шираза и перевод Т. являются образцами высшего искусства, которые свидетельствуют о непревзойденном поэтическом даровании двух поэтов»; все переводы Т. из поэзии Шираза «выделяются непререкаемыми достоинствами, являясь образцами высшей поэзии»; все переводы А. из Исаакяна «являются образцами высшей поэзии»; переводы Д. «навечно увековечили себя несмолкающими памятниками поэзии, которые будут вдохновлять и восхищать последующие поколения»; «Являясь образцами высшей поэзии, переводы С. еще раз подтвердили поэтическое мастерство поэта, где он является мастером слова и рифмы, которые насыщены богатством интонаций, ритмов»; «Переводы С. из поэзии Чаренца являются ценнейшими образцами поэтического и переводческого искусства, которые навечно обрели бессмертие...»; «Переводы С. из армянской поэзии можно по праву признать литературным подвигом талантливого русского поэта».

Почему я повсюду скрываю фамилии переводчиков, ограничиваясь инициалом? Ясно почему. Вспомните Чацкого: «Не поздоровится от эдаких похвал»; незачем выставлять на посмешище достойных людей.

Книжка З. Айрян — это своего рода неисчерпаемый кладезь, а предмет разговора как раз исчерпан. Остался сущий пустячок, аппарат исследовательницы, сноски. Дело не в том, что они частенько неточны (раскроешь указанную страницу и ничего не найдешь) и что, к примеру, «Стихотворения» Ваана Терьяна вышли в 1980-м не в Ереване, а в Ленинграде, в Большой серии «Библиотеки поэта», и что книга Евтушенко «Третья память» (1974) издана не по-русски, а по-армянски. Бог с ними, с неточностями. Поразило меня другое. Древнеегипетское стихотворение цитируется не по «Лирике Древнего Египта» либо «Поэзии и прозе Древнего Востока» — по книге Левона Мкртчяна, вышедшей крохотным тиражом в поселке Егвард, высказывание Чернышевского — по брюсовской «Поэзии Армении», фраза же Брюсова — по «Литературной газете». И вот он, венец этого чуда. Процитировав афоризм «переводчики — почтовые лошади просвещения», З. Айрян отсылает читателя не к собранию со-

чинений Пушкина, но к изданной в Тбилиси книге Гиви Гачечиладзе.

И последнее. Для специалиста, занятого литературой второй половины минувшего века и начала нынешнего, З. Айрян удивительно не осведомлена, кто есть кто. Так, Инна Лиснянская, Евгений Попов, Елена Шварц, Михаил Рощин у нее литературоведы, Станислав Рассадин, Александр Дымшиц, Владимир Огнев — поэты-переводчики, Алла Латынина — поэтесса, Олег Чухонцев и Дмитрий Голубков — женщины, Сусанна Мар — мужчина. Чингиз Айтматов означен прозаиком (и на том спасибо) и литературным критиком. И совсем уж убило меня, что выросшая и живущая в Ереване армянка трижды по разному поводу называет Вардгеса Петросяна литературоведом…

Если вы ждете в финале зубодробительных инвектив, я вас разочарую. Не имею претензий к автору книжки. Не нами сказано: «Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет». Автор не сама по себе выпустила свою, судя по введению и заключению, а также спискам использованной литературы, потенциальную докторскую диссертацию. Сочинение «рекомендовано к печати решением Ученого совета Института литературы им. М. Абегяна НАН РА от 13 октября 2004 г., протокол № 6».

Интрига в том, отчего столь авторитетная рекомендация не сразу реализована, но в конце концов это не наше дело. Рукопись одобрена в академическом институте, директор академического института — доктор наук и профессор — афишируется как ее научный редактор. Любопытно, как А. В. Исаакян ответит на простой вопрос: ознакомился ли он с рукописью, прежде чем ее завизировал? Отрицательный ответ — худо, положительный — хуже некуда.

Мы последнее время сетуем на катастрофическое падение культуры, да что культуры — простой грамотности. Речь обыкновенно ведем о школьниках или студентах, изредка поругиваем корректоров. Этажи более высокие — вузовские преподаватели, сотрудники научных учреждений — пользуются по умолчанию чем-то вроде неприкосновенности. Тут-то все, дескать, еще слава богу. Коль скоро мне возразят — не грузи нас армянскими своими бедами, — перечислю российские сборники и журналы, где привечали автора рецензируемой книжки: «XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего», «Вестник Юга России», «Филологические науки: вопросы теории и практики», «Вопросы филологии».Список неполон.

Весомость достоинства

Рубрику ведет Лев Аннинский

Еврусское счастье

Название тома — «Евреи в России». На обложке — широко известные типажи из созданного в Премилове цикла Владимира Любарова. Между прочим, они «рифмуются» в середине тома с шаржами Иссахара Рыбака (из его серии «Местечко», изданной в 1923 году в Берлине). Рядом с остро-отчужденной стилистикой этого «немца» (скорее, впрочем, «француза», тогда же эмигрировавшего в Париж) становится теплее и веселее, когда чуешь веселую иронию нашего перемиловского певца еврейского счастья.

Живописно-графический раздел тома охватывает далекие концы еврейской ойкумены. От неизвестного художника, изобразившего пророка Моисея, до неизвестного художника, изобразившего царя Давида (во втором случае век выяснен: семнадцатый). И от Иеремии, который оплакивает разрушенный Иерусалим, на щемяще-трогательном полотне Рембрандта (тот же семнадцатый век) — до Свердлова, который решительно сопутствует Ленину на листе нашего современника Андрея Николаева (прекрасно передавшего их уверенную беспощадность).

Рядом — фото. Документы нового времени, из которых более всего потрясли меня напечатанные встык портреты Николая Второго и Якова Юровского. Жертва и палач. Оба — с малолетними сыновьями. О сыне-наследнике царя написаны горы. О сыне убийцы — почти ничего. А между тем сын Юровского, адмирал, отслуживший на советском флоте, помогал — уже в наше время — расследовать подробности ипатьевского расстрела. Совесть мучила за дела отца.

Иные прорисовки и схемки, сопутствующие фотодокументам, действуют еще и пострашнее. План подвала с разметкой: кто где стоял и откуда в кого стрелял. «Из экспертизы следует, что при первых же выстрелах (а все стреляли в царя и в Алексея) Александра Федоровна с дочерьми бросились своими телами закрывать отца и брата».

Куда мне деваться от этого безумия?

В оглавлении тома — два любимых имени. Константин Паустовский и Николай Лесков.

Очерк Паустовского, написанный в незабываемом 1937-м, неоднократно переиздавался и хорошо знаком читателям: это пронзительно-грустный анализ пронзительно-горестных русских пейзажей Исаака Левитана.

Продолжение. Начало: «ДН», № 4, 2013.

Очерк Лескова, напротив, известен мало. Написанный в незабываемые годы первых погромов, он предназначался не для печати, а для служебного пользования и должен был помочь властям разрешить сакраментальный вопрос: правда ли, что евреи спаивают русский народ? Трезвейший анализ подсказал ответ Лескова: если захотим спиться, обойдемся без помощи евреев.

Отвел я душу, прочитав любимых писателей. Но от дальнейшего перечисления всех авторов тома, пожалуй, откажусь: их там под тридцать. Но читаются тексты — вподхват и сцеплены общей композицией издания. Я думаю, это заслуга составителей, их и перечислю: это Владимир Долматов (обозначенный также в роли генерального директора «Издательского дома "Достоинство"»), Леонид Лифлянд (директор Музея истории евреев в России), Александр Локшин (научный редактор тома) и Сергей Вайнштейн (эксперт). А чтобы читателю стал внятен общий план книги, приведу оглавление, кое-где добавив для ясности подзаголовки.

Почва (Имена. Диаспора). Черта (черты оседлости). Дело Бейлиса. Служение. Окаянщина (Парвус). В чужом пиру похмелье (революция). Расправа (Ипатьевский расстрел). Союз. Чекистский расклад. Сталин и евреи. Перспективы.

Всю эту историю враз не охватишь. Но я попробую объяснить главный вопрос, который подвигает меня к встречным раздумьям. Почему, собственно, так важна история евреев в России? Евреям она важна? Русским?

А вот статистика. В результате вековых разборок с Польско-Литовским княжеством и его правопреемниками к началу XIX столетия в гражданах России оказалось около 53 процентов всех евреев Европы, и 43 процента от их числа во всем мире. Ничего себе... Еще бы и не интересоваться Европе (и всему миру) положением иудеев в России, если тут чуть не каждый второй...

Но почему положение российских евреев и их роль так существенны — для России, и чем эти ее граждане (неполных 5 процентов ее населения) настолько интересны, что Сергей Витте, председатель Комитета министров, полагает, что евреи заполняют половину революционных партий? Авторы тома мягко поправляют: Сергей Юльевич, пожалуй, хватил здесь через край. И все же...

И все же край ощущается прямо-таки на ощупь. Каким образом торговцы, ремесленники, откупщики на глазах почтеннейшей публики превращаются в банкиров, юристов, профессоров? Главная же загадка: как это они, оставаясь богатеями, превращаются... в потрясателей общества и государства? Совместить их расчетливую коммерческую практичность с неудержимой революционностью немыслимо в масштабах нормальной логики (не говоря уже о русском бунте, бессмысленном и беспощадном, куда лучше вообще не соваться).

Однако совмещается же! Даже в делах отдельного человека. Правда, человек этот как раз и входит в историю как немыслимый пример соединения в одном лице успешного финансиста и успешного же революционера. Парвус! Друг Ленина, снабжавший его немецкими деньгами и даже усадивший в пломбированный вагон — ехать в Россию в 1917 году. И он же — враг, которого Ленин отлучил от своей партии, а придя к власти, не впустил в Красную Москву.

Поищем логику?

Исток судьбы — еврейский погром в Одессе в 1881 году. «Самый большой еврейский погром XIX века» в самом теплом и добром городе Российского Юга. Этот погром так действует на сознание четырнадцатилетнего одесского

подростка, что он начинает ненавидеть Россию. Оправившись, уезжает в Германию (несмотря на пресловутый антисемитизм немцев), потому что Германия — реальный враг России. И деньги, разбогатев, дает не на социальную в России революцию (как, может быть, и сам себя убеждает), а на подрыв страны (убеждать себя тут не надо — интуиция ненависти).

И все его идеи — вроде перерастания войны империалистической в войну гражданскую (подхвачено Лениным) или разжигания в России национальных сепаратистских движений (подхвачено русофобами 100 лет спустя, при развале СССР), вообще весь глобалистский экстаз, который побуждает некоторых современных идеологов считать Парвуса гениальным провозвестником нынешних геополитических концепций? Каких? Как бы доразвалить Россию, чтобы не торчала, не мешала. Вот куда невольно заглянул Парвус. А мечтал только — «уничтожить страну погромов».

Так ведь германские генералы мечтали о том же — расшатать, расчленить, развалить Россию — чтобы расчистить себе путь на Восток (Drang nach Osten). Сошлось!

«В общей сложности на революцию в России немцы потратили около 10 миллионов золотых марок».

Вот куда завела еврейского мальчика ненависть к погромам. Вот какие петли заложила история в XX веке. И не он один, Александр Парвус, попал в петлю а еще тысячи его соплеменников. В революционном движении участвовало (или ему сочувствовало) по суммарным подсчетам около 10 процентов евреев. Больше, чем ожидалось бы по «норме». Хотя и не намного.

И все же остается вопрос: почему евреи включились в русскую революцию? Мстили за погромы? Да, реально. Мстили за свое безземелье? Тоже реально, но с оговорками. В Крыму и вообще на теплом добром Юге получить землю было нереально. Реально оказалось — на Востоке, в Биробиджане, лет через пятнадцать. Но бесперспективно, если иметь в виду мечту о встрече в Иерусалиме. И уж совсем бессмысленно было идти в революцию, рассчитывая что-то на ней заработать. Так шли же! Так шумно, что «молва народная» саму эту революцию окрестила чуть не еврейской. А уж органы революционной власти — и вовсе...

Да, евреев в органах ЧК-ОГПУ-НКВД работало больше, чем полагалось бы по статистике населения. Но еще больше (вдвое!) было поляков. И еще больше (вшестеро!) латышей. Эти соотношения тоже менялись по ходу событий: к концу 30-х годов число чекистов-инородцев сошло к минимуму. Но не сразу.

Интересно наблюдение Льва Кричевского, комментирующего из Соединенных Штатов тогдашние исторические реалии:

«Сотрудники-евреи являли собой наиболее образованную прослойку аппарата ОГПУ, поляки — наиболее надежную в партийном отношении, латыши — наиболее опытную в боевом отношении и самую преданную группу чекистов».

Значит, преданности особой у евреев не было, партийной дисциплины — тоже, а вот образованность — была!

На землю они так и не прорвались, прорвались — в университеты.

Выиграли или проиграли в результате революции? — вопрос, однозначного ответа не имеющий.

Цитирую неоднозначный:

«Чем успешнее была политическая карьера еврея в русской революции

1917 года, тем меньше имел он шансов умереть естественной смертью. Из 16 «победителей» Октября 1917 года восемь расстреляны или умерли в заключении, двоих убили террористы (одного — Моисея Урицкого — классовый враг, тоже, впрочем, еврей, Леонид Каннегиссер, другого — Льва Троцкого — агент НКВД, наставником которого был высокопоставленный сотрудник этой организации Наум Этингер), двоих, на их счастье, выслали, один покончил самоубийством и лишь трое почили естественным образом...»

Вот и вся выгода от еврейского участия в русской революции. «В чужом пиру похмелье»? Однако шли же пировать — несмотря на трагическую бесперспективность для них этого дела. Одним только желанием расплатиться за погромы это не объяснить. Было еще что-то... какой-то остаток, «хвостик», упрямо нараставший на этом чудище.

«...Дело было не только в реальном (бесспорно, значительном) участии евреев в революции. Не меньше значило общественное мнение, явно выделявшее на политической авансцене 1917 года прежде всего евреев. Этому способствовало действительно непропорционально большое число евреев среди ораторов на различных политических форумах. Евреи, что называется, «бросались в глаза».

А это «ораторство», эта «броскость», этот неудержимый темперамент — откуда в характере евреев? И только ли российских? Что такое заложено в них — то ли кровавым веком войн и революций, то ли веками рассеяния и диаспоры? А может, запредельной историей, уходящей в толщу тысячелетий? Подпочвой их бытия?

Теперь я вернусь в начало еврейского тома «Иллюстрированной истории России» и попробую извлечь корень общего смысла из первой его части, — той, что называется «Почва».

Итак, Имя. Исконное. Еврей. Правильнее: иври. Значения: пришедший, проходящий, переходящий. Перешедший реку, пришедший из-за реки. Авраам, пришедший с Востока, из-за Евфрата. Его правнук Иосиф, продолживший путь, ушел на Запад, за Нил. Оба — заречные.

Иосиф, оклеветанный женой хозяина, которому он был продан в рабство, добавляет к имени новые оттенки: он теперь — «изгнанный из...», он — «уходящий»...

Или убегающий?

«Поскольку Библия — книга еврейская, в ней много и безоглядно бегут. Бежит Иаков от Исава, а потом еще и от Лавана, Моисей от фараона, Давид от господина своего, Саула... И вот бежит еврейский народ на протяжении всей новой эры. Бежит и остается чужим там, куда прибежал,— до следующего бегства».

Так это фатально? А только ли убегать обречено было еврейство изначально? А обращать в бегство? Разве не убегали «другие племена» от евреев, когда ведомые одним только «обещанием» Господа те завоевывали Ханаан? Там ведь тоже жили до них «другие» люди. Куда они делись? Туда же, куда и те евреи, что погибли, захватывая чужую землю?

«Пропали» десять колен в войне с ассирийцами... «Ассирийская империя безвозвратно поглотила пленников».

Что значит «поглотила»? Истребила? Да, тех, кто сопротивлялся. Но боль-

шая часть, убегая, «перемешалась с другими народами». И их след «затерялся в истории».

След простыл... Бесследно исчезли те, кто согласился перестать быть «приходящими» и «изгоняемыми», «бегущими» и «возвращающимися» — вечными скитальцами. Перестать быть евреями.

Кто не согласился, тот принял крест. И новое имя: Израиль.

Иаков тоже бежал. Потом остановился, стал бороться и одолел противника. Противником оказался Бог. Вывод: «Господствовал ты с Богом, значит, и с людьми сможешь».

Израиль — имя, означающее, что Бог воцарится. Что царство вернется. Что земля обетованная дождется скитальцев.

Дождутся ли они, когда это произойдет?

Так вроде бы уже дождались. После чудовищных гекатомб холокоста, после тысячелетнего онемения, когда большая часть евреев и язык забыла, и веру, — возникло государство, назвавшееся обетованным именем: Израиль. *Произошло чудо*, — определил это событие в беседе с Долматовым известный еврейский публицист Борух Горин и увидел в этом «Божий Промысел» и завершил беседу словами:

«Вопрос: будет ли существовать еврейский народ — в ближайшие сто лет не актуален. Такого вопроса больше не существует».

Да, так. Если не заглядывать за пределы «ближайших ста лет». А если заглянуть? Не растворится ли в истории народ, упокоившийся на обетованном кусочке земли? Не исчезнет ли в своем райском благополучии? Не будет ли поглощен забвением?

А куда же денется энергия прихода и ухода, бегства и богоборства, пробужденная тем «вопросом», который «решен» на «ближайшие сто лет»? Не обречены ли люди, награжденные этой энергией и оставшиеся за пределами рая, продолжить свое скитанье по адским дорогам истории?

А если оно продолжится, то не угадать, да и не так важно — какое еще имя пристанет к скитальцам и какое племя их усыновит, приняв в свою историю.

В какую? А если в нашу российскую — в еврусское горькое счастье? В нашу битву... Но о битве — в следующий раз.

Summary

The Great Patriotic War and the Victory over fascism are everlasting themes to which in this issue are dedicated paintings and war lyrics by the veteran of the war LEONID RABICHEV and also poems by OLEG KHLEBNIKOV, poet of another generation, born ten years after the Victory, our regular author who became this year's laureate of the New Pushkin Prize.

As time goes further from the Great Patriotic War more and more often the memoirs of its eye-witnesses become the memoirs of the childhood. Those who fought at the war-fields are becoming fewer and fewer; most of those caught by the war and still living saw it with children eyes. The experience of grasping the life in its very beginning through the war is unforgettable, it lasts forever. Under the heading "CHILDREN AND THE WAR" we let have the floor to the people who one way or another have graduated from this "school".

LEV TIMOFEEV. Evangelidi

Palimpsest. This word involuntary comes into one's mind while reading the novel. In bygone days they named so a manuscript written on the parchment which had already been used. Sometimes the old letters showed through the new ones. Later it became usual to do so with frescoes, icons and paintings. Until now there is no pursuit more fascinating for a restorer than taking layer by layer off to reach the initial image. In the same way the reader of this novel step by step will be discovering the source of the mystical events that happened to the author and characters of the manuscript discovered in a burnt down house of a neglected village.

SHAMAHAD ABDULLAEV from Fergana presents his poems. Poet from Riga SERGEI MOREINO presents his essay "Shamahad – Double Midday" in which he confesses: "I had a presentiment about him. With his coming everything took its place".

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В 2013 году на журнал "Дружба народов" можно подписаться во всех отделениях Почты России

подписной индекс в каталоге *"ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ"* – **70250**

подписной индекс в зеленом каталоге *"ПРЕССА РОССИИ"* – **91826**

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой